Екатерина Ткачёва

Странный роман
(2010-2025 г.)

Часть 2
ФИЛЕРИМОС

8 903 232 85 25
kotka2004@mail.ru

Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землей.

Зинаида Гиппиус «Как он».

1

Олюшка – стал он называть её вскоре после венчания. Так – всё она была неопределённой какой-то. То Оленькой, то Олей, то вообще Лялей. А тут вдруг он утвердился на Олюшке и никак больше её не называл.

Они жили по-прежнему у родителей. С работой не везло. Миссионерские программы были редки и денег не приносили. Он зарабатывал всё так же – в монастыре. Немного, но родители помогали, кроме того, выручали инвалидные пособия. Так, вскладчину что-то получалось.

Быстро промчались два года. Он привык к новой жизни, к роли мужа... Но так и не смог до конца привыкнуть к тому, что однорукий. Вот прошло уже с тех пор много времени, а он всё ещё с болью смотрел на электрички и ненавидел тихую снежную погоду. Вспоминался резкий сигнал поезда, и он каждую долю секунды отчётливо видел, – как падал, в каком был ужасе, как успел понять, что случилось непоправимое несчастье, и ещё, что он боялся тогда за Дашу больше, чем за себя.

Сегодня он получил письмо от Даши с Кипра, и снова представился тот день. Как у них был разговор в кафе, как она чуть его не соблазнила. Сколько раз он думал, что лучше бы она его соблазнила, и они поехали к нему, а не на могилу к Елисею. Ничего бы тогда не произошло, – почему-то был он уверен. А они стали бы любовниками. И он бы не сделался одноруким инвалидом.

И каждый раз он уговаривал себя, что всё – по предопределению, и что неизбежна была эта трагедия, и всё это случилось для того, чтобы он женился на Олюшке, и не могло быть иначе. Говорил, и не верил. И сам не знал, отчего не верит. То есть, он верил, что это лучший для него, промыслительный вариант. Но всё-таки казалось, что разные могли быть пути. И ругал себя за тот ненужный героизм. Лучше бы он просто увёз тогда Дашу к себе...

***

Открылся лифт, и зашевелился ключ в двери. Мама привела Олю из больницы. Он быстро спрятал водку и рюмку обратно в шкафчик. Знал, что Оля сразу заметит, но хоть от тёщи хотел скрыть. Пил иногда по чуть-чуть, чтобы успокоиться. Помогало. Он сделал свой обычный бодро-глуповатый вид, с которым общался с родителями, и вышел в прихожую помочь раздеть Олю.

– Что случилось? – удивился он. Оля выглядела странно. Глаза были огромные, блестящие, и вид, как у всклоченного мартовского кота, который хоть три дня не ел, но в целом жизнью доволен. Он перевёл взгляд на Тамару, и ещё больше удивился. Увидел, что она напугана, растеряна, у неё даже губы тряслись. А лицо светилось радостью.

Оля молча кивнула маме, и та дала ему какие-то медицинские бумажки. Он таращился, но ни слова не понимал, что в них написано, – термины, цифры, обозначения…

– У нас будет ребёнок! – не выдержала повисшего напряжения Оля.

Он потом ненавидел себя за то, как отреагировал. Он вообще, как полный баран и кретин себя повёл.

– То есть? Какой ещё ребёнок? – промямлил он.

Оля неожиданно разрыдалась. Оказывается, она еле сдерживалась. Мама прижала её к себе.

– Ну вот… такое чудо, – попыталась растолковать тёща. Он видел, что ей до животного какого-то чувства жаль дочь, а его она презирала в тот момент. – Мы и сами не знаем, как такое возможно. Неисповедимы пути Господни…

– Какие ещё пути?! – сорвался он. Он просто отказывался верить в то, что происходит. – Чего вы, усыновить, что ли, кого-то решили?

– Оля беременна, – как совсем уже идиоту, объяснила Тамара.

– Не должно этого быть, – тупо и упёрто сказал он. – Она же не может. Это давно известно.

– Ну, посмотри бумаги! – закричала Оля. У неё, кажется, истерика начиналась. – Там всё написано. Делали УЗИ, анализы. Уже пять недель! Я понимаю, что ты этого не хочешь! А я вот хочу, представь себе! Хочу жить, как все, и ребёнка растить.

Он наконец к ней бросился, взял её, поднял одной своей рукой, стал успокаивать. Вместо радости он в этот момент чувствовал отчаяние, но изо всех сил пытался это скрыть. И знал, что у него не получается. Ему тоже больше всего в тот момент хотелось расплакаться. И чтобы его кто-то прижал к себе, пожалел, объяснил, как дальше жить, сказал, что поможет. Но понимал, что он сам это должен делать сейчас по отношению Оле, и что ему, кроме Бога, никто не поможет. И не очень убедительно стал молоть какую-то восторженную чушь.

– Какая радость, как это хорошо, невозможно поверить, – лепетал он. – Я думал, у нас не может быть детей. И такое чудо!.. Какая же ты у меня молодец… Ты самая-самая лучшая!.. Я никак не ожидал, понимаешь? Это нужно отметить, – бросился он к спасительному шкафчику. – Ах, да, тебе ведь уже нельзя. Тогда и я не буду, – суетился он. – Ну, как ты себя чувствуешь? Уже что-нибудь чувствуешь?

Оля на него смотрела убийственно в упор.

– Тошно, – буркнула она.

– Тошнит? – испугался он.

– Нет, от тебя тошно.

– Мне тоже, – согласился он. – Ты прости. Но как мы всё это… – он погладил её сухонькие младенческие ручки. Она будто нарочно сегодня выставляла их напоказ.

– С Божьей помощью! – саркастически отрезала Оля. – Закрой мои культяпки, ненавижу, когда ты их трогаешь.

– Да ладно тебе, – улыбнулся он грустно. – Ещё жена называется.

Он накинул на неё плед. И как она не понимала, что ему единственному во всем мире её ручки нравились? Она не верила, когда он говорил это, называла их уродством. А он давно привык. Привык, что она беспомощная, что нужно многое за неё делать. Кормить и в туалет водить, и мыть. Если бы она вдруг выздоровела, он бы её разлюбил, наверное. Она об этом и не подозревала. Ну, что ж поделать?..

Себя принимать было сложнее. Хотя неудобств он уже почти не чувствовал. Одна рука так наловчилась, что почти заменяла две. А реакция стала даже быстрее, чем раньше.

***

Оля тихо поскуливала у него на коленях. Он её гладил, но толком не знал, что сказать.

– Ну что ты, что ты, – бормотал он. – Это же такое счастье. А он… или она… ну, словом, что врачи-то сказали?

– Ты имеешь в виду, не родится ли урод или инвалид? – выпалила она. – Очень даже может быть! Но я буду рожать в любом случае, имей в виду!

– Конечно, конечно, – испуганно шептал он. – Надо же, а говорили, шансов ноль. Стало быть, и правда, чудо. А когда известно-то будет?

– В смысле, урод или нет? – нарочно форсировала Оля. – Потерпи, ты узнаешь об этом первым! Через несколько месяцев станет понятно. Ну, а уж когда родится, сам увидишь.

– Долго. Жаль, что не сразу, – он почувствовал, что наконец берет себя в руки. – И никакой не урод, – твёрдо сказал он первую человеческую фразу за вечер. – Всё будет хорошо. И не говори так больше. Наш ребенок будет самым красивым и здоровым.

– Как мы с тобой! – усмехнулась Оля.

– Прекрати, – спокойно сказал он. – Ребёнок родится здоровым. Будем молиться. Не может быть, чтобы это было просто так. Значит, милость Божия. Значит, всё благополучно.

– Ну да, ну да… – неуверенно протянула Оля. Но он понял, что она тоже изо всех сил на это надеется. И очень боится. Больше всего на свете боится, что ребёнок родится больной. И что она ужасно смущается, тоже почувствовал.

А ему-то перед ней как стыдно стало! Этой своей вялости, инфантильности. Что взял крест, а нести не хочет, что тяжело ему. Противно было от себя. И насчёт ребёнка не знал, что думать.

Вообще, ему сильно надоело за последнее время, что он такой гадкий. Постоянно, как дурак, на исповеди рассказывал, какой он плохой. Какой ленивый, скучный. Как тоскливо ему бывает, потому что всё какой-то быт, мелкая суматоха, и нет настоящих праздников, а только запланированные, дежурные, по календарю. И, разумеется, он не исправляется. А как? Да и зачем? Постоял перед батюшкой, помямлил, ну и достаточно.

Вот и сейчас. Должен бы до потолка скакать от счастья, а он с мыслями собраться не может. На душе тревога, мощная такая, громоздкая – за ребёнка, причём, заранее – за всю его жизнь. За Олюшку – куда ей рожать, безрукой, слабой, беспомощной? А за себя, родного, больше всего: как растить-то этого малыша, тоже наверняка больного?!

Он втайне сразу подумал, что больной родится. У родителей какие-то генные проблемы были, отчего Оля инвалидом получилась, у неё то же самое… Ну, допустим, Тамара поможет, возьмёт на себя ещё одну ношу, ну, Вадим подключится, но они ведь не вечные. А случись что? Он же так называемый глава семьи. Да уж, глава та ещё. Дурная и кислая. Как ему одному справляться? Никак.

Ему очень нужно было спрятаться от всех. Он в ванную забился, включил душ. Сел на пол, уткнувшись головой в холодный чугун, и пытался молиться. Молитва вообще потрясающая вышла.

– Господи, ну и зачем мне это? Оле зачем, Тамаре зачем? Да перестань ты, Господи, ей Богу! Пусть у неё будет выкидыш, кому всё это нужно?! – и он со злостью ударил кулаком в пол. Потом, поняв, что с молитвой как-то сегодня не очень, разделся и полез-таки под воду, хотя не собирался. И так парадно и нарядно он думал: да ёлки-палки, да ёпрст, да ну на фиг, да что ж это такое?! Что за кошмарная жизнь, какой к лешему ребёнок?! Нет, пусть его не будет, пусть не будет! Чему эти дуры радуются?! Раскудахтались, как куры! (Хотя никто и не думал кудахтать, Оля наоборот замкнулась и отмалчивалась.) Зачем мне его ещё вешать на шею?! Чтобы я утопился с ним?!

В общем, он взбунтовался и совершенно не собирался Бога благодарить. Понимал, конечно, что это как-то неправедно и паскудно, а всё равно бунтовал. И думал прямо очень дерзко и вызывающе: «Ну да, накажи меня теперь за такие мысли! Сделай ещё одноглазым, одноногим, Ты можешь! Пусть совсем всё будет плохо, а то ведь ещё не совсем. А главное, давай теперь меня ещё уволят с работы, а родители Олины попадут в аварию, и тоже станут калеками! Тьфу, тьфу, тьфу!» – заплевался он, как суеверная старуха. Бросил душ, наскоро вытерся.

– Я, Олюшка, в магазин выскочу, – бодро выкрикнул он из коридора. Не хотелось смотреть на неё. Он знал, что она или плачет, или сидит, зло уставившись в книгу, делая вид, что читает. А сама ждёт от него чего-то. Вот и решил выйти, может, придумает что по дороге, может, купит подарок в магазине, и ей принесёт. «Цветов хоть надо», – только сейчас сообразил он и поскорее сбежал.

***

Вечерело. На улице было тихо, грязновато, хотя мартовские лужи почти уже высохли. В такую погоду хорошо гулять вдвоём. Надо было Олю взять, поговорить с ней по душам, она бы успокоилась, может, повеселела бы. И для здоровья ей нужно теперь больше гулять. «Вот, пожалуйста, уже беспокоит её здоровье, – раздражённо подумал он. – Скажите, счастье какое, будущая мама». И тут он замер, чуть на землю не сел, потому что только сейчас, наконец, уразумел.

«Стоп, стоп, – шептал он. – Да не может же этого быть!! Как это Оля вдруг станет мамой?! Говорили же, сто процентов, что бесплодная. Да она никак родить не сможет, куда ей, инвалиду без рук? Она худенькая, как девочка, совсем без форм, без сил. Да это же просто невозможно! Ну, допустим, операцию сделают. А кормить как потом? А воспитывать? Да ведь ребёнок – это и для здоровых непросто. А тут…»

А тут как раз навстречу ему вышла мамаша с коляской. Малыш был крупный, упитанный, сидел, болтал ножкой и смотрел серьёзно, будто осмысливал философский вопрос. «Какой толстый и какой гигантский», – поразился он, словно впервые ребёнка увидел. Нет, никак не может быть, чтобы у них такой был. Откуда ему и взяться?

Он с ужасом попытался представить Олю с большим животом и не смог, чистейшим абсурдом это показалось. Да и с чего у неё там внутри сидеть другому человеку? Так же не бывает. Нет, никак невозможно. И он со страхом проводил глазами мамашу, будто она везла в коляске не малыша, а бомбу.

Чувствовал себя одураченным. Нет, он давно уже свыкся с мыслью, что существуют вещи, которых он не понимает. Но не настолько же! А ещё он считал себя виноватым. В конце концов, причиной этого ребёнка был он. Конечно – слепо доверился врачам, которые уверяли, что детей у Оли никогда не будет, поскольку она серьёзно больна, а ведь бережёного Бог бережёт. Ну вот, не уберёг.

А как же изменилась с ним Оля за это время!.. Когда они познакомились, она была весёлой хохотушкой, легкомысленной тряпичницей, жизнерадостной болтушкой, а теперь задумывается надолго, плачет, мало говорит. Заразилась его скукой и апатией, смотрит иногда затравленно, будто над ней смеются, и будто всё ей надоело. Спустя каких-то два года. Это он так сделал её счастливой. Это он так её на руках понёс, ой, простите, на руке. Это то, самое дорогое, что он ей подарил. Ай, молодец какой.

– Да заткнись ты уже! – сказал он шёпотом своему зуду то ли совести, то ли самоуничижения. Зашёл в цветочную палатку и стал топтаться среди накинувшихся на него со всех сторон букетов.

– Чем могу помочь, что вас интересует? – дежурно защебетала девушка-продавец.

– Меня интересует, как бы навсегда исчезнуть, чтобы от меня вообще ничего не осталось, – зло выдавил он. – Ни души, ни вздоха, ни одного атома. Вообще ничего!

Девушка уставилась на него с растерянной натянутой гримасой вежливости. Проследовала пауза.

– Вам послышалось, мне нужны розы, – сухо буркнул он. Будто девушка была виновата в беременности Оли.

Он вышел, держа расфуфыренные красные цветы. Ей именно такие нравились – красные и расфуфыренные. И розы вдруг придали ему уверенности. Он словно схватился за них, и они повели его назад, к Оле.

– Вот и я, – сказал он, войдя в комнату, и удивился, откуда в его голосе столько теплоты. Оля чуть улыбнулась цветам, наверное, ожидала их.

***

Потом они сидели на полу, и было так тихо. Тамара ушла, явно поняв, что им нужно побыть вдвоем, Вадим допоздна работал. И ему почему-то стало хорошо, уютно, захотелось вытянуться и задремать. Он так и сделал: растянулся на ковре, голову положил к ней на колени. И мысли стали расплываться, словно таяли от накатившего неизвестно откуда тепла. И не верилось, что их ждут какие-то трудности, потрясения, перемены…

– Олюшка, а это не шутка? – глупо спросил он. – Может, вы всё-таки меня разыграли?

– Я тоже не верила, – еле слышно сказала она. – Никаким анализам, бумагам не верила. Говорили же, что невозможно. Я ни одному врачу не поверила, даже маме не поверила. Но на УЗИ мне дали послушать, как бьётся его сердце.

– Сердце? – он даже привстал. Оля смотрела на него влажными глазами, и в них было что-то новое, нежное, тайное…

– Ещё ничего нет. А сердцебиение уже есть! – потрясённо прошептала она. – Частое-частое! И я слышала. Я теперь буду рожать его, какой бы он ни был!

Он молча прижал её голову к себе.

***

Ночью он плохо и мало спал. Но за тот короткий промежуток времени, на который он всё-таки уснул, ему приснилось сердцебиение. Он был в темноте, у какой-то стены, и знал, что там за стеной Оля, и что он должен её вызволить, спасти, потому что ещё немного, и её начнут мучить, а она беременная, и нужно её защитить. Но он не знал, где вход, как попасть за стену, ощупывал её – во сне у него было две руки, но он всё равно не справлялся. Тогда он замер, прислонился к раскрошившимся белым кирпичам ухом и прислушался. Он различил, как Оля дышит, ровно, спокойно, потому что не подозревает ни о чём. А потом – тихий частый-частый стук. И понял, что это бьётся сердечко его ребенка. И когда он его уловил, то как-то через стену прошёл, и уже увидел спящую Олю, подбежал к ней, хотел взять на руки, но тут снова наступила полная темнота, и перед ним опять выросла стена. В отчаянии он проснулся.

Лежал с тяжёлой головой, вглядывался в тени на потолке, а в голове всё раздавалось невероятно частое тихое сердцебиение: тук-тук, тук-тук, тук-тук. Снова стало тревожно. Всё-таки он давно уже настроился, что у них не будет детей. Впрочем, может, еще и не будет? Случится выкидыш, например. Но он неожиданно почувствовал, что уже не хочет этого ребёнка терять. Что жалко будет, потому что вправду чудо. Ну и вообще интересно. Как это так: ничего не было, и вдруг появится целый ребёнок? Даже если больной. И что теперь? Они тоже с Олей больные, а живут же. Оля даже подрабатывает иногда на психологических консультациях для людей, как они, с ограниченными возможностями. И не думает о том, что она ущербная. Конечно, страшновато за завтрашний день, но держатся же они как-то на плаву. В крайнем случае, друзья помогут, те же Даша с Богословом.

«Да, пусть даже и больной родится», – наконец почувствовал он что-то отдалённо напоминающее смирение. Всё от Бога. А зачем Ему их мучить? Может, они, наоборот, обрадуются? Может, этот малыш будет не обузой, а счастьем? Многие же обожают детей, и все почему-то своих детей любят. Кстати, он тоже обожает маленького крестника, – только издалека, со стороны, особо не проникаясь. Ну, значит, наверное, и они полюбят, какой бы ребёнок ни был. А многие даже считают, что дети – главное в жизни. Вот чудаки. Хотя вдруг окажется, что это так и есть?

С этими мыслями он встал ни свет ни заря и поехал на работу. Отстоял раннюю службу, продолжая поражаться чуду и задавая про себя вопросы, такие примерно:

– Господи, ну как же это так, а? Какая же у Тебя воля непостижимая. Ну не бывает же так. Спасибо. Только я ничего не понимаю. Как же это так, что же это такое? Неужели вправду чудо? Да ведь это ого-го! Это же вопреки законам медицины! А я столько читал, слышал про всякие чудеса, как больные исцелялись неизлечимые, как люди спасались от неминуемой смерти… А тут на тебе! Да неужели же у меня у самого теперь чудо случится?! Ведь сто процентов говорили, невозможно ей родить? Только теперь не шути, не отнимай, ну пожалуйста. Мы всё примем, вытерпим, сделаем. Только не мучай нас. Мы уже этого не вынесем. А Оля… она ведь теперь навсегда в Тебя поверит! Чудо ведь!

– Может всё для этого? – думал он позже, рассеянно подметая одной своей рукой монастырскую дорожку. – Может, чтобы Оля навсегда поверила, чтобы молилась. А то ведь она упирается. А теперь сама говорит – чудо. Задумчивая стала. Нет, лучше не загадывать. Пусть сначала родится.

Ещё вчера он хотел броситься к первому попавшемуся батюшке, – он со всеми священниками в монастыре довольно ровных отношений придерживался, – и всё выложить, выплакаться, получить утешение, совет. Но тут вдруг наоборот испугался про такое рассказывать. И дело даже не в том, что чудо, а в том, что страшно очень. Ведь вот так поверишь, откроешь, а в этом что-то сокровенное, какая-то тайна, что-то нежное, непостижимое, что было в глазах у Оли. А потом случится что-нибудь не то, и уже будет непоправимо, больно, жутко. Все тогда, конечно, посочувствуют, скажут: ну, испытания

даются по силе, это вы, мол, такие сильные. Но священники-то не потеряют вот этого неведомого, ласкового, заветного, что в газах у Оли. А они что тогда переживут? Лучше уж никому не говорить. Ну, или хотя бы попозже, когда какая-нибудь определенность появится.

И он решил молчать. Пусть никто не знает! Вот когда будет большой живот у Оли, когда врачи сделают все УЗИ, анализы, станет что-то ясно, вот только тогда, не раньше, он поделится с батюшкой, что вот, мол, такое невероятное случилось.

***

Молчал он два дня. На третий, когда собирался причащаться, ни с того ни с сего выложил-таки знакомому священнику всё, что случилось. Он вообще не собирался. У него только и было в мыслях прочитать побыстрее по бумажке грехи, отделаться от исповеди и удрать. Но не тут-то было. Батюшке именно сегодня приспичило поговорить по душам – а он такой мягкий, добрый, понимающий… Ну, и само собой постепенно сказалось, так как отче стал задавать наводящие вопросы: да какой у тебя страх за завтрашний день, да чем сердце смущается, да уж не стряслось ли чего. Тут он признался, что, да, стряслось, выдохнул и… «страшную тайну» открыл.

Он-то думал, священник в обморок грохнется от такого сообщения, а тот и ухом не повёл, и бровью не повёл, и вообще ничем не повёл, даже не удивился! То есть, ну ни капельки! Только улыбнулся и поздравил «с такой радостью». И уверил ещё, что раз Бог дал, то Он же и поможет. Ему даже обидно стало, что батюшка не поразился чуду.

Потом уже, после причастия, до него дошло, что чудеса-то здесь обычное дело. Тут же они пачками случаются, у Матронушки. К ней каждый день многочасовые очереди, конечно, она многим помогает! И, наверно, люди об этом рассказывают батюшкам. Да и у самих священников чудеса происходят, чему удивляться? И вообще, не бывает, что всю жизнь плохо или никак, а должно же быть когда-то и хорошо.

Вечером он шёл по улице и нарочно рассматривал мам с детьми. И у него всё чаще и сильнее сердце замирало. «Неужели?! – колотилось в голове. – Неужели?!» – ухало в сердце. И сладкая такая, трепетная радость то испуганно пряталась, то переполняла, выхлёстывая через край. Он загляделся на одного малыша: тот спал безмятежно в коляске, раскинув ручки, приоткрыв ротик, слегка посапывая, и светился каким-то непередаваемым очарованием, простотой, естественностью. «Неужели у меня будет такой же?» – чуть не сказал он вслух.

***

Домой он вернулся в приподнятом настроении. Притащил гору фруктов, специальные витамины для беременных, а ещё ему в аптеке всучили какой-то бандаж (а он по забывчивости назвал его «блиндаж»), короче, что-то очень нужное для беременных, что он в эйфории купил, хотя оно стоило сумасшедших по его меркам денег. И потом, после ужина, он Олюшке всё-всё рассказал. И про малыша, который так сладко спал в колясочке. И про то, что чудеса случаются пачками. И что всё обязательно будет хорошо. Он так сегодня в это поверил, проникся, что излил наконец горячие бурлящие эмоции, и ему удалось её страхи прогнать – постепенно она тоже начала светиться радостью.

– И я смотрю на мам с колясками, – призналась она. – И поверить не могу. А дети… такие забавные. Трогательные. Не от мира сего.

– Это да, – закивал он.

Потом ему вспомнилось его собственное детство – как рос в детдоме. И тоже, наверное, сначала таким был: трогательным, пухленьким, смешным. Но он был никому не нужен. «Как же таких бросают?» – ужаснулся он. Не выдержал и сказал Олюшке вслух свои мысли. Он и раньше упоминал, как тяжело и страшно жилось там. Но не подробно, потому что хотелось забыть. А тут накатило. Не то чтобы он заново распереживался, но несколько воспоминаний выдавил выразительных на эту тему и замолчал. Молчание ведь передаёт больше, чем слова.

– Знаешь, – сказала Оля. – Я тоже сегодня думала об этом. Давай, если не получится, усыновим? Можно добиться – мои родители, они ведь нестарые. Им ещё можно усыновить. А будет он наш. Только не говори ничего! Не говори нет! Не говори, что всё будет хорошо. Я подумала: это знак, наверное. Что он у нас должен быть. Свой или не свой, неважно. Главное,

чтобы был. Поэтому, если я всё-таки не смогу родить, ну, или если с ним что-то случится, давай так сделаем, ладно?

Он опешил. Как она и просила, не стал ничего говорить. Его только очень поразило, что он, со своей навязчивой привычкой видеть и разгадывать во всём знаки свыше, ни на секунду не задумался о такой трактовке происходящего. Хотя это он в детдоме вырос, а не Оля. Но уж конечно, никогда бы не решился кого-то усыновлять…

«Вот тебе и раз, – озадачился он. – Даже то, что в голове у жены, непредсказуемо. А что уж там у Бога в планах?..» И опять ему стало не по себе.

Они помолчали, а потом он тихо спросил:

– Ты кого хочешь, девочку или мальчика?

Она долго не отвечала. А потом прижалась к нему и прошептала:

– Ой, я так боюсь. В такой ситуации кого-то хотеть больше или кого-то не хотеть... Да хоть бы кто! Да хоть бы кто-то! Потому что не верится, что это возможно. Всё кажется, что плохое случится. Ну… если честно, то больше девочку хочу. Не знаю почему. Мне кажется, она такая будет худенькая, с косичкой и в очках.

Опять сюрприз. А он был уверен, что она мальчика хочет. Но тут, конечно, да, хоть бы кто-то...

– Ещё есть вариант двойни, – усмехнулась Оля, а он как раз об этом подумал и улыбнулся. – И тройни еще бывают! – засмеялась она.

– Да, наверное, девочка лучше, – поддержал он, хотя не был в этом уверен. Подумал, какой бы довод привести, и нашёл самый банальный. – Ей в армию не идти.

– А три девочки – вообще хорошо! – подкалывала его Олюшка. – И пусть идут в армию! Я им дам спартанское воспитание. Или олимпийское. Ну, на самый уж худой конец, паралимпийское.

– Не говори ерунды, – легонько хлопнул её по губам он, потому что уже совсем поверил в благоприятный исход, то есть в самое обыкновенное чудо, такое посапывающее и сладко потягивающееся в коляске. – Надо теперь продумать, что покупать, как рожать и так далее. Всё будет отлично!..

2

Но, конечно, он волновался. И они теперь жили от одного визита к врачу до другого. И всё ждали, ждали новостей...

Новости были редкие, но в целом хорошие. Нормальные анализы, правильное развитие плода. Ничего особенного, ничего криминального. Советы пить витамины и хорошо питаться. Вес чуть прибавился. Так прошло три месяца.

Олю постоянно тошнило и рвало, особенно по утрам и в транспорте. Он переживал, несмотря на уверения, что тошнота в норме вещей. Но ему это казалось серьёзным испытанием, было её ужасно жалко. Эйфория прошла, он снова возвращался к мыслям о том, как им вынести это, где взять денег, сил, терпения, времени. Ребёнок – это же на всю жизнь... Он молился и надеялся найти новую работу, более оплачиваемую, чтобы кормить семью. Не просто надеялся, конечно – просматривал объявления, пытался преподавателем в воскресную школу устроиться, а потом ещё в две обычных, отправлял резюме, ездил на собеседования. Но без диплома его нигде не брали.

– Ну и ладно, значит, это не моё, – бодро говорил он себе, как раньше, когда что-то не клеилось, и продолжал искать. Он всё-таки очень-очень верил, что однажды получится. Ведь даже священник говорил, что если уж Бог ребёнка даёт, то даст и возможность его вырастить. Поэтому, не жалея себя, соглашался на мелкие подработки: то объявления раздавал, то какие-то анкеты заполнять людям навязывал, то в интернете рассылки делал. Это давало копейки, но ему хотелось, чтобы совесть была спокойна, а силы потрачены до конца.

Конечно, угнетало, что вопрос не решается. Ведь важное в жизни часто без усилий происходит, без исканий, «само» внезапно сваливается, как вот эта беременность. Тут же он из

кожи вон лезет, а результата нет. «Ничего, – успокаивал он себя. – Ещё время есть, как-нибудь да сложится… Пожалуйста!!» – и он просительно-вопросительно смотрел на иконы.

Всё-таки он очень ждал, мечтал, что теперь, за этим огромным чудом, ещё обязательно случится маленькое второе. Что ему предложат достойную работу. Ну, или вообще что-то невероятное произойдет, вроде наследства от неизвестных родственников. Мало ли что в жизни бывает! Поэтому он снова и снова рассылал резюме, иногда проходил собеседования, а однажды даже отправил какие-то таинственные коды по акции, где разыгрывали автомобиль. Впрочем, это по-прежнему не срабатывало.

– Может, я не там ищу, – печалился он и понимал, что ему нужен совет со стороны, мудрый, точный. Священники говорили размытые общие фразы, – по их словам выходило, что в целом он действовал верно. Вот только главный совет был – успокоиться и не брать на себя слишком много, делать то, что в силах. Ну, а ему-то хотелось как-нибудь в одночасье всё перевернуть, ведь их жизнь уже перевернулась, а скоро перевернётся окончательно.

Он решил спросить совета у Богослова. Хоть это и было сложно. Но Богослов, кажется, остался единственным, кто мог сказать что-то дельное. Мог, впрочем, и совсем ничего не сказать, а послать куда подальше, причём ни слова не говоря. Такой уж непредсказуемый нрав имел. Ещё он ясно осознавал, что Богослов меньше всего на свете любит давать советы, и вообще лезть к нему со своими «пустяками» неприлично. Люди, независимо от возраста, положения, жизненного опыта и статуса чувствовали себя рядом с ним микробами. Его невероятный, фантастический ум ощущался, как некий нимб, собеседники всегда осознавали пропасть между ним и ими. И дело было не в том, что он много знал, или был наделён некими мистическими способностями. Сколько и чего на самом деле знал Богослов, а уж тем более, о его способностях он ни малейшего представления не имел, да и никто не имел. Но все до единого понимали, что Богослов исключительный, гениальный, невероятный, словом, некое непознанное явление, к которому приблизиться жутко.

В свое время именно Богослов направил его на путь истинный – дал краткий точный совет, когда он совсем уже впал в отчаяние и откровенно тяготился жизнью. Но теперь ситуация иная: нет чего-то непоправимого, и отчаяния нет, а есть страх перед будущим, боязнь ответственности, которая свалилась на его плечи, есть позорная слабость, неумение что-то менять. Богослов мог мгновенно всё перевернуть с ног на голову, молниеносно направить в направлении, о котором сам он никогда бы даже не задумался. В общем, Богослов – это Богослов!

***

Но он невыносимо тянул с обращением к Богослову. Хотел просить его совета и не знал как. Потому что когда начинал сочинять текст письма или устного разговора, ему их горести копеечными казались, и стыдно было плакаться.

Ну, и ещё другой момент присутствовал. Богослов всё-таки – муж Даши, хотя у них очень странные отношения, и вообще более нелепого невероятного брака на планете не существует. А о Даше он часто думал... И скучал по ней. Ему её не хватало. Ужасно не хватало.

Он думал о ней и теперь, когда Оля забеременела. Не шла Даша из головы. Не то, чтобы это была сильная влюбленность или навязчивая идея. Но он почти каждый день хотя бы коротко вспоминал о ней. Просто вспоминал и всё. Не позволял себе мечтать или что-то фантазировать. Но ему хотелось её увидеть… И поэтому к Богослову обращаться было неловко. Богослов ведь знал всех насквозь. И конечно это, про Дашу, тоже знал... Он понимал, что это нехорошо, гнал мысли о ней, но они возвращались.

Разумеется, кончилось дело тем, что он Даше и открылся. Не посмел к Богослову обратиться, хоть и любопытно было. То есть он позвонил Даше и решил, что если Богослов окажется рядом, то он попросит ему передать телефон. А если его рядом не будет, значит, и совета спрашивать у него не нужно. Затаил дыхание и набрал кипрский номер.

Богослова рядом не оказалось… Он вообще был в Сербии со своими лекциями. А Даше он поведал всё. Говорил, задыхаясь, то от счастья, то от отчаяния. Не так возвышенно, как «про

чудо» на исповеди, а совсем искренно, открыто, как можно рассказать о своей боли только родному близкому человеку.

Даша растерялась. Представить безрукую Олю беременной, наверное, было нелегко. Он почувствовал, что у неё ком в горле от накативших мыслей про генетические заболевания. Последовала именно та реакция, которой он опасался, и какая у него самого была вначале: испуг, безмерное удивление, жалкость в голосе, будто она извинялась за то, что так вышло.

– Ты не переживай, – сказала наконец Даша, когда эти эмоции неловкости и смущения выразила в форме нелепого и неискреннего поздравления. – Мы тебе поможем. У нас полно осталось малышовых вещей от Елисея. И деньги у мужа есть…

– Да нет, это неудобно, я же не для того… – замямлил он. Ему, и правда, стало неудобно. – Я говорю, не знаю, куда устроиться работать. Может, у него в Москве знакомые какие-нибудь? Ну и вообще, он гений...

– Я спрошу, обязательно. Всё передам! Вот только приедет, – пообещала Даша. – А то по телефону сложно говорить с ним… Конечно, он может посоветовать. Ты, главное, не волнуйся. Ребёнок – это не так страшно! То есть, тьфу! Не то сказала! Ребёнок – это прекрасно, это счастье! Вот рожать только – это ужас. Но наверно ей операцию сделают. А дети – это хорошо. Я по тебе скучаю, – неожиданно призналась она. – Всё мечтаю, чтобы ты приехал. И крестник твой бы обрадовался.

– Да уж… теперь мне куда ехать… – протянул он. Но у него сладко дёрнуло в груди от того, что, оказывается, она по нему скучает. Потом задал ещё несколько вопросов про Елисея для приличия, и они попрощались. Крестником он интересовался гораздо меньше, чем раньше. Любил его, конечно, но всё-таки это был сын Богослова. Ну, а если отец сам великий Богослов, то из него-то какой крёстный? Что он ему может дать? Да и вообще, хоть они друзья, но это чужая семья, и он им не нужен… А по-честному, не очень-то в принципе его интересовали дети. Как-то с ними скучно. «Теперь вот со своим будет скучно, – подумал он. – Ну, если он будет, конечно».

***

Дни текли себе и текли. Ничего не менялось. Он надеялся и ждал вестей с Кипра. Каждый день представлял, как зазвонит телефон, холодный надменный голос Богослова без приветствия коротко и сухо скажет ему одно только предложение, и от этого всё поменяется, сразу и навсегда. С Богословом ведь только так и могло быть.

Но Богослов не звонил… Да и Даша не звонила и не писала. А они продолжали жить. Олю тошнило и рвало по утрам, но в остальном она чувствовала себя хорошо. Он удивлялся её тихости и спокойствию, неизвестно откуда взявшимся. Она теперь не вскипала и не раздражалась, как прежде, было видно, что готова к любому исходу. Наверно, продолжала думать об усыновлении. Странная. Или просто беременность так сказывалась.

Плавно пролетели ещё три месяца. Эти три месяца происходило ровно одно и то же. Он молился. Он рассылал резюме и искал работу. Он, если везло, подрабатывал вечерами, помимо работы в монастыре. Он иногда ходил на занятия в университет и сносно сдал сессию, заранее обдумывая диплом. Он ждал хоть каких-то сообщений с Кипра и не дожидался. Он поддерживал Олю, как мог, хотя больше ею занималась мама, которая непрестанно помогала, ухаживала и водила по врачам. Только к началу седьмого месяца Олин животик наконец стал похож на беременный. И то, если приглядеться, а она прятала его под широкую одежду.

Однажды весть с Кипра всё-таки пришла. Это была громадная посылка с детскими вещами. Чего там только не оказалось: одежда, обувь, игрушки, погремушки, пелёнки, бутылочки, матрасики в коляску, одеяла, кремы, лекарства, даже видеоняня и стерилизатор для пустышек! «Этим можно пятерых детей обеспечить», – подумал он.

Но подарков они испугались. Оля тихо укорила его за то, что преждевременно раскрыл их тайну. Ему самому было стыдно, он ведь обещал не говорить и не подумал, что Даша может прислать посылку так быстро. Вещей они боялись, потому что нужно сначала родить, а потом уж…

– Ну, значит, всё будет хорошо, и эти штучки нам пригодятся! – бодро выдохнул он, разглядывая ёршики для бутылочек, но сердце сжалось, будто от ужасного предчувствия. Оле тоже стало страшно, он это заметил.

– Ну и трусы мы с тобой… – отвела глаза Оля. – А давай пока их спрячем подальше. Интересно, конечно, во всём этом покопаться. Но давай попозже, – и они попросили Вадима убрать огромные кули на антресоли.

***

«Попозже» случилось совсем скоро. Оля в очередной раз сделала УЗИ, которое показало, что ребенок хоть и маловесный, но развивается без патологий! А скрининг не выявил признаки хромосомных аномалий. Это был праздник!

– Мы его видели!!! – кричала Оля на весь дом. Тамару тоже пустили на исследование. – Он ножками шевелит! Или она, ещё непонятно! Не повернулся, чтобы показать, кто он, мальчик или девочка. И ручки – в полном порядке! И личико у него даже было видно! А сердце так же стучит, часто-часто!

И он с трудом верил происходящему. Внутри всё ухало и замирало от счастья. Тогда Оля попросила достать с антресолей мешки с подарками, и целый вечер вместе с Тамарой они рассматривали детские вещи. Потом стали сортировать: что на первое время, что на вырост…

– Как же много нужно маленькому, – удивлялся он. – У него гораздо больше вещей, чем у меня, – и с нежностью гладил распашонки и ползунки. Эти вещи они потом перебирали ещё много раз, думали, что докупать, составляли списки, и мало-помалу комната начала превращаться в детскую.

А сколько было радостных хлопот, когда они выбирали кроватку! Оля целый месяц просидела в интернете, чиркая по клавишам карандашом, который держала во рту, перекопала все существующие магазины, пересмотрела, наверное, несколько тысяч вариантов! Он поражался её зарождающемуся материнскому сумасшествию. Она даже составляла целые рейтинги кроваток и медленно отсеивала неподходящие по разным параметрам. В конце концов, нашлась одна-единственная, идеальная, которая подходила, как для мальчика, так и для девочки, была и удобной, и красивой, и модной. Когда её привезли, он робко заметил, что белоснежно-белый цвет быстро испачкается, но Оля и слушать ничего не хотела, уверяя его, что это пустяки, а ребёнку необходим именно белоснежно-белый цвет, и никакой другой, так как «это поможет правильно формироваться психике».

Словом, с начала седьмого месяца, после продолжительного затишья, в доме царила радостная кутерьма. За кроваткой после более быстрых, но не менее мучительных поисков пожаловал пеленальный стол, за ним последовала детская ванночка, ну, а уж что творилось, когда очередь дошла до выбора коляски, трудно даже представить! Спасибо ещё, что он целыми днями находился на работе, а то бы вообще сошёл с ума от Олиных бесконечных разговоров и просмотров километров сайтов с различными моделями и форумами о них. Он и без того вечера посвящал именно этому, хотя по честному, ему было всё равно, какую коляску покупать, и он не видел смысла тратить на поиски столько времени. Он абсолютно не улавливал, чем эти «самые лучшие» варианты отличаются, кроме цвета, и готов был на стену лезть от новых слов, посвящённых младенчеству и материнству, которыми Оля теперь сыпала, будто из пулемёта.

Конечно, дотошная Олюшка целыми днями только и читала, и просвещалась на темы детей, а потом, вечерами заваливала новой информацией, которую он не воспринимал и не усваивал. Он послушно кивал, угукал, молчал и радовался, что видит её счастливой, и что Оля наконец-то по-настоящему нашла себя. «Надо же какое чудо, – продолжал думать он о чудесах, – действительно, главное предназначение женщины – материнство». С ним же вот никаких особых перемен не приключилось после Олиной беременности, ну, разве что только он стал относиться к ней более бережно и трепетно. А она уже полностью жизнь перевернула – вместо занятий психологией и работы с инвалидами, всю себя отдала абсолютно новой задаче, и довольна, и не скучно ей, хотя по правде говоря, это очень скучно, и никогда бы он раньше не

подумал, что она может с таким рвением и всерьёз к этому относиться. Волшебство, что и говорить!

К концу седьмого месяца была куплена коляска. Он почувствовал, как седеет, когда увидел ценник.

– Оля, это же две моих зарплаты, – пробормотал он. – Да ещё вместе с подработками. Зачем такую дорогую? Это ведь только на год.

– Только! – возмутилась Оля. – А ты знаешь, что в первый год у ребенка закладывается… – и пошла-понеслась, сев на любимого с недавних пор конька. В итоге он прослушал двухчасовую лекцию про развитие ребенка первого года жизни. Бежать было некуда, а очень хотелось. То есть не бежать хотелось, а чтобы Оля, ну, прежней, что ли, стала ненадолго, поговорила о чём-то другом.

В тоже время её вдохновение и восторги ему понемногу передавались, она его будто согревала, но не тем, *что* говорила, а как. Впрочем, она его и физически согревала. Выдалась промозглая осень, а старый дом ещё не отапливался, в результате чего он частенько мёрз ночью. Оле же наоборот последнее время постоянно было жарко, она не только спала под летним невесомым одеялом, но и требовала оставить щель в окне, и ночами он жался к ней, дрожа, как осиновый лист. Он похудел за последнее время напряжённой работы и нервов, плохо спал и боялся холода. Тут Оля с животом приходила на помощь.

– Малыш мне даёт тепло внутри, – признавалась она. – Всё время жарко и душно, – а раньше-то была мерзлявая до ужаса, и он согревал её.

Ребёнок шевелился активнее всего ночью, дубасил Олю. Его поражало, как это она радуется, что не может уснуть. Впрочем, конечно, он сам ощущал неимоверное счастье, когда клал руку на живот и чувствовал лёгкие приятные толчки.

Однажды они сделали фильм про то, как малыш «танцует». Ребёнок будто почувствовал, что его снимают, и полчаса отплясывал, приводя живот в волнообразное состояние, а окружающих – в неописуемый восторг.

– Дискотека! – хохотала Оля. – Жаль, что я живот потрогать не могу. Погладь его, чтобы он успокоился! – но «танцор» никак не унимался. Живот ходуном ходил, а малыш брыкался вовсю. Он, наверное, на музыку реагировал, которую Оля специально подбирала и включала. Впрочем, может быть, это был не малыш, а малышка, – пол ребёнка до сих пор оставался неизвестным. И вот однажды…

***

– Мальчик! – торжественно сказала Оля, и глазищи у неё в этот момент были, как фонари, круглые и пронизывающие насквозь волшебным светом. Свет буквально был виден, ощутим, струился и обливал его с головы до ног. Потом она заплакала, а он в себя не мог прийти. То есть, он знал, конечно, что будет или девочка, или мальчик. И если бы она сказала «Девочка!», он бы тоже не мог прийти в себя от удивления. Потому что это очень странно, что будет кто-то конкретный, или мальчик, или девочка. Он как-то неопределённо привык воспринимать этого ребёнка, просто маленький человечек и всё, без пола, без имени.

– Так это же очень хорошо! – наконец сказал он. – Даже лучше, что мальчик! – и про себя тоже подумал, что, да, мальчик – это гораздо серьёзнее, фундаментальнее, и уже через минуту стал гордиться, что у него именно мальчик, а не какая-нибудь там девочка.

– И вещи все мальчиковые, – добавила Тамара. – А я-то думала, что девочка будет, не знаю почему.

– Я тоже думал, – признался он, но не признался, что девочку меньше хотел, побаивался даже девочки.

Непонятно почему, но его чувства к ребёнку сильно изменились именно после этой новости. Он начал относиться к Олиному животу, как к личности. Стал разговаривать с ним по-мужски, как «со своим». Он даже делился с ним секретами, когда Оля спала.

Он вдруг вообразил, что живот, ну, то есть его сын – это единственный, кто его понимает. И что ближе у него никого нет. Это ночью бывало, в каком-то полусне. Днём проходило, и он по-прежнему волновался. Но стал теперь твёрже. Нашёл в себе, наконец, не

только ответственность, но и силы, которые позволят эту ответственность нести. И вообще, он впервые стал ощущать себя отцом, хотя ребёнок ещё не родился. Он уже знал, что у него есть сын. И знал ещё, что из сына когда-нибудь вырастет мужчина, лучше, чем он, гораздо лучше. Умнее, добрее, решительнее. А он сделает для него всё. Ну, то есть, всё, что сможет...

Словом, сын уже как будто родился, во всяком случае, он стал его «понимать», разговаривать с ним. И полюбил, сейчас, заранее, полюбил. Наверное, то, что чувствовала Оля, предалось и ему. Он даже умудрялся ревновать малыша к маме. Она ведь была гораздо ближе к нему. А он тут вдруг весь проникся идеей, что это именно его сын, что он свой, родной, ближе самого близкого друга. Представлял, как будет играть с ним, укладывать спать, читать ему книжки. И вообще, Оля ведь не сможет делать ничего, значит, заниматься ребёнком ему предстоит очень много. Теперь эти мысли не пугали, а наоборот приподнимали над землёй и уносили в неведомые прекрасные дали. Ему уже не терпелось скорее увидеть своего малыша, взять его, прижать к себе…

– Может, мне пойти на роды? – героически спросил он однажды Олю.

– Зачем? – насторожилась она. И после паузы вдруг отрезала. – Нет! Я тоже об этом думала. Но нет, наверное, не надо.

– Почему?

– Сама не понимаю почему, – напряжённо затрепыхалась Оля. – Я много читала, что вдвоём рожать лучше. Но… я так чувствую. Что не надо тебе туда идти. Просто не надо и всё.

– Но я должен его увидеть первым. Я же папа! Это мой сын, – он никак не ожидал от неё такой реакции. Он-то думал, она обрадуется, сама захочет, чтобы он был рядом в такой момент. Странно. Вот, опять убедился, что совершенно не знает, что в голове у жены. – А чего ты боишься?

– Да не боюсь я, – замотала головой Олюшка и виновато забормотала отрывисто. – Но это же… кровь, крики, муки. И это очень долго! Зачем тебе? И вообще, я должна сделать это сама.

– Ну и сделаешь сама! Понятно, что сама! Подвиг совершишь! – уверил он. – Чем я-то тебе помешаю? Может, и помогу ещё!

– Я бы не советовала, – авторитетно вмешалась Тамара. Она теперь постоянно была рядом с дочерью, боялась, наверное, что он с беременной не справится или нечаянно её обидит (хотя Оля стала настолько спокойной, что не обижалась даже там, где следовало бы). – Подождёшь в коридоре. А когда родится, договоримся, чтобы сразу пустили посмотреть, – если всё в порядке будет, конечно. Сейчас можно: дадут халат, бахилы и увидишь. Я это устрою, у меня есть знакомая в роддоме.

Он скис. Не то, чтобы его интересовал сам процесс. Но он очень хотел быть с Олей в этот момент, поддержать её, передать ей силу, любовь. Ну и… сразу, первым увидеть сына.

– Я знаю, что это испытание. Что это страшно может быть. Но я должен быть рядом, – тихо и твёрдо сказал он. И Оля, чуть помявшись, согласилась.

– Хорошо, – кивнула она. – Будем рожать вместе.

Тамара только вздохнула…

***

Оставалось немного. Договориться оказалось несложно, его попросили сдать кровь, сделать флюорографию. И он тоже стал готовиться, читать специальную литературу о том, как рожают, даже нашёл информацию, как и чем муж может в этой ситуации помочь. Правда, ничего толком не запомнил, запутался: там были какие-то фазы, стадии, периоды. И вообще, судя по некоторым источникам, это было дело сложное, тяжёлое, нудное, а по другим выходило, что вроде как ничего страшного, естественный процесс, который сам собой будет происходить, и ничем не повлияешь.

В итоге он махнул рукой на статьи и сосредоточился на ожидании чуда. В неблагополучный исход больше не верилось. Врач, с которой он говорил в роддоме, предупредила, что из-за инвалидности роды могут быть сложными, тем более что «маловесный» изначально ребёнок беззастенчиво сделался «полновесным». Однако

противопоказаний не было, а Оля категорически отказывалась от операции, считая, что это вредно для малыша.

– Простимулируем, конечно, поможем, ускорим, – объясняла доктор. – Но если что-то пойдёт не так, сделаем кесарево. На операции вам уже присутствовать нельзя. Придётся выйти, если что.

Про ребёнка же и врачи, и анализы говорили, что он развивается нормально, отклонений, патологий, пороков нет. Стало быть, чудо случилось, и очень скоро мальчик появится на свет.

И он, этот малыш, уже стал для них самым дорогим в жизни. Незаметно, постепенно он влился в их существование, сделался неотъемлемой частью. Каждое его движение обсуждалось, и отсутствие движения тоже обсуждалось, а главным было то ощущение тихого счастья и нежности, которое переполняло обоих, о котором они, конечно, не говорили, но понимали, что теперь никогда ни на что его не променяют.

Имя решили давать по святцам. По срокам, когда он должен был родиться, нашлось много прекрасных имён, и древних, и современных, а они хотели, чтобы непременно у сына день рождения совпадал с именинами.

– Вот родится, тогда и узнаем, как его зовут, – нежно шептал он, прижимая ухо к животу. – Как ты хочешь, чтобы тебя звали, а? Да ты, наверное, уже всё знаешь лучше нас. Это мы, непутёвые, ничего не понимаем. А ты, раз надумал родиться, то должен быть гораздо умнее. А может, душа и правда свою будущую жизнь знает, прежде чем на свет явиться? – озадачился он. – Не зря же у нас бывают ощущения, что всё это уже было?..

– Не говори ерунды, – Оля никогда не была склонна к романтике и подобным размышлизмам. – Ребёнок – это чистый лист. Что вложишь, то и вырастет. Но он, конечно, будет умнее нас, – смягчилась она. – И талантливее. Он всего достигнет. У него ведь не будет наших проблем.

– Да, – сказал он. – Обязательно всего достигнет. А как он ножками и ручками дубасит! Может, боксёром станет?

– Нет, врачом, – распорядилась Оля. – Будет лечить таких, как я. Или помогать рожать таким, как я.

3

По прогнозам и подсчётам врачей оставалось две недели, максимум три. Было воскресенье. Он не пошёл на службу или на работу, решил отдохнуть дома. Проснулся от странного сна, но не мог вспомнить детали. Только запомнилось, что сон был очень-очень странным, и что он во сне понимал, что это сон, и что он очень-очень странный. Остались ощущения некоего нового мира, где он побывал, и где всё было вообще не как здесь, – мир тот был полон сияющей пронизывающей тихой печали. Там было невероятно красиво, но ни печаль, ни красота не были похожи на здешние, всё было иначе, ново, непередаваемо. И вот он лежал с рассеивающимся остатком этой неземной пленительно-прекрасной грусти, как вдруг почувствовал, что Оля не спит. Светало. Он открыл глаза, повернулся. Она лежала на боку с закрытыми глазами, по лицу текла слеза.

– Что случилось, Олюшка? – испугался он.

Она вздрогнула, – не заметила, как он проснулся.

– Очень-очень скоро, – прошептала она. – Сегодня или завтра.

– А что, чувствуешь что-нибудь? – испугался он ещё больше.

– Да.

– Болит спина? Схватки? – он же уже начитался «беременной» литературы. – А воды не отходили?

– Нет, я совсем другое чувствую, – шептала Оля, и слёзы лились из закрытых глаз. Это было похоже на молитву. – У меня сердце… будто золотом пронизано, будто светится и переворачивается. Я никогда такого не чувствовала. У меня голова холодная-холодная. А сердце, будто оно этот ребёнок, само по себе. Там откуда-то такая радость… – она вдруг

громко всхлипнула и разрыдалась. – Я никогда ничего подобного не ощущала. Но радоваться-то сейчас особенно не с чего. Это означает, что скоро, вот-вот.

Кажется, ему стало передаваться то, о чём она говорила. Он понял, что она рыдает от переполнявшего нахлынувшего из ниоткуда счастья. И он тоже вдруг ощутил необъяснимую радость, это было похоже на радость после причастия, когда сердце будто живёт само по себе.

– Вот это да, – поразился он. – Значит, надо в роддом собираться.

– Не торопись, – улыбнулась, продолжая плакать, Оля. – Это ещё только самое начало. Поедем, когда схватки будут. – Пока это у сердца схватки.

Он закрыл глаза, и ему представилось, как они летят вдвоём по небу, голубому-голубому, и он её обнимает, прижимает к себе, и никогда-никогда не отпустит. А впереди летит их сын. Он не представил какой, только знал, что это их сын впереди. И им было так хорошо, как никогда за всю жизнь ещё не было. «Оказывается, земная радость бывает, как неземная», – с удивлением отметил он про себя, как любил всё отмечать. И продолжал радоваться.

***

День прошел, как обычно, роды не начались. Радость исчезла уже через час. Он весь день хлопотал около Оли, готовил еду, кормил её, водил гулять и ждал, что вот-вот начнётся. Но нет. Под вечер они успокоились, решив, что раз положено ждать ещё две недели, то и случится всё через две недели.

– Наверно, малыш дал о себе знать, что готовится родиться, – предположила Оля. – Интересно, повторится это или нет.

Не повторилось. Ночью он проснулся оттого, что Оля беспокойно ворочалась. Он поинтересовался, всё ли нормально, и она ответила, что вроде бы да. Снова проснулся часа через два, когда только начинало светать.

– Сегодня ты не пойдешь на работу, – сказала Оля очень спокойно. – Теперь уже точно.

– Что… точно? – как дурак, спросил он.

– Началось, – ещё спокойнее сказала Оля. Но он почувствовал, что она волнуется.

– А что именно началось?

– Наверно, схватки, – сказала Оля. – Я всю ночь не сплю.

– Больно? – спросил он.

– Да не особо, занудно как-то.

– Может, это и не схватки? – растерялся он.

– Может, и нет. Но похоже. Каждые двадцать минут примерно. Надо в роддом.

Пакет для роддома был собран заранее. Когда они стали потихоньку одеваться, вошла Тамара. Они объяснили, в чём дело, и она их отговорила ехать срочно.

– Что ты, Олюшка, – сказала она. – Это ещё только предвестники. Настоящие схватки – это немного иначе. Ты пока подожди, может, и пройдёт.

– Да ведь довольно больно, – призналась Оля. – Ещё немного, и я идти не смогу.

– Если ехать сейчас, то тебя в предродовую положат, кто знает насколько? А его туда не пустят. Ты же с ним хочешь быть? – объяснила Тамара. – Лучше, когда начнётся, скорую вызовем. Не переживай, ждать ещё долго.

– Я одна не хочу оставаться, – испугалась Оля. – А когда же настоящие начнутся?

– Должно быть скоро. Но бывает, что только через несколько дней. Главное, чтобы воды не отошли. Вот тогда нужно срочно.

– Ну да, я же читала, – вспомнила Оля. Она была бледная, он видел, что ей больно, но она терпит. Отвлечься Олюшка ни на что не могла. Даже смотреть фильм уже не было сил. И она лежала. Он пытался её накормить, но ей не хотелось. Впрочем, мама заставила съесть маленький завтрак, а затем и лёгкий обед.

– Нужны силы, – говорили они ей в два голоса. – Потом уже не поешь.

Часов до пяти вечера ничего не изменилось. Эти самые предвестники стали немного чаще, то были с интервалом двадцать минут, то пятнадцать, а то даже и десять. Оля сказала, что стало больнее. Хотела спать, но, конечно, уснуть не могла. Он решил вызывать такси или скорую, но Тамара по-прежнему уверяла, что ещё рано. Оля лежала, ворочалась, иногда тихо

постанывала. Он за это время уже переволновался до того, что сам опустошённо и устало лёг рядом с ней. «Когда же, когда? – думал он. – Как бы чего не случилось?»

Он ещё утром позвонил врачу, но она повторила слово в слово то, что сказала Тамара. Торопиться некуда, надо ждать. Или в предродовую. Так время дошло до девяти вечера. Оля уже откровенно мучилась, крутилась в кровати и сжимала губы. Потом начала стонать. Он и Тамара поочерёдно стали давить ей на спину, чтобы облегчить боль. Она при этом упиралась головой в стенку, чтобы нажим получался сильнее.

В десять наконец вызвали скорую. Схватки стали уже приемлемо регулярными – приблизительно каждые пятнадцать минут. Оля временами стонала, временами покрикивала. Он был напряжён и очень волновался. Старался сохранять спокойствие, но не мог. Понимал, что ничем не поможет, только жал изо всех сил Оле в спину, когда она просила. Кажется, ей, действительно, становилось от этого полегче. Она просила не отходить. Было страшно. За неё, за то, что ещё предстоит пережить.

Скорая приехала быстро. Осмотрели бегло и велели собираться в роддом. Он заметил, что врач слегка навеселе. Конечно, совсем не до того было, но всё-таки его это больно резануло. В их жизни такое событие происходит, Оля мучается, а тут какая-то пьяная грубоватая тётка, совершенно безразличная. К Олиным крикам ноль внимания. А она уже сильно стала кричать во время этих самых схваток, он опасался, что сбегутся соседи.

Оля кричала и в лифте. На улице терпела, а в машине снова стала кричать.

– Ты не вопи, ты дыши, – равнодушно посоветовала врач.

– Да, Оленька, часто дыши и не глубоко, ну, как собачка, когда устанет, – уже в который раз повторила Тамара. Но Оля собачкой не дышала. Пробовала пару раз, но всё равно переходила на крик. Он себя чувствовал неловко и бесполезно. Было мутно перед глазами и на душе. Какое-то нехорошее предчувствие зашевелилось глубоко в сердце, стало страшно. Он старался его прогнать, успокаивая Олюшку.

– Солнышко, я очень тебя люблю. Ты молодец. Ты сделаешь это, – но Оля явно хотела слышать что-то другое или вообще ничего не хотела слышать.

***

В роддом доехали мгновенно. Потом их долго оформляли в приёмной, Оля подписывала бумаги в перерывах между схватками, а во время схваток кричала и звала его, – он снова и снова давил ей на спину. Было жарко, пот лил градом.

Его поразил этот контраст в Олином поведении, как будто он только сейчас его заметил: во время схваток она кричала и извивалась от боли, а в перерыве вела себя спокойно, тихо и вежливо, как будто вообще ничего не происходило, и вдруг снова начинала кричать. Возможно, это показалось бы даже забавным, если бы он смотрел, как посторонний, и она была не его женой. Когда с документами закончили, её увели переодевать и готовить, а его пригласили облачиться в халат и тапочки.

С Тамарой они попрощались в коридоре, ей нужно было ехать на ночную смену в больницу, где она работала медсестрой. Поскольку заранее решили, что на родах останется он, смысла находиться в роддоме ей не было. Договорились, что будут на связи.

Он переоделся и ждал, пока ему позволят подойти к Оле, слышал за стеной её крики. Время тянулось невыносимо медленно. Готовилась Оля около получаса. Он видел, что к ней зашёл врач, да тут же и вышел.

– Раскрытие совсем чуть-чуть, не больше сантиметра, – сказал врач в ответ на его измученный вопрошающий взгляд, и тут же убежал. Он постеснялся и не успел спросить, что это значит, а потом робко осведомился у дежурной в приёмной.

– Значит, ещё долго, – неутешительно ответила та.

У него болела голова, хотелось спать. В теле чувствовалось ужасное напряжение и усталость. Сердце трепетало, неприятно замирало и снова ошалело неслось куда-то... Наконец его позвали в родовую. Олю с сопровождающей сестрой он догнал в лифте. Он был уверен, что её повезут, но она шла сама, а во время схваток останавливалась, упиралась головой в стену и кричала. Он снова принялся давить ей на спину.

– А УЗИ делали? – тихо поинтересовался он. Оказалось, не делали. – А почему? – но сестра не ответила. Он звонил их врачу, но та не отвечала. Неудивительно, была поздняя ночь. Он попросил, чтобы ей сообщили, она ведь должна приехать, но в ответ на него только рукой махнули.

Родовой бокс был совсем не таким, как он представлял. Он почему-то думал, что это маленькая мрачная коморка с кроватью, застеленной белой простынёй. Но комната оказалась громадной, ярко освещённой, полной непонятных предметов. Он разглядывал её с удивлением и пустой-препустой головой, ничего толком не понимая. Олю уложили на огромную кушетку, рубаха была в крови. «Почему бы это», – испугался он, но поскольку сестра ничего не говорила, решил, что это в порядке вещей. Олю стало рвать. Сестра велела подавать ей плошку и ушла, ничего не объяснив.

Вскоре появились ещё двое. Видимо, одна из них была врачом. На него они не обращали внимания, а он боялся слово молвить, только глядел затравленным взглядом. По разговору он понял, что Оле прокололи пузырь, затем увидел, как поставили капельницу. На её крики не реагировали, только один раз врач цыкнула:

– Не ори, а дыши! – они будто сговорились быть грубыми и равнодушными. Оля проигнорировала сей добрый совет и продолжала кричать. Он тяжело вздохнул и робко спросил:

– А УЗИ не будут делать?

– УЗИ не нужно, – отрезала врач. – Процесс идёт, обвития нет, ребёнок правильно расположен, нормально ведёт себя, – он понял, что ей не хочется что-либо объяснять, но спросил всё же, когда приедет их врач. Оказалось, не её смена. – Но если вы договаривались, – подчеркнула докторица, – то утром будет. А вообще так не положено.

Ну да, как будто они первые платят врачу. Секрет называется. Да почти все платят. Кто-то заранее, кто-то потом благодарит. Он уж этого столько в интернете начитался.

Акушеры ушли, ничего больше не сказав.

Ему показалось, что их бросили одних на необитаемом острове. Он-то думал, что их врач тут же на крыльях прилетит. И вообще, что вокруг все забегают. Ну да, сложно же представить, что здесь это каждый день, и врачам поспать хочется. Ведь для них с Олей – это единственное в жизни событие.

– Олюшка, держись, солнышко, – бросился он к ней, когда она в очередной раз начала кричать. – Подумай, это же наш сыночек. Один раз в жизни нужно пострадать ради этого, – но Олю высокие мысли явно не занимали. Кстати, он тоже ни на секунду за всё время не сосредоточился на том, что происходит долгожданное чудо, и ребёнок рожается. Наоборот, казалось, что всё это с младенцем не связано, будто он навсегда должен остаться у Оли в животе. Даже померещилось, что он ей врёт сейчас про «сыночка», дабы глаза отвести, словно роды не для того предназначены, чтобы появлялись дети, а чтобы женщинам мучиться. Стыдно признаться, но их ни капли не интересовало, что происходит с малышом, о нём и думать забыли. Он только усмехнулся, вспомнив, как собирался, сидя в родовой, «проникаться чудом». А желание осталось одно – чтобы всего этого не было! Именно не поскорее закончить, а чтобы всего этого вообще не было.

То ли из-за усталости, то ли из-за поздней ночи, но всё происходящее чем дальше, тем больше казалось дурным кошмарным сном. Перерывы между схватками стали меньше, сами схватки дольше. Бедная Оля мучилась, кричала, извивалась ужом, а он опять чувствовал опустошение и беспомощность, не зная, как помочь. Её всё чаще рвало, хотя давно уже было нечем, он давал ей пить водичку, и её снова рвало.

– Ничего, скоро это кончится, – прошептал он, когда завершилась очередная схватка, и, кажется, в первый раз это было то, что она хотела слышать. Он прямо физически почувствовал, что ей стало от его слов чуть легче. «Ну да, наверное, она ни о чём не в состоянии думать, – догадался он. – Совсем забыла, что роды когда-нибудь кончатся. И не когда-нибудь, а скоро. Может, через несколько часов...» Но про часы он ей не стал, конечно, говорить, понимал, что она уже и нескольких минут терпеть не хочет. А куда деваться?..

– Будто спину заживо перфоратором сверлят, – сказала Оля в перерыве между схватками. – В аду, наверно, лучше.

«Господи, – прошептал он, – за что же ей такие муки? Кошмар какой…». Странно, что Оля не плакала. Наверное, сил не было. А ему хотелось заплакать. В соседнем боксе за прозрачной стеной лежала женщина. Она тоже была под капельницей, значит, тоже рожала. Но она не кричала и не извивалась, а спокойно читала книжку. Он смотрел и не понимал, как такое возможно. Почему его жена страдает, а эта нет? То есть, получается, совсем нет, ведь даже при слабой боли не будешь с книжечкой отдыхать. Оля такая хорошая, она столько вытерпела в жизни, столько видела, через столько прошла, – этой читательнице и не снилось ничего подобного. Почему же Оля должна мучиться, а она нет? Где справедливость?

И он снова и снова давил Оле на спину, давал ей воду, и сердце переворачивалось от её ужасных криков.

– Солнышко, не сопротивляйся этому. На сопротивление уходит много сил, – советовал он, но понимал, что Оля не может не сопротивляться, потому что терпеть невыносимо. Он видел, что она очень устала и измучена. – Скоро всё это кончится, – ещё раз повторил он и понял, что тоже внутренне сопротивляется этому тягучему кошмару и адской Олиной боли. «Зачем это, – снова подумал он, – зачем именно ей? Абсурд…»

***

Гнетущая ночь продолжалась. Минуло три часа с тех пор, как Олю положили в родовую. Часы будто замерли. Он смотрел на них, и казалось, что они идут назад. «Не может быть, чтобы только десять минут, – уже прошёл час, два, три», – думал он каждые десять минут и мечтал кинуть чем-нибудь в циферблат. Самому хотелось начать стонать и кричать. «Но это самое правильное в жизни решение – быть здесь, – поощрял себя он. – Что бы она делала одна, брошенная, измученная, кричащая, когда время тянется в тысячу раз медленнее, чем обычно?»

За три часа к ним никто не зашёл. Только дважды пробегала мимо акушерка, коротко заглядывала в дверь и мчалась дальше. Где-то в другом конце коридора тоже периодически кричала женщина. Значит, мучилась не одна Оля. Кому как «повезёт».

Было жарко. Он тоже периодически пил воду и протирал влажным полотенцем Оле лицо. Её крики сделались более продолжительными, громкими и совсем уже животными. В голове было мутно. Мелькали мысли убежать и спрятаться, чтобы не слышать больше, как кричит Оля. Ему уже совсем-совсем не хотелось ребёнка, он его почти ненавидел.

Если бы он хоть отдалённо мог себе представить, как проходят роды, то никогда бы этого младенца не сделал. И никогда-никогда бы его не хотел. Потому что не должен человек так мучиться, даже один раз в жизни. Она и подавно не должна, слишком много было в её судьбе других испытаний…

Бесконечно было жаль Олюшку. Сам бы он, наверное, не вынес таких мучений. Он винил себя, винил уже даже Бога, винил родителей и друзей, которые радовались, узнав о беременности, и ему больше всего на свете хотелось прекратить как-нибудь эти роды, или чтобы она лишилась, что ли сознания, и ей сделали операцию. Лишь бы больше не слышать жуткие душераздирающие вопли.

Каждый крик «пробивал» насквозь, будто ошпаривал кипятком, будто Оля не орала, а стреляла ему в голову. Он уже ненавидел эти её крики, и себя за то, что ненавидел её крики и не находил больше сил терпеть, и врачей, которые не звонили и не шли, словом, превратился в один натянутый больной нерв, пропитанный ненавистью. И Олю он уже ненавидел и хотел убить, чтобы она перестала мучиться. Она наверняка и сама не отказалась бы прервать этот мрак и ужас таким образом… Впрочем, он догадывался, что она ни о чём не в состоянии думать, а между схватками помнит только о том, что сейчас начнётся новая схватка, и снова придётся мучиться.

Около шести утра приехала наконец их врач. Она же привела анестезиолога.

– Ничего, чуть-чуть потерпеть осталось! – бодро сказала она, но не уточнила, сколько это «чуть-чуть». Они с Олей не хотели мучиться больше ни секунды. Ему её слова показались издевательством, как если бы с них заживо сдирали кожу, и при этом успокаивали: «ещё каких-

нибудь пару-тройку часиков». Он чувствовал себя израненным затравленным зверем, мечущимся по клетке. К Оле испытывал щемящую жалость, тоже как к животному какому-то, а не к человеку и тем более, не к жене. И мечтал, чтобы кто-нибудь из них двоих немедленно умер. Врачу он не сказал ни слова. Говорить было нечего. Он не соображал вообще ничего, кроме того, что нужно механически подавать Оле воду и миску для рвоты, давить в спину и слушать её вопли.

Пока ей делали анестезию, у него почему-то сильно закружилась голова, и он чуть не грохнулся.

– Если будете вертеться, останетесь инвалидом, – сказал Оле анестезиолог. Ему захотелось истерически расхохотаться, но, оказывается, не было сил даже говорить.

– Она и так инвалид, – еле слышно прошептал он и захотел убить теперь уже анестезиолога. Он и не надеялся, что Олины страдания могут каким-то волшебством кончиться. Казалось, что это будет длиться вечно, что их жизнь завершилась, и они оба попали в ад. О Боге он не вспоминал всё это время, разве что с полным отчаянием роптал, и тут же переключался на другие безнадёжные мысли. Ха, а он-то представлял, что почувствует Божие присутствие на родах. Оказалось наоборот: он ощущал полнейшее Божие отсутствие, чёрную зияющую пустоту и беспросветную боль за её безвинные мучения.

Оля предостережение анестезиолога слышала, но во время схватки не могла лежать ровно и по-прежнему извивалась ужом. К счастью, доктор оказался опытным, и, как говорится, не промазал. Сделал укол в спину, пожелал «счастливого разрешения» – большего издевательства нельзя было представить – и ушёл, несколько раз напомнив, как его зовут. Но он всё равно не запомнил. «Ладно, надо будет, персонал подскажет, где его найти», – подумал он, и мысли снова рассыпались в разные стороны.

Почему-то совершенно не верилось, что этот укол что-либо даст. Оля снова закричала, и он скептически усмехнулся. Каково же было его изумление, когда она через десять минут, которые тоже длились десять часов, кричать перестала. Ужаснулся, уж не умерла ли, но она лежала тихо-тихо, и по лицу текли громадные слёзы. Её глаза светилось неземным счастьем, – он испугался, что душа Оли отходит в рай.

– Подействовало обезболивание, – спокойно сказала Оля. Он аж вздрогнул, так спокойно и безмятежно она это сказала. Как ни в чём не бывало! А он, наверное, представлял всерьёз, что Олюшка уже никогда не сможет больше говорить, что она, даже если родит, от этих мук онемеет, а более вероятно, что вовсе не родит, но всегда теперь будет кричать, извиваться и корчиться. Сердце перевернулось от её обычного голоса, и у самого в глазах зажгло. На миг показалось, что они с Олей блаженствуют на небесах. Он раньше и не представлял, что бывают такие испытания. Несчастный случай с потерей руки казался детской шуткой по сравнению с тем, что они пережили сейчас. Тогда всё произошло быстро: боль, ужас и шок, провал в темноту.

«Оказывается, рай это когда нет мук, – сделал он открытие. – Оказывается, мы живём в раю... И, оказывается, бывает иначе, – мир бесконечной боли, страданий, тот самый ад, вот он, пожалуйста, полюбуйтесь. А мы беспечные, как птицы небесные, и не подозреваем, какое счастье нас окружает. Потому что, оказывается, мучиться могут и невинные, совсем невинные, такие, как Оля. Ад необязательно за грех, а, видимо, чтобы во всей полноте осознать, что он есть...» Вот такую вот странную вещь он обдумал, – страшно не было, наоборот, голова пребывала в сладостной щемящей эйфории и восторге оттого, что Оленька больше не кричит.

По её выражению лица и счастливым слезам он понял, что она чувствует такую же неземную радость. Да, этот момент стоил того, чтобы его запомнить. Вот она жизнь, оказывается, вот, где наслаждение. Нет мук. Вот он рай. Мы здесь уже живём и не знаем. И вот «небесное» чудо, которого он ждал, – прекращение боли.

– Маленький там, наверное, волнуется, – прошептала Оля. – Недоумевает, что же происходит. Рёбенку очень дискомфортно, когда он рождается, – надо же, она помнила о ребёнке. А ему и в голову бы не пришло в такой ситуации жалеть малыша.

– Теперь уж капелька осталась, – вздохнул он. – Скоро наш мальчик выберется.

Ненависть мгновенно улетучилась. Снова захотелось увидеть ребёнка, подержать его, поцеловать. Прямо всколыхнулось и вспыхнуло внутри от нетерпения. Но тут же и прошло, забылось. Всё-таки его гораздо больше Олюшка волновала, а не малыш.

– Почем не спим? – промелькнула в дверях врач. – На бочок и спать, раз обезболили.

Но спать Оля не могла, слишком хорошо было. Глаза закрыла и лежала молча.

– Я теперь очень-очень буду стараться, чтобы его быстрей родить, – пообещала она. – Надо же, я думала, будет просто полегче, а боль совсем ушла, – и снова слёзы счастья на глазах у обоих. И блаженная тишина. Крики в другом конце коридора тоже стихли, значит, и той, другой, сделали анестезию.

Оля лежала беззвучно, а он всё думал про рай на земле и внезапный ад, и боялся пошевелиться, надеясь, что она уснёт. Кажется, прошло только минут пятнадцать, но, когда он взглянул на часы, обнаружил, что пролетел целый час. «Отлично, теперь время наоборот понеслось быстрее. Оно и правильно, счастливые часов не наблюдают, откуда эта фраза?..» – не мог вспомнить он, чувствуя, как голова тяжелеет и впадает в дремоту.

Оля заёрзала и поморщилась.

– Что, Олюшка? – мгновенно подскочил он.

– Опять, кажется, начинается, – резанула его Оля по самому сердцу.

– Не может быть, – мгновенно стал жалким и несчастным он. И точно, не прошло десяти минут, как Оля уже кричала по-прежнему и извивалась.

А их-то и не предупредили, что это обезболивание временное. Впрочем, тогда бы они не наслаждались «неземным счастьем в неземном мире», где нет мук, а только и ждали бы в ужасе, когда снова начнётся пытка.

Ещё через пять минут он понял, что сделалось хуже, чем было. То ли из-за психологического момента с отдыхом, то ли из-за того, что боль, теперь действительно стала космически сильной, но Оля начала издавать совсем уже кошмарные ни на что не похожие вопли и больше не изгибалась, так как у неё не осталось сил.

4

Это длилось ещё около двух часов. Что они пережили за те два часа, он впоследствии даже вспомнить не мог. Кромешный ад, кромешная тьма, ужас, мрак, рвота. Его тоже тошнило и один раз вырвало. Но что творилось с Олей – вот это было, действительно страшно. Она исходила нечеловеческими воплями, лицо стало бледно-зелёным, появилось ощущение, будто она окружена огнём смерти, словно её вправду протыкали невидимыми раскалёнными вилами, и над ними обоими витал дух какой-то мертвичины, падали и мерзости.

– Ну всё, уже головка пошла, – бодро сказала врач, которая наконец появилась и осмотрела Олю, как будто ничего особенного не происходило. – Будем рожать! – и Олю переложили на родильное кресло пришедшие двое мужчин в халатах.

Ему было плохо, дрожали руки, перед глазами плыли пятна, мысли исчезли. Им овладела холодная лихорадка и мёртвое опустошение. Он держал Олю за плечо и, как в тумане, где-то далеко воспринимал происходящее: как Оле велели тужиться, как она тужилась во время каждой схватки, как продолжала и продолжала запредельно страшно кричать. Один раз его будто обухом ударили по голове, когда врач-мужчина гаркнул на него, или ему только показалось, что гаркнул:

– Что вы её держите, думаете, ей это поможет?! – но он, вцепившись мёртвой хваткой в Олино плечо, продолжал держать, наверняка зная, что без его руки она умрёт.

– Пульс ребёнка падает, слышишь? – это врач нервно говорил Оле. Ей включили пульс на каком-то приборе, и правда, сердце стучало с перерывами, медленнее. – Ты понимаешь, что ребёнок умрёт, если ты не будешь тужиться? – и снова Оля кричала, тужилась, и у неё ничего не получалось.

– Реанимацию, – коротко сказала их врач, и он по тону понял, что для них, для медиков, только сейчас всё стало серьёзно.

В бокс вошли двое. Тогда стало ещё кошмарнее: Оле начали давить на живот руками, будто огромный мясник всем своим туловищем наваливался на маленькую хрупкую женщину, и он уже безразлично думал, что вот сейчас они выдавят кишки, и ничегошеньки от Олюшки не останется. Ему не хотелось видеть, как из неё полезут кишки с кровью вперемешку, но он думал, что это неизбежно – ад всё-таки…

– Я же умру, – тихо прошептала Оля, после того, как на неё в очередной раз надавили. Оказывается, они таким образом помогали ей вытужить ребенка, но он всё не показывался.

– Да умирай! – рявкнул врач, который неожиданно превратился в зверя, нецензурно ругнулся и дал Оле пощёчину. Оля от шока пощёчины немного пришла в себя, и он тоже, как будто ударили его.

– Пульс упал, будем делать операцию. Она ничего не может, – вынесла приговор их врач. – Вам придётся выйти, – сказала она ему.

Он не мог подняться, его буквально выволокли двое врачей, затем какая-то санитарка проводила в лифт, и лифт спустился вниз. Он только запомнил Олин взгляд, томительный, долгий взгляд, когда его уводили из палаты. В этом взгляде было всё: и отчаяние, и сверхчеловеческая боль, будто он в такой момент её предаёт, и какая-то бесконечная вина, и страх, а больше всего – мольба не уходить. Но не мог же он спорить с врачами…

Он вышел из лифта, не соображая, где он, что с ним, какой этаж, и что делать дальше. Оказался в коридоре совсем один, сел в углу прямо на пол.

Им овладел истерический детский плач взахлёб, его трясло, впрочем, плакал он, кажется, где-то внутри, неслышно, боясь хоть чем-то потревожить ту операцию, которая шла там, наверху. А мысль была только одна, тоже жалкая и детская, которая кричала, повторяя тысячу раз одно и то же: «Господи, дай мне проснуться, я хочу проснуться, дай мне проснуться, просто проснуться», – и он никак не мог отделаться от этой единственной нелепой судорожной мысли.

Постепенно он всё же пришёл в себя, и им овладел ледяной, пронизывающий страх за то, что делали там с Олей. Хотелось быть с ней, не смотря ни на что. Видеть, как её режут, убивают, мучают, но находиться рядом до конца. А их силой разлучили, его выгнали, не дали поддержать. Он знал, что ей невыносимо тяжело и боязно оставаться одной наедине с бездушными врачами, один из которых оказался откровенным извергом.

Он сидел и беззвучно вздрагивал. Поскольку и ночью, и утром часы играли с ними в неприятные игры, даже приблизительно не мог понять, сколько минут прошло. Подумалось, что, наверное, немного, ведь время притворялось сегодня вечностью. Тогда он встал и начал ходить по коридору, бессмысленно озираясь, затем сообразил, что за полупрозрачной дверью холл или вестибюль, где сидят посетители. Но он туда не сунулся, так и вышагивал взад-вперёд перед лифтом. Ему дважды сделали замечание, прося перейти в другое место, впрочем, никому не было до него дела, кто-то вообще принял его за санитара из-за белого халата и попросил подняться в предродовую.

Очень нескоро он вспомнил, что его телефон находится в режиме полёта, и догадался, что его иначе искать не будут, кроме как по телефону, чтобы сказать, что с Олей. Казня себя, он включил его и бессмысленно смотрел на время, которое близилось к двенадцати дня. Стало быть, он провёл в коридоре почти два часа в лихорадочном беспамятстве. Как только он это сообразил, на него градом посыпались смс-ки о том, что звонила их врач. Какой же он безмозглый кретин, что остался без связи! Он с третьего раза попал на кнопку вызова, чтобы поговорить наконец с доктором. Пока шли гудки, сердце раскалывалось и ломалось, он всем телом влип в стену – ноги подкашивались.

– Ну наконец-то! – строго сказала врач. – А мы вас ищем. Подойдите ко мне в кабинет, нужно поговорить.

– Что с Олей? – спросил он.

– Поднимайтесь на третий этаж.

– Что с ней?

– Я вам всё расскажу. Кабинет триста пятнадцать.

Он ещё бесконечно долго блуждал, набрасываясь на людей и выпытывая, где триста пятнадцатый кабинет. От него шарахались. Наверное, он выглядел страшно. Наконец он ворвался туда, где за столом сидела врач. И по её виду сразу понял, что случилось непоправимое.

– Врачи сделали всё, что могли. Жизни ребёнка ничего не угрожает.

– Что с Олей? – спросил он, потому что ребёнок его почти не волновал, он ни разу не вспомнил о нём в коридоре.

– Дело серьёзное, – сказала врач.

– Она умерла? – прямо спросил он, потому что невозможно было больше мучиться, и он ждал, что ему просто скажут да, и на этом всё будет кончено.

– Она в реанимации, в тяжёлом состоянии, – посмотрела на него стальными глазами врач. – Она в коме. И шансов мало.

Потом врач начала говорить долго, внятно, похлопывая по руке. Он не улавливал. Что-то про травмы, про инвалидность и Олино настойчивое желание рожать самой, про то, что не было медицинских противопоказаний, про сложные роды, про слабость организма, и какие-то дежурные фразы о том, что «надежда есть». Но он понимал только одно. Что Оля уже не вернётся. Что, может быть, она бы вернулась, если бы он всё это время был с ней. Но ему не дали. Его выгнали. И доказать, что причина в этом, а не в её инвалидности он никогда никому не сможет. И что он тоже виноват, потому что ушёл покорно, не настоял, струсил. И теперь… её уже не будет. Никогда больше с ним не будет.

– Я могу её видеть? – спросил он.

– Пока, к сожалению, нет.

***

Оля умерла той же ночью. Ему позвонили и снова дежурно сказали, что «боролись, сделали всё возможное». Он вспомнил, как врач дал Оле пощёчину и обматерил. Впрочем, в реанимации были свои медики, и, наверно, не изверги, и наверно, они действительно боролись… Но её больше не было. И он пытался это как-то понять.

Но не мог. Слёзы текли рекой, как у маленького мальчика. Без остановки. Легче от них не становилось. Было душно, жгло горло, раздирало грудь. Он снова был совсем один. У него больше никого на свете не осталось, опять, никого... И он всё вспоминал, как она смотрела на него в последний раз, когда его выволакивали. И ему было бесконечно жаль её, маленькую, сухенькую, измученную. Звериная тоска и боль переполняла и разрывала.

А ещё ему нужно было как-то сказать об этом Тамаре и Вадиму. Сам он находился в тот момент в роддоме, а Тамара, видимо, только вернулась домой с ночной смены из больницы. Судя по пропущенным вызовам, с утра настойчиво пыталась дозвониться. И вот ему сообщили... Не просили больше подниматься в триста пятнадцатый кабинет, а велели ждать указаний, в каком морге забрать тело. И он обливался слезами, и никто не подошёл к нему и ничего не сказал. Шатаясь, он выкатился на улицу. Потом набрал номер Тамары и произнёс два слова:

– Оля умерла, – он знал, что нужно обойтись без предисловий. И послесловий. Он прервал связь. Он не понимал, можно ли и нужно ли ему идти теперь к ним. Он уважал их и наверно даже любил, но они были чужими. Родной была только Оля. Была…

Он долго сидел на улице, не чувствуя времени, погоды, окружающего. Потом понял, что возвращаться к её родителям всё равно надо, ведь похороны придётся организовывать втроём, поэтому ещё какие-то дни осталось пожить у них. А потом он уедет к себе в Подмосковье, собрав чемоданы. Вот единственное, что он подумал. И снова долго ни о чём не думал и даже, кажется, не плакал, а просто сидел, уткнувшись в пустоту.

А потом мысли пошли о своей безответственности, о том, что он был причиной беременности, что он допустил ошибку, что не следовало верить диагнозам, а нужно было всегда беречь Олю. Значит, он виноват в её смерти и никто другой. И уж конечно так будут думать Тамара с Вадимом.

И о том, что он ушёл, бросив её одну на растерзание врачей, он тоже думал, именно так и думал – «на растерзание». Они не хотели помочь, а безразлично выполняли свою работу, да ещё не считая нужным сдерживать эмоции. И этим равнодушным людям он её оставил, не настоял на своём присутствии, даже не смог попасть в реанимацию, пока она находилась ещё в коме – в этом тоже могла быть причина её смерти.

«На всё воля Божия» – мелькнула у него в голове первая за последние несколько часов мысль о Боге. Что же это за воля страшная такая? Зачем всё это? Он даже не позволил себе углубляться мысленно в эту тему, почувствовав внутри такой бурлёж, такой протест, ужас и взрыв ропота на эту самую святую волю, что сам себя испугался.

Когда-нибудь потом он это осмыслит, может быть, поймёт, ведь времени теперь будет много… Семьи больше нет, не о ком заботиться, некому отдавать свои часы, минуты, дни. Ребёнка он оставит Тамаре с Вадимом, какой из него отец? Ему и думать не хотелось про младенца, который «убил» Олю. Да они и не подпустят его к малышу, они возненавидят его из-за этой беременности.

«Да, времени теперь будет предостаточно», – горько усмехнулся он. Всё осталось ему, но ему одному ничего не нужно...

Захотелось вслед за Олей. «Она в раю», – подумал он ещё, но легче от этого не стало. Зачем, для кого, для чего теперь жить? Он и раньше, до Оли, жил бессмысленно, жалко, не зная кому и чему себя отдать. Неужели придётся вернуться в эту пустоту и тоску? Нет, невозможное что-то...

Он встал с лавочки и поплёлся к её родителям, на него чуть не налетел какой-то юноша с букетом. «Наверное, спешит к своей девушке, – подумал он. – Хорошо, когда есть, куда спешить. Вот только бы не потерять главного». Он снова чуть не разрыдался, на него накатывало волнами, нужно было хотя бы спрятаться, чтобы люди не видели. Не хочется показывать своё горе. А то скажут что-то глупое или пошлое…

***

Домой, то есть к ним домой, он притащился за полночь. Где-то ходил, шатался в пустоте, по детской привычке жался к деревьям, – к кому ещё жаться, как не к деревьям? Клёны и каштаны его понимали. Хотя бы они, но легче от этого тоже не было.

Он думал, что дома его запинают, заплюют, не захотят смотреть, говорить. Но Вадим молча обнял и дал разрыдаться на плече. Тамара закрылась в комнате, он её не видел.

Потом к ней ушел и Вадим, а он сидел один, в их бывшей спальне, боясь пошевелиться. Всё стало бывшим в один миг. Вот эта их бывшая кровать, откуда увозили Олю рожать, вот это их бывший мохнатый ковёр и камин, вот это их бывший шкаф, а ещё где-то в морге находится её бывшее тело. И так жестоко, глумливо в комнате стояла детская кроватка, роскошная новая коляска, пеленальный стол и множество детских вещичек, которые родители, видимо, разложили в ожидании.

Тут он впервые задумался о ребёнке. Он-то появился зачем? И он-то за что пострадал? И родился так страшно почему, для чего? Не хотелось представлять, как придётся забирать его из роддома, потом каким-то образом нянчить, заботиться... Нет, без Оли ему ничего не нужно. Никакого смысла в происходящем нет…

«Неужели этот ребёнок для того, чтобы Олю так зверски убить?! Неужели нельзя было, чтобы её машина сбила, не проще ли?! Нет, нет, не надо об этом думать!» – пытался запретить себе он, решив, что от таких мыслей сойдёт с ума, и ещё *там* чем-нибудь навредит Оле. Хотя чем он мог ей *теперь* навредить? «Нет, нет, – суеверно ужасался он, – уж понятно, что от меня ей одни беды, значит, я и сейчас могу сделать хуже! Не надо думать ни о чём!»

Но кроватка и детские вещи говорили сами за себя. И нахлынули воспоминания, как ещё позавчера они с Олей весело болтали про малыша, называли его сыном, ворковали с ним, чувствовали ножку через животик, радовались, когда он толкался. Вот это всё было зачем?! Зачем они мечтали о будущем, представляли, как он будет расти, как они будут его кормить, одевать, возить в коляске?! Оказывается, без Оли это не нужно ему, и младенец чужой – из-за него она умерла!

Он как-то сразу забыл, что малыш был с ними, живой и здоровый, все девять месяцев, что они уже привыкли к нему, почувствовали себя родителями, постоянно думали о нём, и главное, уже очень-очень его любили. «Зачем всё так ломать?!! – вылупился он на икону безумными глазами. – Что Оля плохого сделала? Захотела ребёнка? Захотела, чтобы ещё одна на земле душа была, дать кому-то тепло, любовь!»

И этому младенцу теперь всю жизнь без матери мучиться? Что *он* даст ему, никчёмный, однорукий? Он жил-то только для Оли. «Господи, да не может этого быть!!! – закричал, раздирая всё, внутренний голос. – Что за абсурд, сон, бред?! Так же не бывает!!!»

Он чувствовал себя взбесившимся псом, который с пеной из пасти бросается на стены, хоть и сидел по-прежнему неподвижно. Вскоре пространство стало смещаться, и перед глазами всё поплыло, как в знакомом детском кошмаре. Он давно уже не испытывал беспричинного приступа страха, когда не можешь зацепиться за мысль и сидишь в оцепенении, не осознавая ничего, кроме того, что необъяснимый тупой ужас пронизывает насквозь, и нет больше реальности, только бесконечная мутная пелена, из которой не вырваться. Он уже не помнил ни про Олю, ни про ребенка, ни про роды, ни про похороны. Это осталось в другом мире, будто никогда не существовало. Исчезло всё окружающее, и его тоже больше не было – только колотящий мерзкий страх.

Очнулся он оттого, что его тряс за плечо и поил водой Вадим.

***

Отпевание проходило на третий день в том же храме, где они венчались. И снова не мог он унять мысли о несправедливости, абсурдности происходящего: «Зачем было венчать, чтобы потом отпевать?»

На похороны собрались какие-то знакомые и дальние родственники Тамары, большей частью неизвестные ему люди, которые выражали соболезнования. Своим немногочисленным друзьям из университета он ничего рассказывать не стал. Было несколько Олиных подруг из училища. Он молча кивал и отстранялся, хотел остаться в одиночестве. После похорон все разъехались, поминальной трапезы не устраивали.

Тамара на похоронах держалась, но дома судорожно рыдала. Он не пытался ей помочь, самому хотелось орать в голос. За ребёнком в роддом поехали на пятый день. Взяли пакет детских вещей, предусмотрительно заготовленный Олей.

Когда ему дали свёрток в нарядном конверте, где едва было видно сморщенное личико малыша, он ничего не почувствовал. Равнодушно посмотрел на некрасиво торчащий шелушащийся носик и отдал младенца Тамаре, словно какую-то вещь. Она взяла и залилась беззвучными слезами. Вадим отвел её до машины.

***

По дороге он молчал, не понимал, как жить дальше. Вроде бы решил собрать чемоданы и уехать домой, но сразу это было сделать как-то странно, не по-человечески, невежливо… Ведь отец не должен так уезжать от ребенка, даже если чувствует к нему неприязнь. «Да и чем он виноват? – пытался он услышать голос собственной совести, поглядывая на сопящего младенца. – Разве тем, что хотел родиться».

Чемоданы он собирать даже не начал. По приезду малыш проснулся и раскричался, Тамара стала срочно учить его готовить молочную смесь, кормить из бутылочки. Следующим пунктом шла смена подгузников и подмывание. Одной рукой делать это было весьма непросто, а использовать протез с младенцем они посчитали опасным. Тем не менее, устраниться от дел не удалось. Поручения давались без остановки: «Не можешь подмывать, корми, переодевай, укладывай, пеленай, загружай стиралку, развешивай, взвешивай, вывози коляску, пой, качай, гуляй…» Он опомниться не успел, как на него навалилось столько различных дел, что он уже не успевал плакать и роптать.

Три дня прошли в непрерывной суете, на четвёртый он с облегчением сбежал на работу. Тамара вскоре после известия о беременности Оли устроила его через своих знакомых в библиотеку. Занятость была полная, и теперь он облегчённо вздохнул, поняв, что крутиться среди книг и посетителей много проще, нежели целый день заниматься младенцем.

Но вздох облегчения оказался преждевременным. Когда он возвращался домой, измотанная Тамара передавала малыша на его попечение, говоря, что очень устала. Вечерами они попеременно или вместе с Вадимом выполняли отцовские обязанности. Кроватка стояла в его спальне, и приходилось вставать ночью, чтобы покормить или «поменять» малыша. Недосыпание стало привычным состоянием. Вскоре он понял, что мысль уехать с чемоданами была наивной.

Без его помощи, как бы неуклюжа и неумела она ни была, обойтись не могли. Малыш плохо спал, путал день и ночь, вёл себя беспокойно, постоянно просился на руки, очевидно, чувствуя отсутствие матери. Они втроём вертелись вокруг, он стал центром вселенной и единственным смыслом их жизни.

Назвали мальчика Ионой. Это было Олино решение – не загадывать заранее, а дать имя того святого, на день памяти которого придётся рождение. Малыш появился утром 5-го октября.

Когда Тамара услышала имя, то поджала губы и сказала, что ей не нравится.

– Это у Чехова извозчик, который с лошадью разговаривал, – презрительно вспомнила она рассказ. Однако на его объяснения, что так хотела Оля, устало кивнула. – Знаю, знаю, называй ты, как хочешь.

Тамара стала резкой, непрерывно командовала, упрекала, говорила, что он всё делает не так, как нужно. Похоже, после смерти дочери решила с ним не церемониться. Он не обижался, понимал, что ей тяжело, лишним в доме себя не чувствовал, – они и втроём-то едва справлялись.

***

Лишь спустя месяц он стал ощущать что-то похожее на теплоту. Это нельзя было назвать любовью, скорее, грустной жалостью к беспомощному постоянно кричащему существу, которое чувствовало, что ему чего-то остро не хватает, но не понимало чего. Младенец был трогательный, умилительный, а главное, очень в нём нуждался… Он теперь всегда помнил, что кому-то нужен и, конечно, передумал уезжать с чемоданами.

И только когда Иона стал его узнавать, улыбаться, гулить, то есть спустя почти четыре месяца, он наконец понял, что любит своего сына. Он уже скучал по нему на работе, жадно смотрел фотографии и видео, торопился домой, чтобы поскорее взять его на руки, звонил и писал Тамаре в течение дня, чтобы узнать, как кушал, спал, как ведёт себя. Лишь тогда постепенно стало приходить понимание, что малыш – это Божий дар, чудо, посланное в утешение и радость; что он делает его по-настоящему счастливым, добрым, необходимым.

Конечно, он часто представлял, как была бы счастлива Оля, как возилась бы с ним день и ночь, кормила грудью, воспитывала, на седьмом небе пребывала от каждого его взгляда, движения, смеха. Как переживала бы и делала вселенскую трагедию из-за каждого крика, коликов, покраснения кожи. Как учила бы его, разговаривала, улыбалась, ласкала. Но… этого никогда не будет. И он, вытирая очередную слезу, гнал подобные мысли прочь, твердя себе: «Значит, так надо, значит, так лучше и для неё, и для всех нас».

5

Сегодня Ионе исполнялось два года. Все остались дома, Тамара пекла торт, Вадим уже собирал и запускал игрушечную железную дорогу к великому восторгу малыша.

Он радостно крутился вокруг них троих, исполняя поручения, – то бежал в магазин за глазурью, то вытирал пыль, то отвечал на телефонные звонки. После дневного сна планировался приём гостей. Тамара собирала несколько семей знакомых с детьми от года до четырёх. Решили отмечать день рождения традиционно и шумно – устроить веселье с танцами, играми, мыльными пузырями, воздушными шариками, финальным задуванием свечек.

Он бодро ответил на очередной телефонный звонок с неизвестного номера, уверенный, что это спешит поздравить кто-то из знакомых. Но вежливый мужской голос назвался адвокатом и сообщил, что связался с ним по делу Елеазара. Тут он вздрогнул.

***

Елеазаром звали покойного деда Даши. Он, кстати, долго не знал его имени, а, когда Даша сказала, решил сначала, что она шутит, уж очень редкое и необычное оно было. Даже после этого в разговоре он никак его не называл, говорил нейтрально: «знаете», «понимаете», «извините». Он вообще людей по именам называл редко, только самых близких.

Есть в имени человека что-то сокровенное, личное, и просто лепить в кого ни попадя «Миша», «Лена», «Армен», он не мог. Нужно было что-то похожее на любовь чувствовать, чтобы по имени обращаться. А любовь он щедро не раздаривал направо и налево, поскольку запасов её не имел. Даже к священникам обращался «батюшка» и всё. Оля в своё время открыла глаза на его невоспитанность, раскритиковала невежливую позицию, пыталась заставить пересмотреть столь маргинальные взгляды. Но это не подействовало, он так и остался дикарём, общался отстранённо и сдержанно.

Что касается дела покойного Дашиного дедушки, он не имел о нём представления. Ходили в доме для престарелых тёмные слухи о том, что его убили, что мать Елисея, которая якобы сделалась незадолго до того его женой, отравила его таблетками и завладела несметными сокровищами по наследству. Его эта история всегда тревожила, поскольку у Даши узнать не удалось ничего. Верил он в лучшее, сплетни жёстко пресёк, но так и не выяснил, где погребён старик. Богослов сообщил, что в Финляндии, а на вопрос, где захороненного искать, ответил «сам найдётся», и сколько он ни пытался добиться подробностей, ничего не получилось. Позже он махнул рукой, решив, что достаточно будет молитв, а на могилу ехать необязательно.

И вот, похоже, что в день рождения Ионы старик, как выразился Богослов, «нашёлся сам», а он сейчас изо всех сил вникал в то, что говорил невесть откуда взявшийся адвокат.

– Он ещё давным-давно передал вам письмо, – вещал низкий голос, – но я тогда вас не разыскал. Он не мог вспомнить ваш адрес, не знал фамилии. Родственники принципиально против вашего общения. А мне, уж простите, совсем не до того. Недавно я нечаянно обнаружил у себя этот конверт, он у меня забытый года два провалялся. Решил довести дело до конца. В итоге я всё же вышел на вашу подмосковную квартиру, а там жильцы... Только от них получил ваш телефон! Так что залежалось это несчастное письмо, давайте встретимся, чтобы я наконец его отдал!

Он растерялся. С момента смерти старика прошло более пяти лет, поэтому тут явно что-то не сходилось. Не покойник же писал. Когда он деликатно сообщил, что с того света писем не ожидает, адвокат только вздохнул:

– Так я и думал, вы ничего не знаете. Родственники всем говорили, что он умер, но тут другое. Он жив!

Собственно, он не особенно удивился. В «воскрешении» старика чуда не было, он только и делал, что преподносил всем сюрпризы, поэтому что ж с того, что спустя несколько лет он подобно фениксу возродился и наверняка подготовил очередной «спектакль», который потрясет всё семейство? Он даже улыбнулся и обрадовался, впрочем, ровно до того момента, как вник в то, что продолжал излагать законоблюститель.

– Теперь он в ростовской исправительной колонии, и ему очень нужна ваша поддержка, – вернуло его на землю заявление адвоката.

«Чего, чего, чего?» – его как кипятком ошпарило, он ни бельмеса не понял, а тут ещё заверещал Иона, и пришлось выскочить на лестничную клетку. Но беседа длилась недолго, адвокат заявил, что это не телефонный разговор, и поскольку письмо передать всё равно нужно, назначил встречу на завтра в конторе.

Голова пошла кругом, сердце заколотилось. Он предварительно выяснил из разговора лишь то, что последние пять лет старик, не то вернувшись из Финляндии, не то даже не доехав до неё, провёл по тюрьмам. Что натворил, как, почему, – не объяснили. Завершив разговор, он даже заподозрил, что это какой-нибудь мошенник, очередная обманная схема, где с него будут требовать денег… Но это были только беспочвенные предположения, а нутром он чуял, что наступает развязка того странного отъезда Дашиного деда с матерью Елисея, которой он с

любопытством втайне ждал, пока не произошли в его жизни глобальные изменения в виде беременности Оли, её смерти и появления маленького Ионы.

***

Праздник отошёл на второй план. Говорить с родителями он не стал, чтобы не пугать и не портить настроение. Решил действовать сам, но внутри потряхивало, было боязно. Вспомнился собственный опыт попадания в «обезьянник», когда его без документов нашли в лесу и в чём-то заподозрили. Проведя три часа в камере, он чуть не сошёл с ума от ужаса, однако именно там, как заключил он позже, начался его путь к Богу – с клочка страницы из Ветхого Завета, – и «вытащил» его пророк Захария.

Он ни за что не согласился бы повторить этот опыт, ибо паника клаустрофоба, не знающего, когда его выпустят, равносильна погружению в ад. Представился тот самый беспросветный колотящий сверхъестественный, космический запредельный страх, вводящий в некий транс, из которого практически невозможно самостоятельно вынырнуть. «Будто падаешь в высасывающую темноту и пропасть, где разом ощущаешь вечную муку и беспросветность, – объяснял кому-то невидимому он. – Но вот если бы из этой страшной силы сделать что-то полезное, получился бы шедевр. Чудовищная мрачная трагическая красота, как в «Последнем дне Помпеи» или голый тошнотный торжествующий пир смерти как в «Апофеозе войны»…»

Он часто испытывал это состояние в детдоме, из-за чего считался психом, и другие брезговали иметь с ним дело. Так и остался изгоем, однако не избежал детдомовской иерархии, где слабые подчиняются сильным. С младенчества привык, что у него забирают еду, но вместо того, чтобы делать запасы, как другие забитые дети, потерял к ней интерес, ел мало, вяло и неохотно. Долгое время был худым, а в подростковом возрасте, вдруг оголодав, стал доедать за другими и даже обзавёлся животиком, который позже ещё увеличился, то ли из-за пива, то ли из-за малоподвижного образа жизни.

День рождения немного отвлёк от страшных жизненных воспоминаний и чудовищных предположений на тему того, что же случилось со стариком. Он изображал радость, накрывал стол, встречал гостей, пускал из пистолета мыльные пузыри, развлекая малышей, устраивал танцы, в общем, пытался веселиться. Но Тамара быстро заметила, что с ним что-то не так, поскольку действовал он несобранно и рассеянно. Пришлось сослаться на дурное самочувствие.

Ворочаясь ночью в постели, он вспоминал жуткий опыт в камере и не мог представить, чтобы тщедушный старик провёл там несколько лет. Он думал, вглядываясь в тени на потолке, о том что, может быть, совсем не хочет знать того, что случилось. Мысли мелькали безобразные: «А вдруг он её убил?» – ведь куда исчезла мать Елисея, никто не сказал. «Впрочем, нет, она же была на венчании Даши и Богослова, стало быть, не убивал. А вдруг он её покалечил или обесчестил? Нет, бред, он еле на ногах держится. Так куда же она делась? И что он наделал, чтобы так долго находиться в тюрьме? Колония, это значит, его осудили, значит, уже отбывает, целых пять лет в заключении, как же так долго?..»

Под утро ему приснилось, что он не может снять протез, тянет всем телом, прижав ногой к полу, с силой отчаянно стучит по столу, об стену, но что-то заклинило, и никак не получается освободиться от искусственной руки. Открыл глаза с неприятным ощущением усталости и беспомощности.

Они с Олей со дня свадьбы откладывали деньги на бионический протез, который позволял двигать искусственными пальцами. Он стоил около миллиона, а экспертизой ему давно был выписан косметический. Он даже получил его бесплатно, но в быту приставная резиновая рука была настолько бесполезна, что лишь раздражала, через некоторое время её забросили на антресоль. Второй, более современный механический протез позволял делать простейшие действия захвата кистью, но он решил не привыкать, пользовался редко, в итоге настолько наловчился жить с одной рукой, что пренебрёг и им.

Но с малышом вторая рука была необходима, поэтому ещё во время Олиной беременности были потрачены семейные сбережения и с помощью родителей куплена таки бионическая рука. Напористая Тамара заставила его добиться получения сертификата, в итоге

заплатить осталось полцены. Ему всё равно было неловко принимать дорогие подарки, они с Олей отдавали родителям долг из своих зарплат. Привыкать к протезу тоже оказалось непросто, но вторую руку он худо-бедно заменял. На самом деле, не хватало ещё третьей и четвёртой, – без сторонней помощи с маленьким ребёнком приходилось тяжко.

***

Утром, с презрением проигнорировав сон, он надел этот самый протез для приличия. (Давно заметил, что на окружающих чёрная кисть, в отличие от пустого рукава, действует гипнотически, вызывая испуганное почтение). Отпросившись с работы, отправился в контору на другой конец Москвы.

Там пришлось ждать около часа, пока не закончится приём посетителя, хотя он явился ко времени. Наконец, «изволили пригласить». Адвокатом оказался довольно молодой ещё, хорошо одетый кудрявый артистичный и несколько нервозный тип. Впрочем, доверие внушал, на него же смотрел как на бедного родственника, от которого необходимо быстро избавиться. Похоже, с первого взгляда адвокат определил, что толку или помощи старику от него ждать бесполезно, поэтому поскорее вручил письмо:

– Прочитаете, узнаете подробнее. Процесс был с апелляцией, но срок не уменьшили. Хоть письма пишите ему, а то его все забыли и забросили. А сейчас мне некогда, извините.

На его расспросы адвокат отмахивался, несколько раз повторил, что консультация стоит денег, без обиняков объявил, что бесплатно он тратить время на разъяснения не собирается. Хотя сам же вчера по телефону настаивал на встрече. В итоге удалось получить лишь поверхностные и отрывочные сведения, которые не складывались в единую картину. Как он понял, с юристами все отношения у старика уже давно прекращены, то ли поскольку больше платить нечем, то ли потому что после апелляции сочли кассацию бессмысленной, а скорее, всё вместе. Письмо было последним поручением старика года два назад, но завалялось.

– А вы уверены, что Елеазар ещё жив? – бестолково топтался в кабинете он.

– Живёхонек, – уверил адвокат. – Недавно мне позвонил с предложением поработать бесплатно на некоего «представителя элитарного общества». Умом двинулся. Ой, извините, вам он, кажется, дальний родственник? Нет? – Он замотал головой. – А, ну неважно. Словом, я тут же вспомнил про это несчастное письмо, вот, возьмите, и прошу прощения… – ему недвусмысленно указали на дверь.

Он взял конверт, записал на всякий случай номер ростовской колонии, а так же номера статей, по которым осудили старика. Из важного он прояснил, что мать Елисея никак с преступлением не связана. А что именно случилось, рассказывать ему никто не собирался. Дальше адвокат говорить не стал, так как к нему явилась пожилая расфуфыренная посетительница. Его быстренько выгнали «взашей», со словами «если что, позвоните», сказанными таким тоном, что он решил – звонить уже точно никогда не будет.

***

Нужно было уединиться, чтобы хоть что-то понять, прочесть письмо, а главное – собраться с мыслями. Он давно заметил, что в Москве сделать это практически невозможно. Тут ты всегда на виду, везде люди, разговоры, суета. Даже в тихом парке или во дворе на скамеечке нет ощущения уединения, то и дело кто-то проходит мимо. «Оказывается, самое благодатное место для раздумий – это полупустая электричка, когда долго едешь домой, – открыл для себя он спустя некоторое время жизни в столице. – А тут долго размышлять почему-то не положено, нужно действовать, что-то мгновенно решать, с кем-то договариваться, куда-то бежать…»

В ресторанах было немноголюдно, но он стеснялся туда и нос совать, вот Оля в отличие от него не страдала подобными комплексами – спокойно могла зайти попить чаю в самое дорогое место, отдав за одну чашку столько, сколько стоил полноценный обед в приходской трапезной. Хорошо и тихо бывало в храмах после богослужений, но едва ли следовало идти в церковь, чтобы читать в ней тюремное письмо, вникать в суть статей и обвинений.

Дома у родителей покоя тоже не существовало. Когда Оля была жива, уединиться получалось разве что в ванной, а с появлением Ионы о тишине вообще пришлось забыть. В

итоге он ничего лучше не придумал, как позвонить жильцам и сообщить, что нагрянет сейчас с визитом «забрать кое-что». Как он и ожидал, они допоздна работали, поэтому можно было рассчитывать на пару безмолвных часов. Тамаре он наврал, что у жильцов заклинило замок, нужно, дескать, вызывать слесаря и приезжать «спасать», – в общем, всем наплёл что-то, сел наконец в электричку и стал погружаться в суть случившегося.

Погрузиться удавалось с трудом. По номеру первой статьи, указанной адвокатом, выходило, что старик осуществил «развратные действия в отношении несовершеннолетних, не достигших 14 лет», за что его должны были лишить свободы на срок от 3 до 8 лет. Вторая статья означала уже и вовсе невероятное, а именно, что старик совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении опять же лица, не достигшего 14-летнего возраста, и тут уже значился срок от 12 до 20 лет. На второй статье он запнулся. Если с первой ещё как-то было понятно, то по второй получалось ни больше ни меньше, что старик изнасиловал ребёнка. Тут ему нехорошо стало, захотелось письмо выбросить, не читая. Он верил, что дед способен на какую-нибудь пакость, но чтобы… такого даже представить невозможно.

Он никогда не спрашивал, сколько лет старику. По виду можно было дать и восемьдесят. «Ну, ладно, допустим, семьдесят. Всё равно не тот возраст, чтобы… А если ещё меньше? Ну, самое меньшее – за шестьдесят», – прикидывал он, и в последнее уже верилось с трудом. Он часто видел его обессиленным, еле шевелящим узким рыбьим ртом, у него была вставная челюсть, тщедушные тонкие руки, тощие ноги… Елеазар жаловался на боль суставов, низкое давление, головокружения. Впрочем, часто убегал куда-то, носился взмыленный, а когда начинал изводить всех своими едкостями, окружающие поражались, откуда в этом слабом существе столько желчи.

Но чтобы немощный дедуля напал на ребёнка, совершил «насильственные сексуальные действия», нет, исключено. Он мысленно плевался, поскольку даже думать о таком было противно и подло. Старик, вероятно, способен на многое, но подобную гадость он, происходивший из какого-то старинного графского рода, обладавший сверхъестественной гордостью, сделать не мог… «Ну, если только в воображении, – допустил он. – Если только в голове были у него подобные развратные фантазии. Но срок за это не дают. Однако вот же…»

Конверт решил вскрыть дома, его что-то напрягало и отпугивало, хотя и мучило любопытство. В дороге он елозил пальцем по смартфону, изучал статьи уголовного кодекса и наказание за них предусмотренное. Пытался представить, что произошло и что дальше будет.

Выходило, что срок дали огромный, который старик, конечно, не протянет. А он-то думал, что пять лет – это невообразимо много. Если брать в расчёт вторую статью, то минимум получалось двенадцать, которые вынести полумёртвому Елеазару немыслимо. Странно, что он вообще выдержал целых пять лет за решёткой и ещё оставался жив. Впрочем, старик привык к ограничениям – кроме дорогих душистых сигар, он деньги почти ни на что не тратил, питался дешёвыми бесхитростными продуктами, никогда не жаловался на однообразную пресную еду в «казённом доме», где раньше жил.

Он давно привык, что реальность периодически бьёт его обухом по голове. «Значит, – убеждал он себя, – нужно допустить, что вот так тоже бывает». Что обожавший Дашу старик, у которого еле теплилась душа в сухом изнеможенном теле, который умом не уступал великому Богослову, а манией величия и горделивостью превосходил даже его, который юродствовал и мучил всех таинственностью, что вот это самый загадочный помпезный «прозорливец», отшельник и аскет, который, как он мечтал, отправился в паломничество за очищением души в Новый Валаам, оказался мерзким преступником, который надругался над ребёнком.

Поверить в это он не мог, но кого, собственно, интересует, во что он верит? В жизни уже случилось много трагического или странного, во что поверить было сложно. Искалеченное детство, потеря руки, вызывающая «инвалидная» свадьба, потом смерть Оли… Несчастий произошло предостаточно, невероятного тоже. И это – лишь очередное потрясение. Полуживой дедушка, в котором всегда было что-то притягательное, которого он побаивался, почитал и

даже немного любил, а больше всего неистово жалел, теперь на глазах превращался в гнусное похабное чудовище, и приходилось это принимать…

6

Наконец он добрался до дома. Хотя в квартире появилось много чужих вещей и даже новый комод с креслом, а его шкаф и стол арендаторы переставили по-своему, всё равно окутало знакомым сонным теплом и тихим одиночеством, в котором он прожил, как ему казалось, целую вечность, пока не встретил Олю и не переехал в её семью.

Впрочем, предаваться ностальгии было некогда. Нетерпение жгло, единственное, что он сделал – сбросил куртку, ботинки и нажал кнопку электрочайника. Дальше с помощью зубов разорвал конверт, и на него набросились затейливые буквы старческого почерка, которые прыгали из стороны в сторону, словно норовя прицелиться и ужалить в самый неожиданный момент.

«Писать больше некому, – сухо начиналось послание. – Она (имелась в виду Даша) и её богословнутый супруг меня предали. Больше «не знают» меня, не пишут, забыли, отреклись, как от вселенского зла. Если и ты отвернёшься, не останется почти никого. Елисей бы не отвернулся, даже если бы всё было правдой. Но я преступлений не совершал. Я всего лишь делал кукол.

Удивлён? Да, кукол: больших, иногда в человеческий рост, иногда мелких марионеток, чаще средних, тряпичных. Это было хобби и мой небольшой заработок. Мастерская, где я работал, была у одного армяшки, ему я отдавал часть денег. Он подкидывал заказы, а я сбегал из дома старых шизофреников и ехал к нему в ателье. Однажды он сам заказал кукол для своей дочери. Ей 10 лет, двинулась на героях из японских аниме, захотела таких же.

До того я видел её мельком, а тут она стала приходить в мастерскую, рассказывала, показывала персонажей на телефоне, мы подружились. Когда куклы были готовы, оплаты не поступило, – оказалось, её отец в долгах, а он ведь и мне задолжал прилично за более ранние работы, – всё забрал себе. Девчонке кукол я, конечно, отдал, а ему со злости ляпнул, что подам в суд, сумма была немаленькая, я рассчитывал год на неё жить». (Тут он слегка улыбнулся: при аскетических привычках старика даже годовая сумма требовалась скромная, если не считать дорогих сигар).

«Армяшка поверил и испугался, – продолжалось письмо. – Я знал, что он нечист на руку, но шантажировать его не собирался. А он обоссался и решил от меня избавиться. И сам составил иск в суд, – якобы я домогался его дочки. Малолетка всё подтвердила. Мне дали 15 лет. Должны были дать максимум 8. Но они приравняли домогательства, которые мне приписали, к изнасилованию. Прокурор настоял, – дескать, ещё бы немного, и всё бы случилось.

Уверен, что кое-кто, знающий о моём происхождении, сильно позавидовал и приложил руку. И таким образом от меня решили избавиться. Дело, конечно, в этом, армяшка с дочерью – лишь удобный предлог. Не удивлюсь, если кто-нибудь теперь завладеет моим титулом. Он много значит, в среде влиятельных людей! Ты несведущий, а есть сильные мира сего, которые готовы любой ценой присвоить себе благородное происхождение и родство, пусть даже к нему не причитается ничего материального.

Почти три года отсидел в СИЗО, пока шли суды. Апелляция не дала ничего, теперь вот перебросили в колонию. Елисеева мать дала мне денег на адвоката, кажется, заняла у кого-то, не знаю. Поддерживала меня первое время. Теперь и от неё письма очень редкие. Нужны деньги. Пришли, пожалуйста, хоть сколько-нибудь. Расскажи, как ты и твоя семья. Больше нет у меня никого. Думаю про суицид. Елеазар».

Он перечитал несколько раз и почувствовал тотальное мутное опустошение. Будто душу копьём пронзили, вынули и выбросили. Он даже не понял, поверил написанному или нет. Скорее, да, но как-то отчасти. Возможно, потому что уже убедил себя по дороге, что бывает всё, и что старик мог оказаться преступником. Но мыслей не было, вообще ничего не было. «Если что-то сильно гложет, чашка чая вам поможет», – вспомнил он шутливую фразу,

выплывшую неизвестно откуда, и пошёл заваривать пакетик «Майского», позаимствованный у арендаторов.

Пока чай остывал, он бессмысленно жевал шоколадную конфету, которые уже несколько лет не ел, то по причине постов, то из-за перемены вкуса. Кажется, что-то близкое к отвращению чувствовал от сладости и вязкости, но сейчас это было безразлично. Наконец, собрался с мыслями и понял, что всё-таки не может до конца поверить посланию, как, впрочем, и тому, что старик совращал ребёнка.

«Что-то тут не сходится, – недоумевал он. – Что-то он не договаривает. С чего приставания приравняли изнасилованию? Да ещё когда речь идет о слабом старике, который на ногах еле держится? Почему дали пятнадцать лет, где максимум должно было быть восемь? Какой дурак бы стал рисковать с подобным ложным обвинением на тщедушного дедушку из-за долгов? Это ведь себе дороже обойдётся, если раскроется. И неужели тот армянин мог его угроз испугаться, это же нелепо?..»

Он понял, что толком ничего не знал про старика. Например, не знал того, что тот работал у кого-то в мастерской и делал кукол. Это стало неожиданным открытием. Если бы всё было так, как написано в письме, Даша с Богословом не отвернулись бы от него.

В его прежнем представлении дедушка коротал дни в доме для престарелых, забытый и заброшенный, его целью было унижать и поедом есть Дашу и всех окружающих, но если внучку он любил, то остальных, скорее, ненавидел или презирал. А вот, выясняется, что у него был какой-то свой мир кукол, почему ему об этом никогда не рассказывали? О Финляндии ни слова вообще, чего они туда отправились с Елисеевой матерью? Было ли это как-то связано с судебным делом, которое как раз началось примерно в то время, если он правильно посчитал? Неизвестно. Настолько мутная история, что придётся трясти Дашу, Богослова, возможно, адвоката, а то и вовсе ехать в тюрьму, хотя нет, кто туда пустит?…

А что за странные безумные слова в конце письма о том, что его решили упрятать в тюрьму, «избавиться» от него с целью присвоить «благородное происхождение»? «Кому это может быть нужно в наше время и зачем? – недоумевал он. – Ну да, является он дальним потомком европейского именитого рода, так это когда было? Неужели всерьёз кому-то нужна чужая аристократическая династия, когда к ней не прилагается старинных наследных замков или сундуков с кладами?» По словам Елеазара выходило, что оговор совершили через армянина ради незаконного присвоения древней фамилии и причастности к роду! Это напоминало бред сумасшедшего. Впрочем, может, дед и двинулся умом – всё допустимо при таких обстоятельствах.

Более же всего его напугало слово «суицид», ведь душа обречена на вечные муки, если человек покончит с собой… Он не видел нательного крестика у старика, подозревал, что тот атеист. Впрочем, неважно, никто не может самостоятельно решать, когда умирать. «Нужно остановить в первую очередь это, поддержать, а не разбираться, что там у него за дело, – решил он. – Может, старик в одном шаге от самоубийства, и это уже нельзя будет исправить».

Так он наконец нащупал почву под ногами. Вот, наверное, для чего ему вручили это письмо, а о другом и думать не надо. Срочно писать ответ, пусть прошло два года, ничего, – лучше поздно, чем никогда. «Просто найти тёплые слова, чтобы почувствовал, что он не один. Успокоить, пожалеть, про Бога напомнить», – шептал он, хлопая мохнатыми ресницами, дул на остывший чай и механически мешал его ложкой. Когда сделал несколько глотков, стало легче. «Работает правило», – усмехнулся он.

В голове уже начали мелькать мысли о том, что ответить, какие слова написать. Только как передать, не через адвоката же? Отправить в конверте? Оказалось, проще: всезнающий гугл направил на электронный сервис, где можно вести переписку с заключёнными. Всего-то и нужно, что зарегистрироваться и оплачивать на сайте, – элементарно. Он мгновенно нашёл в списке указанную колонию ростовской области, создал личный кабинет. Вот только застрял на данных старика – не знал ни фамилии, ни отчества, ни года рождения. «Фамилия должна быть Дашина, – догадался он. – Остальное придётся спрашивать».

Он решил немедленно поговорить с Дашей, времени на раздумья и сообщения не было. Поэтому тут же позвонил ей на Кипр, холодея от ужаса и не зная, как начать диалог о «воскресшем» мертвеце. Но всё получилось:

– Привет, Даша! – и когда она удивлённо поздоровалась, без обиняков набросился. – Скажи мне, пожалуйста, фамилию, отчество и год рождения твоего дедушки!

Даша помолчала.

– Опять ты не в свое дело лезешь, – со злостью шепнула она, видимо, поняв всё без объяснений. – Да пожалуйста, как хочешь! Попадёшь в грязь какую-нибудь, мало у тебя в жизни проблем?

Он молча ждал. Даша после паузы назвала данные деда и, ничего не добавив, завершила вызов. Он хотел ещё Богослову передать привет, но не успел. Тут ему позвонила Тамара, и запищал в трубку Иона, требуя немедленно вернуться. Срочно нужно было собираться в обратный путь – оказалось, он провёл дома уже около трёх часов, б*о*льшую часть – в оцепенении после прочитанного.

Он понял, что увяз в долгом жутком новом деле, которое, вероятно, теперь окончательно отнимет спокойствие и веру в реальность происходящего. «Очередная порция абсурда», – думал он, натягивая ботинки и готовясь трусцой бежать на ближайшую электричку, поскольку после намечался длительный перерыв.

***

Тюремная переписка со стариком началась в тот же вечер. Разумеется, Тамаре с Вадимом он про случившееся не сказал ни слова, зато сочинил красочную историю о том, как приходил мастер вскрывать заклинившую дверь, и как потом меняли замок. Ночью, когда все спали, он отправил первое письмо, где были слова поддержки, сострадания, удивление и комплименты по поводу того, что Елеазар, оказывается, занимался творчеством и делал кукол, – он следовал золотому правилу, что с человеком нужно подружиться, только тогда другие его слова могут восприниматься хоть сколько-нибудь серьёзно.

Он, действительно, сострадал старику, хотя многое в истории и предъявленном обвинении, тем более, после короткого разговора с Дашей, его продолжало смущать. В его невиновность он всё же поверил, сложно было представить дряхлого дедушку домогающимся малолетней школьницы, – присущий ему ореол загадочности и мистики не вязался с примитивной грязной гадостью.

Писал, что сильно переживает из-за его слов про суицид. «Вы же верующий человек, – провоцировал он деда ответить на вопрос, который давно его мучил. – Вы знаете, что самоубийство – смертный грех, который погубит душу. Хотите, я организую вам встречу со священником, который найдёт нужные и добрые слова утешения, которые я из-за ограниченности и греховности своей не нахожу?» Пригласить батюшку в колонию было делом реальным, требовалось лишь желание Елеазара и специальное прошение, – это он узнал из тюремного веб-форума на обратном пути. С письмом перевёл старику немного денег и бланки для ответа. После этого стало легче на душе, со следующего утра он снова благополучно переключился на малыша, семью, работу.

Тамара странно на него смотрела, будто что-то чувствовала, но ничего не говорила, только продолжала делать едкие замечания. Впрочем, справедливые, – он так и оставался неуклюжим, плохо справлялся одной рукой, нервничал, боясь доставить дискомфорт малышу. Под её взглядами волновался, становился ещё более неловким, опасался уронить Ионку, часто что-то разливал, задевал, опрокидывал, от этого было стыдно. Его не жалели и не подбадривали, в лучшем случае поджимали губы, чаще высказывались прямо, упрекая и ругая, иногда смеялись, называя слоном в посудной лавке.

Отношения с родителями становились напряжёнными, так как уставали все. Он старался сдерживаться, чтобы не волновать ребёнка, который всё чувствовал и начинал плакать при каждой их мелкой стычке, будто пытался перевести огонь на себя.

Без Ионы он жизнь теперь не представлял. Торопился после работы, чтобы как можно больше минут провести с малышом, хотя бы просто посидеть рядом, когда тот спит. Часто на

него с порога накидывались родители с перечнем дел, где требовалась помощь. Это было тяжело, но он силился не возражать. Смолчать, впрочем, удавалось не всегда...

Спасением являлось бегство на прогулку – под предлогом хорошей погоды он просил их отпустить. Вадим или Тамара вывозили на лифте коляску, и при помощи протеза ему неплохо удавалось управляться. Сложнее было контролировать Ионку на площадке, куда тот рвался из «кареты» побегать и пошалить. Он, как бдительный отец, не отставал ни на шаг, поддерживал, увещевал не баловаться, старался усадить в песочнице с игрушками, а тот только и норовил удрать, приходилось мчаться вдогонку. Малыш визжал от удовольствия и хохотал, он тоже смеялся, – так они весело проводили время, наслаждаясь компанией друг друга.

***

Ответ из тюрьмы пришёл через десять дней. Непривычно было в век электронной почты видеть отсканированный рукописный текст в витиеватой размашистой манере с мощным росчерком в конце. То, что он прочитал, его удивило и смутило. Ни слова благодарности, ни радости от того, что письмо наконец получено и появилась обратная связь. Никаких рассказов о пережитом, просьб, объяснений…

«Ты мне завидуешь! – писал старик, не соизволив даже поздороваться. – Ты уничижённо, рабски завидуешь, и завидовал всегда, не только из-за Дашки, а потому что никогда ничего подобного не имел и не видел в жизни из того, что имел и видел я. Безграничную свободу удовольствия и шик, власть и силу, покорную красоту и энергию наслаждения, – ты обо мне не знаешь! Но ты умеешь глубоко тонко чувствовать, и сам того не подозревая, на подсознательном уровне мечтаешь дотянуться до моей высоты, хоть однажды примерить аристократический блеск, потому что ты до крайности тщеславен. Оставь свои проповеди! То, во что я верю, это то, что я знаю, а знаю я намного больше, чем любой из вас. Хочешь понять, в чём между нами главное отличие? Я всегда жил без предрассудков, таких как религия, вера или любовь. И у меня всегда хватало на это мужества».

Вот и всё, коротко, агрессивно, холодно и, как всегда, загадочно. Худшие его предположения сбылись – старик был атеистом, опыта церковного не имел. Он подозревал это и раньше, но так много было в Елеазаре таинственности и скрытности, что за ней могла прятаться и самая истовая религиозность. Слова про власть, наслаждения и шик подтверждали ещё более печальные опасения, – из-за пережитого горя старик, проведший основную часть жизни в скромной калужской деревне, тронулся умом.

Про зависть читать было горестно. Он всегда искренне жалел Дашиного деда, каким бы едким тот ни был и как бы эпатажно себя ни вёл. Но свихнувшийся бедняга решил, что ему завидуют!

А вот про тщеславие кольнуло, тут старик был прав. Он давно обнаружил, что действительно, является до крайности тщеславным… Возможно, оттого что много унижений натерпелся в детстве.

В детдоме его презирали, брезговали трогать, – он был в низшей «касте». Впрочем, это спасло от домогательств и насилия, – бывали случаи нападения старших детдомовцев на младших любого пола. Девочек после четырнадцати лет возили на аборты, даже не скрывали, многим это казалось естественным, сами они равнодушно к этому относились, а некоторые рано начинали «работать», оказывая интимные услуги на улице. Он в их дела, конечно, не вникал.

Ему посчастливилось избежать этого ада, так как он был противен всем из-за панических атак, постоянных насморков, слёз, неряшливости, рассеянности, зажатости – его считали психом, обзывали «дебилоидом». Другие дети не касались его руками, а только ногами, могли, например, столкнуть ногой с кровати во сне, приказать спать на полу, просто чтобы поиздеваться. Жаловаться было бесполезно, за это грозила месть в виде избиений, а воспитатели халатно игнорировали внутреннюю иерархию. Он из-за этого старался держаться незаметно, ни с кем не разговаривал, только читал случайно попадавшиеся книги, забившись за угол шкафа, или сидел молча, глядя в пустоту и мечтая. В отличие от большинства, он не мог забыть о существовании чувств и эмоций, хоть они и притупились за ненадобностью и

опасностью существования в подобных условиях, так как нытиков ненавидели и унижали, но не исчезли совсем.

Потом он вырос, получил традиционный «троечный» аттестат, ему дали квартиру от государства и отпустили. Тогда всё стало лучше. Появилась женщина старше его, которая руководила, точнее, неслабо пинала, что помогало адаптироваться, выжить в мире, которого он совсем ещё не знал. Он был ей благодарен, сам бы погиб – стал бы бездомным и замёрз зимой в сугробе.

А потом, всё ещё раз изменилось, начались чудеса, удивительные встречи, случилось прозрение, вера в Бога, Махерас, – быстро пролистал он страницы своей жизни. – Потом… Потом не стало руки. Потом Покровский монастырь. Потом Оля. Тихоновский универ. Смерть Оли. Ребёнок. И вот где он сейчас. Он уже совсем другой, совсем. И, да, он сделался тщеславным. Жутко тщеславным. Ему теперь очень важно быть наравне с другими людьми. Из затравленного никчёмного детдомовца-калеки превратился в женатого студента вуза, позже – во вдовца с сыном и образованием мессионера-религоведа. Работает в солидной библиотеке, изредка в храмах или воскресных школах беседы проводит, есть знакомые, которые его за человека считают, уважают, поддерживают...

Каждое слово похвалы отзывается неописуемой радостью, ему только скажи, какой он молодец, и он возносится до небес своими достижениями, как будто ему не Бог помогал. И даже не стыдно за эту радость, хотя понимание греховности есть. Но дальше-то ничего нет. Он приходит на исповедь, говорит, что у него страсть тщеславия, и на этом дело оканчивается. И он может тут же похвастаться, например, что сын у него очень рано научился говорить. Или что у него статью напечатали в газете «Радонеж», или что он купил тёще натуральные кожаные перчатки, вот какой заботливый. Он ведь жутко гордился, что стал «как все люди», потому что раньше о таком и мечтать не мог. Раньше был он и «недосягаемые небожители», которых воспитали родители и которые казались высшими существами.

В детстве он только переживал, что судьба сложилась не как у большинства. Это ещё не было тщеславие. Зависть, скорее, и скорбь. А теперь он превозносится, на каждое слово реагирует, ему важно, что о нём думают, хочет быть хорошим для всех, казаться умным, и даже, о ужас, церковным. Позор, словом. Бог это безобразие видит же.

И что он делает в ответ? Он не просит смирения, нет! Потому что уже неплохо представляет, что это. Это когда ты безрукий идёшь просить милостыню, а тебя, как в детдоме, гонят те, кто сильнее, потому что места поделены. И, нет, он не хочет лекарства от тщеславия. Ведь то, что на пользу души, это наверняка окажется тяжело, это опять больно будет, а ему себя жалко. Он не хочет даже близко похожего на то, что было. И чего-то другого – тоже не хочет. Поношений, насмешек, унижений, чужого высокомерия. В итоге получается, что он абсолютно не собирается бороться с тщеславием. Он осознаёт и… продолжает тщеславиться дальше. И даже хвастается. Вот какой молодец он стал!

Конечно, про то, что он мечтает «дотянуться» до какой-то там «высоты», где мнил себя блистающим аристократом старик, было глупо и неловко читать. «Но, может, это у него такой способ защиты, способ уйти от страшной реальности? – думал он. – Сидит там, что-то мечтает о себе, и легче становится?»

Он решил вспомнить, чему учился, и попытаться достучаться до его сердца. «В конце концов, не бывает случайностей, может, он там оказался, чтобы перед смертью уверовать, и нужно ему помочь, – для того и переписка появилась», – оптимистично предполагал он. Рассуждать было просто, но чтобы не самочинствовать, он взял на это благословение у священника, который, не вникая в детали, сказал: «Конечно, попробуйте». И он начал пробовать.

7

Дело не пошло. Три-четыре месяца переписки он надеялся что-то изменить, но потом уверился, что со стариком творится неладное. Теперь, когда минуло уже почти полгода их общения, он понимал: это «что-то» существовало и раньше, задолго до тюрьмы, но он этого не

осознавал и не видел. Вроде бы в положении покинутого заключённого естественно за внимание и поддержку благодарить, но Елеазар вёл себя так, будто весь мир ему обязан, а он сам – чуть ли не жизнью. Приходящие послания были короткими, саркастическими, обличительными. Религиозные темы он игнорировал или писал что-нибудь кощунственное, поэтому его надежда достучаться стала угасать.

Он по-прежнему не понимал старика, не знал, с какой стороны подступиться. Бывает, и в верующем друге обнаруживаешь чудачества или крайности, а тут едва знакомый человек, и, как выяснилось, маленько двинутый. Впрочем, про «шик и власть» тот больше не упоминал, да и вообще чего-то откровенно сумасшедшего в его посланиях не наблюдалось, напротив, там и тут сверкал острый ум, начитанность, сыпались ядовитые колкости.

Иногда старик обрисовывал ужасающие сцены тюремной жизни. Однажды у него на глазах искалечили сокамерника, избив ночью железным прутом. Другой раз кто-то планировал совершить самоубийство способом, который можно вообразить только будучи совсем уже садомазохистом, но не успел. Читать было мучительно, как и редкие, но пронзительные его жалобы на жуткие условия: холод, голод, мышей, отъём необходимых вещей, издевательства, или красочные описание преступлений, за которые попали другие.

Но чаще старик почему-то насмехался и язвил над ним, а иногда упрекал в том, чего он не делал. Например, в ответ на его скромный денежный перевод писал: «Мерси, ты ведь у нас герой! А что мало, не извиняйся, тебе экономить надо, ты же примерный семьянин. Поди, покойненькую жену всего разок избил?» И вообще, не смотря на смерть Оли, старик без стеснения рассуждал об их прошлых отношениях. С чего бы? Ему хотелось перестать рассказывать про малыша, Олиных родителей, быт и работу, но тогда писать становилось не о чем, поскольку религиозные темы плавно сходили на нет.

Он касался их вскользь, деликатно, но слова о вере Елеазар переворачивал на свой лад, часто с точностью до наоборот, тогда получалось оскорбление и глумление. В его письмах со словами поддержки старик видел самолюбование, чванство, попытки самоутвердиться. Это было неприятно читать, колкости задевали, хоть в целом он не обижался. Однако сильно недоумевал: откуда столько неприязни? Как ни крути, он всё же пытался помочь... Печалило, что миссионер из него никудышный – знания, полученные в университете, будто выливались через решето, и на практике оказывались неприменимы. Старику тема религии была противна, вызывала презрение и иронию.

***

Он давно предполагал, что среди человеческих талантов, религиозность, наверное, даётся некоторым только. Один доктор, другой строитель, третий физик выдающийся. А четвёртый умеет ходить в храм, понимает церковные службы, праздники, молиться умеет, ему это нравится и легко. «Как тому монаху в рассказе Чехова «Святою ночью», который каждому слову в акафисте изумлялся, радовался, – писал он в очередном послании старику, поскольку речь зашла о том, как важно уйти от шаблонов и стереотипов. – И тянет такого читать, молиться еще больше, а потом он в монастырь уйдёт. А тот же физик, даже если он верующий, умеренно только сможет что-то из службы вынести, и молиться редко у него получается, потому что нет этого дара религиозности или как назвать его…»

Заново раздумывая над этим, он зашёл в тупик и удалил набранный текст, так как решил, что всё-таки нет, что опять же дело в осознанности. Потому что если Бога просить, если самому стремиться навстречу, то Он даст что угодно. Даже если это и не предполагалось изначально – есть же у человека свобода выбора. Ну, может, и не даст, конечно… Но кто не захочет, тот и просить не будет, ведь даже на малое движение и усилие времени нет, терпения нет – потому обычной мирской жизнью жить проще. А кому интересно, нужно, тот попросит, и покаяние возникнет однажды, и он уже не сможет остановиться, будет стремиться дальше, дальше...

«Но тогда опять же получается, что религиозность и вера – это удел единиц всё-таки, – рассуждал он. – Потому что остальным не до того, а привычнее в материальном, душевном, «во гресе». И я тоже по этому мирскому пути иду, мне тоже привычнее…»

И ещё провокационная мысль его временами одолевала, что когда то, что он способен почувствовать на службе или в молитве, вот когда это всё накатывает, это же от него вообще не зависит. Это немыслимое счастье, пронизывающее с головы до ног, вот этот Махерас, который всю его судьбу изменил, и всё остальное – это может быть, а может не быть. И стремиться к этому бесполезно, опасно даже. Но ведь в нормальном состоянии человек в этом постоянно жить должен, вроде так задумано было. И тут какое-то противоречие, потому что без этого ни любви, ни радости, ни ласки, и как тогда не хотеть (а ведь святые отцы как раз пишут, что не надо хотеть), когда в этом, по сути, вся цель земной жизни?

А ещё помимо желанных изумляющих отрешённо-нежных состояний, хоть как-то представляемых и ожидаемых, существуют невыносимо и невыразимо прекрасные, совершенно уже не представляемые и неожиданные, когда выдержать долго никак невозможно, а так – только мгновения. И когда всё пропадает, сложно поверить, что это вообще было. Для чего же их показывают? Непонятно. Разве только, чтобы заново испытать полное своё бессилие и повреждённость? Приведи бомжа на королевский бал, что он там будет делать? Все шикарно одеты, кругом сияние, роскошь, музыка, танцы, веселье, а бомж этот пропитый, зловонный, обшарпанный как там себя почувствует? Жутко неудобно и стыдно. Вот и он такой же. И ему спокойнее ничего не ощущать, чем ужасаться собственного ничтожества.

В итоге хочется только умиротворения и внутренней тишины, без потрясений. Но даже эта внутренняя тишина, которая вроде бы самая правильная, неуловима! И выявить закономерность, откуда она берётся, когда и почему исчезает, он не мог.

***

Письма старика часто бередили совесть, лишали того самого внутреннего покоя и тишины, которых и без того не хватало, но к которым он так стремился. Состояние после прочтения бывало тяжким. Он невольно заново ворошил прошлую жизнь и грехи, пробуждая разные воспоминания. Вот, например, Елеазар постоянно в насмешку именовал его «героем».

И он начинал думать, что ведь раньше, он, действительно, в глубине души мнил себя героем. Ну, из-за Оли, что женился. На такой. Хотя ему это было нужно не меньше, чем ей, и он понимал, что это милость Божия. Но она сама ему рассказала однажды, что всю жизнь с детства мечтала о любви, о таком, как он, добром, тихом, сильном. Он ещё так удивился, что кто-то считает его сильным. Оля говорила, что в юности думала покончить с собой из-за внутреннего одиночества, ужасалась, что в её положении это трудно. «В окно шагнуть хотела, – призналась она. – Но из-за родителей не стала, они ведь всю жизнь на меня положили. Отчаялась, что никто на мне не женится никогда, никакому мужчине я не нужна. Повзрослела, решила – ну и ладно. Не нужна, так не нужна. А потом вдруг ты. Ты не знаешь, какое это чудо», – она тогда резко замолчала, отвернулась, стесняясь слёз, которые полились.

Он ей был очень благодарен за это признание. Больше Оля такого ему не говорила – терпеть не могла показывать слабость. Так вот, он, подлец, временами считал себя героем, который принёс жертву. Потому что, ну правда, не каждый способен на такое – родители не вечны, когда-нибудь она бы осталась полностью на его попечении… У них даже несколько раз брали интервью журналисты, их свадебное фото напечатали в газете, и появилось несколько статей в интернете, где их историю преподносили, как великую любовь. Однажды к нему подошли на улице за автографом. Впрочем, о них мгновенно забыли, и жизнь потекла своим чередом.

Один знакомый как-то из лучших побуждений предложил ему вести блог, чтобы о них вспомнили. Это когда Оля ещё не была беременна. Снимать на телефон их будни, выкладывать, комментировать. «Ты заработаешь кучу денег, – уверял приятель. – Жизнь инвалидов никто хорошо не знает, а любопытно же! Будут тысячи просмотров, десятки тысяч, разместишь рекламу, и деньги потекут рекой. Может, кто-то поможет пожертвованием. Тут стесняться нечего, многие так делают! И главное, не думай, что не поймут, хороших людей много, они проникнутся, поддержат, напишут добрые слова. Вот увидишь, толк будет!»

Он всерьёз обдумал предложение, но не решился. Выставлять напоказ их с Олей жизнь показалось кощунственным. Снимать, как он водит её в туалет, моет, кормит, одевает,

устраивать из этого шоу – «дикость какая-то», – подумал он. Многое, впрочем, она умела делать сама – ногами, а что-то зубами. Например, когда никто не видел, она спокойно держала ногой ложку или вилку и ела. Но в глазах обычных людей это выглядело бы как цирковые трюки, возможно, вызывало бы отвращение.

Потом думал, что просто слишком гордый, что на самом деле ничего стыдного нет. Что нужно быть проще, и подобное «шоу» даже на пользу им будет. Но так и не убедил себя. Потому что за внешней «увлекательной» стороной виртуозного умывания Оли и одевания её одной рукой ещё есть внутренняя, о которой никак не расскажешь в блоге. Которую, если не пережил сам, никогда не поймёшь, каким бы замечательным и сострадательным человеком ты ни был.

И даже если хочется поделиться с кем-то, то не передашь, например, как иногда ему мечталось, чтобы она была здорова, чтобы ходила в храм, как другие женщины, чтобы прихорашивалась, играла на фортепьяно, красиво одевалась и даже кокетничала, как многие девушки делают. И ему бы тогда завидовали. Да, вот такой он самовлюблённый негодяй и тщеславный человек, что хотел бы, чтобы ему завидовали, что у него красивая, умная, милая жена, которая прекрасно общается, умеет держать себя, которая… Именно такой была бы Оля, если бы не… И ему было горько, что она не такая. В общем, сейчас уже стыдно думать об этом. Раньше он рассуждал: «Видимо, в этом крест, смирение, – но сам себя останавливал, – какое там смирение! Я же недоволен. Я же смотрю на неё и в уныние впадаю и злюсь даже, что она родилась больная, нашёлся смиренный, куда там! Гордый, злой, и маловерный ещё, – потому что всё промыслительно, а я дурак. Раньше часто благодарил, теперь изредка лишь, а на неё обижаюсь».

А обижался он на Олю часто. Сначала, когда они поженились, когда он увлечённо учился, когда они ездили на Кипр, тогда ещё всё было хорошо. А потом стало обыденно. И постоянная физическая помощь Оле как раз оказалась самым несложным из всего. Трудно было терпеть её вспыльчивый характер, перепады настроения, постоянную критику. «Жена, действительно, оказывается, должна пилить, в этом её высшее предназначение», – про себя иронизировал он, а вслух довольно резко просил оставить в покое и не лезть в его дела.

Он не привык быть в центре внимания, чьего-то постоянного попечения, неким «предметом анализа», ему не нравилось, что он всегда «на виду», всегда что-то должен, что малейший его поступок и слово обсуждают, направляют, наставляют, будто он первоклассник, который двойку получил. С первой женщиной он вместе не жил, она просто приезжала и уезжала, когда хотела, иногда помогала – всё было иначе. А тут семейная жизнь, понимаете ли. Это когда за всё отвечаешь сам и делаешь тоже всё сам, но при этом надо отчитываться, уступать, молчать, сдерживаться и под других подстраиваться, а Оля как человек не церковный этого не умела и не желала.

Она, впрочем, с компетентностью психолога заявляла, что им нужно «работать над отношениями», но не сказать, чтобы сама сильно работала, видимо, подразумевалось, что работать должен только он. И это его раздражало. Хотя бы потому, что он уставал на работе, очень уставал, но дома его не жалели. Оля часто была недовольна: то «поздно пришел», то «что это так рано?», то «должен найти работу получше», то ей «совсем не уделяет внимания». А когда устроился в библиотеку, где больше и стабильнее платили, у неё появилась ревность и подозрительность, говорила, что за книжками приходят одинокие женщины, «им и безрукий кавалер в радость». Он же, вернувшись с работы, хотел есть и спать, а не слушать глупости. Да, её щебет, рассказы, которые поначалу нравились или хотя бы казались забавными, позже раздражали, он считал, что они пустые, даже осуждал про себя, а порой и вслух. А она на это возражала, что жизнь нужно знать и любить в её полноте, смотреть новости, учиться чему-то современному, а не «зарывать голову в песок под видом религии».

Один раз они сильно поссорились, и она так вывела его из себя, что он замахнулся на неё своей единственной рукой. Не ударил, но замахнулся, и ударить хотелось.

Конечно, ему сразу вспомнился этот случай, когда старик будто случайно написал «поди, жену всего разок избил?» Он тогда смог остановиться, стукнул вместо Оли за что-то

шкаф и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Было противно, стыдно, но злость душила. Он ей свою жизнь отдал, он, как наседка с цыплёнком, вокруг неё вертится день и ночь, обслуживает, а она что? Одни попрёки, только указывает ему, кто он есть, и всё ей не так.

Потом они мирились, жизнь возвращалась на круги своя, и он любил её, думал, что она его единственное счастье на земле, давал себе слово, что будет терпеливее, что постарается молчать, находить компромиссы, шутить, уступать, жалеть её, но… Однажды, спустя месяц, два, три, четыре, а иногда и через несколько дней всё снова летело в тартарары, они ругались, обижались, оскорбляли друг друга, он снова хлопал дверью и даже думал, что нужно вправду разводиться, а не только на словах, потому что невозможно выносить дурацкие придирки. Но потом они снова мирились, и он снова считал её лучшей на свете, свыше дарованной, бесценной, и так шло по кругу. И что-либо менять, становиться лучше он, видимо, не хотел. Потому что если человек хочет не грешить, то никакие силы ада не заставят его согрешить. А он, значит, позволял это себе, он, значит, привык, что так проще, чем терпеть, молчать и давать садиться на шею.

***

Сегодня, после очередного послания старика, он среди тысячи будничных дел и заданий в библиотеке, остановился на секунду подумать. Писать ответы становилось сложнее и сложнее, а из-за тюремных посланий он всё больше проваливался в рефлексивную пропасть навязчивого анализа прошлого и настоящего.

Какая-то фантастическая круговерть пошла ещё с тех пор, как он встретил Дашу. А может, как Олю встретил? Теперь и не поймешь, когда это началось. В один момент всё завертелось, он оказался в вихре хлопот, но что в итоге?

Сначала храмы, потом жена, потом трагедия с родами, потом малыш, работа, беготня, теперь вот ещё история со стариком, мелкая бесконечная суета – походы по магазинам, приготовление еды, возня с Ионкой, жуткая усталость, раздражение, скука и… пустота. Вот это его смущало. Вроде делает что-то, какую-то даже пользу приносит, а на душе пустота и скука. Он вспомнил, что по-гречески «грех» – αμαρτία – это промах. То есть мимо попадания в цель, выстрел в пустоту. И подумал, что, значит, он всё время грешит, промахивается, бьёт в пустоту.

Прошли долгие, полные событий годы с момента Махераса, и что? Он стал лучше хоть сколько-то? Нет, скорее, стал хуже, и уж точно – нервознее. А потом пробежит время, и он ещё станет хуже, потому что в страстях своих он закостенел. Что он, через десять лет прекратит раздражаться, злиться, уставать? Вряд ли…

И он казался себе одиноким путником в пустыне, который борется с песчаным ветром, и песок ему сыплет в глаза, за шиворот, в ноздри, в рот, окутывает целиком, с ног сбивает, а он снова встаёт и идёт, но не потому что знает куда, а просто – нужно идти. Ведь если не идти, то засыплет с головы до ног, и будет мучительное умирание. А так – какая-то иллюзия действия.

Раньше он ждал, что вот-вот что-то откроется, что-то изменится, станет легче. А теперь… Вроде после храма становится на душе тихо и радостно, и в уединённой молитве изредка катится слеза, и даже чудеса иногда случаются, а всё равно жизнь кажется пустой. Событий много, дел невпроворот, но ощущение, что он что-то самое важное упускает. «Ну, Бог же с тобой, Матерь Божия, святые рядом, что важнее-то ещё? – унывал он. – Не в космос же тебе лететь? Не на войну идти? От обыденности и пустоты спасение в должно быть в своём же сердце, в церкви… А в библиотеке можно почитать, а сколько радости от малыша, чего ж тебе ещё?? – Не знаю!» – отвечал он сам себе и грустно продолжал расставлять книги на полке.

Страсти, естественно, не искоренятся и не убавятся, от этого, наверное, представляется, что он жуёт песок в пустыне, а суть проста – он иссяк. Ему больше неинтересно. Его зовут, а ему не хочется даже в паломничество, можно такое вообразить? Нет, он знает, что там ненадолго накроет счастьем, будет подъём духа, близкие по взглядам люди, увлекательнейшие искушения, такие, что волосы дыбом, и… ему не хочется этой встряски. Он полумёртвый. Он теперь живёт для ребёнка, это его единственное утешение, и хорошо ещё, что ребенок появился, иначе он вообще взвыл бы волком.

Да, оказывается, Оля давала ему столько любви и энергии, сколько он и вместить не мог, но он этого раньше не видел. Ради неё он бы сейчас старался показывать, какой он примерный замечательный отец. С её уходом смысл жизни был наполовину утрачен, теперь он это осознал. «Ну да, полно людей вокруг, которым в тысячу, миллион раз хуже, тяжелее, опять же, и что? Переживать за них? Нет, стало лень переживать. Даже старика спустя всего-то полгода практически больше не жаль. Это грех уныния, нечувствия, равнодушия, ага, да, я это понимаю, и что?! – вопил он в поедающую пустоту. – Это уйдет завтра, через месяц, через десять лет? Не знаю, непохоже. Невозможно гореть свечкой постоянно, свечка сгорает рано или поздно, остаётся тлеть огарочек, пока не счистят его с подсвечника».

Вначале-то он гордо мечтал, как будет миссионерствовать, людей учить вере, как они начнут принимать крещение, полюбят церковь. Считал, что его отсутствующая рука будет стимулом для других иначе смотреть на свои проблемы. Как бы не так! Ни одного не было случая, чтобы после бесед с ним или университетских практик кто-то рассказал, что в жизни произошли великие перемены, и вот, он теперь в храм стал ходить. Ни разу!

Когда убедился, что старания бесполезны, и денег тоже не приносят, стал надеяться, что у Олюшки какое-то особое предназначение. Например, жила же схимонахиня Рафаила с тяжёлой инвалидностью, – так целый монастырь основала, имела дар прозорливости, к ней люди стекались, она им помогала, и так далее. Но и тут быстро он разобрался, что Оля – обычный человек, что она ничем не отличается от здоровых женщин, а в чём-то, не подозревая о том, даже счастливее, поскольку с детства была окружена постоянной заботой, вниманием, лаской, не знает, что такое предательство, не испытывала любовных разочарований, как это часто у молодых девушек бывает.

А поначалу-то он думал, да что там думал, был уверен, что приведёт Олю к настоящей религиозности, что с ним она полюбит богослужения, книги святых отцов, молитвы но, увы, молитвы она считала суеверием, утверждала, что Бог – в душе, склонялась к экуменизму, а Новый Завет пробежала глазами лишь однажды «из культурных соображений». Он как-то, мечтая о чуде, упросил её прочитать каноны и причаститься, но волшебных перемен после этого не произошло. Через год он сдался.

А теперь, когда её нет… вроде и понимал, куда идти, но не шёл. Потому что не хотел, ему было скучно, молитва получалась формальной, храмы больше не вдохновляли. «Горняя» радость изредка появлялась мимолётно, а потом исчезала, ему казалось, что больше она не вернётся. Лишь после причастия была долгожданная тишина и успокоение, мысли отпускали, не мучили день или два. Но счастье, которое было когда-то, улетучилось. Он вяло благодарил за то, что есть, и ни о чём больше не просил. Казалось, что время его вышло, вот-вот он станет стариком, рассыплется окончательно.

При этом он изумлялся Елеазару – из его писем энергия, хоть и злая, но била ключом, кажется, он в заключении сильнее полюбил жизнь. «Надо ему что-нибудь про зло написать, – решил он с отчаяния. – А то я всё про добро, любовь, в которые он не верит. «Предрассудки!» Будто быть атеистом не самый ужасный пещерный предрассудок!» – атаковали осуждающие помыслы.

«Найду, что про зло писали святые», – отразил он поток копий, обличающих старика, который летел в его усталую голову. И вспомнил, как однажды читал письма игуменьи Арсении. В одном она рассказывала о послушнице, которая признавалась, что видит в себе только зло, жестокость, а успокаивается лишь, когда услаждается этим злом, что оно для её души естественно. Но естественного добра она в своей душе не видит…

И вот он подумал, что даже имени её не указано. А она ведь, наверное, стала святой, эта послушница. Потому что так про себя сказать, это очень многое понимать нужно, через ад пройти. Она, наверное, помогала людям, всегда молилась, какие-нибудь тайные подвиги совершала. И при этом так искренне себя корила, уничижала, распознавала и ненавидела всё, что повреждено грехом.

Он бы никогда так не смог. Он бы сказал, что в нём, конечно, есть злое, но и добро найдётся, хоть захудаленькое, но найдётся же. И вот она ему представилась, прямо тут, в

библиотеке, вся в чёрном и в чёрном платочке. С тихим таким, очень простым ровным голосом, без воздыханий. И как она говорит: «Я жестокая. Я злорадствую. Я хочу только развлекаться, делать, что мне нравится. Всех готова раздавить, всё только себе, побольше кусок, повкуснее еду, поудобнее постель, подольше спать. И не лезьте ко мне. Молитва, чтобы только для услаждения, чтобы не напрягаясь. И пусть мною восхищаются, я этого хочу. А любить меня не надо, я любви не терплю, мне это противно и чуждо. Любить меня не смейте, сама я тоже никого не люблю. Одну себя и свои желания. И не каялась никогда, только видимость создавала. А восхищаться мной надо, и так, чтобы все слышали, ведь я только и жду похвал. Превозносить надо, почитать за добродетели». Впрочем, это ещё щадяще. Она бы, наверное, жёстче говорила: «Я безжалостная, чёрствая, хочу только зла, всех считаю ниже себя, наслаждаюсь, когда другим плохо, хочу их подмять, раздавить собою», – и другое что-то страшное и искреннее. И он думал, что никогда не готов будет в себе такое увидеть даже, не то чтобы сказать. И ему представлялось, как игуменья Арсения, строгая, всегда всем существом своим сосредоточенная, устремлённая к единственной в жизни цели, тут же рядом сидит в читальном зале и кивает: «Самость захватила мир, самость правит всем, в нас нет ничего, кроме самости».

И ему жутко стало от этого покаянного вопля двух ангельски чистых душ, и от своей, нечистой, неангельской и непокаянной. И ещё он решил, что нужно молиться неизвестным святым тоже, таким, как эта послушница. Их, наверное, больше, чем известных. И они тоже помогают, только о них не знает никто. И надо просить их: «Неизвестные святые, молите Бога о нас…»

К удивлению его, где-то на заднем плане вдруг завертелась мысль, что старик-то так же смотрит на вещи – без иллюзий. Что если бы не атеизм, то его взгляды близки даже были этим двум святым. И это очень показалось странным, какое-то озарение-дежавю наступило. Что вот вроде у него сейчас среди стеллажей с книгами озарение, но только всё это уже происходило раньше, точно происходило. А озарение в том, что они, истинные подвижницы, которые деланием монашеским занимаются, тоже смотрят на мир и на себя в первую очередь – «без предрассудков», без прикрас и искажений, видят ясно, и любви в себе не находят! Но при этом их со стариком разделяет непреодолимая пропасть, которая больше вселенной, которая в том-то и состоит, что они Бога знают. А он не знает, что любовь есть, и даже не верит, что можно узнать. «Как же так, – терялся он, – они во многом сходятся, кроме самого главного, но как же это так?!»

Он так раззадорился, что по пути домой даже бормотал вслух. Идея писать старику «про зло» дала столько рассуждений, что голова гудела, словно улей. «А как представить жизнь без зла? – шептал он. – Как вообще было задумано? Если люди кругом хорошие, чистосердечные, то как это выглядит? Нет страхов. Нет войн, преступлений. Нет унижений, обид, потому что никто не превозносится, не обманывает, все поступают по совести, работают, радуются, живут друг для друга. Никто не завидует, потому что каждый имеет то, что нужно, а значит, каждый имеет сравнительно немного. В целом хорошо. Но это будто социализм какой-то, это всё не то, – похоже даже на последние времена, когда будут говорить «мир и безопасность». Главное ведь в человеке – стремление к Богу… И как это тогда?.. Нет, руководствуясь земными категориями, абсолютно невозможно представить, как было задумано. И, кстати, если вокруг только добрые, то это надоест же со временем. Захочется разнообразить – пусть не злом, но капризом, выделиться как-то. И под конец уже взбесишься, а что это все добрые? А я вот не как все, я плохой, я уникальный! А так, когда зла в жизни полно, тогда – ну да, нормально. Тогда противопоставляешь себя, превозносишься, что незлой, да тьфу, как гнусно!! Во всём гниль какая-то, – бормотал он. – Действительно, мы сроднились со злом настолько, что без него не можем…»

«А как вот это, например, исполнить – «любите врагов ваших»? – плюхнулся на него очередной вопрос, будто он впервые в жизни открыл Евангелие. – Ну, молитесь за них, это ещё ладно, это хоть себя заставить можно. И то получится с ноткой презрения или жалости: «Помилуй этих несчастных глупцов, не понимают, что творят». А любить как? Хоть тысячу раз

скажи себе: «О'кей, они так поступают для моего спасения, они для меня делают лучшее, они прямо сейчас в рай мне дорогу прокладывают», – но от этого их не полюбишь же, потому что они делают что-то, что больно, что ранит, что терзает, и в этот момент не до любви! Тогда заповеди в принципе неисполнимы? Это для святых только? А мы в любом случае бесконечно далеки от того, как надо?» Замолчал он только в метро, потому что перестал слышать свой шёпот.

***

Напротив в вагоне сидела женщина. Средних лет, приличная дама, накрашенная, ухоженная. Красивой не назовёшь, но холёная, было видно, что очень за собой следит, часто находится в центре внимания, умеет и любит общаться с людьми, что её уважают и даже побаиваются. Она задумчиво смотрела, казалось, на него, но на самом деле, через него, куда-то в свои мысли. Мысли, безусловно, занятные, увлекательные, – на лице довольство.

И он вдруг подумал, что это, наверное, его смерть. Что она, его смерть, вот так должна выглядеть. Ухоженная дама, довольная собой, возьмёт его изнеженными ручками с цепкими наманикюренными пальчиками и поведёт в темноту. Он будто даже поверил этой мысли, стал исподтишка рассматривать женщину, прикидывая: «Нууу, это хотя бы ещё более или менее приличная смерть. С такой не станешь бояться особо, будешь, скорее, стесняться умирать некультурно. Как-нибудь захочется покрасивее, помужественнее умереть, потому что она рядом стоит и смотрит. Спасибо, что хоть такую, нормальную, симпатичную дали. А то явится бабка страшная, безвкусная, размалёванная косметикой, в облезлом свитере, вот как эта, например, – перевёл он взгляд на кошмарную толстую старушенцию в тяжёлых серьгах и стоптанных грязных кроссовках, которая сидела правее. Нет, такую жуткую смерть не надо мне, мне приличную нужно, с хорошими манерами, воспитанную смерть, которая не рявкнет: «Шевелись давай, покойничек!», а вежливо так поздоровается: «Добрый день, будьте любезны, пройдёмте со мной». Он снова мельком взглянул на глянцевую даму, а она улыбнулась загадочно своим мыслям, и его пробрало холодом – ну да, смерть, она же будет ласково улыбаться, а сама холодная, из склепа, приведёт в гробницу, да как сдерёт с себя кожу, чтобы показаться во всей красе! И он представил, какой там у этой дамы внутри скелет, обросший мясом, какой ухоженный гладкий череп, и ещё подумал, если она сейчас спросит: «Почему вы на меня так смотрите?» – непременно нужно ответить: «Да так, не обращайте внимания, просто решил, что вы моя смерть, и представляю, как вы выглядите без кожи».

Когда она вышла из вагона, а ему даже ручкой не помахала, он вздохнул с облегчением и улыбнулся – пронесло, значит, не сейчас ещё умирать. Стало весело, писать «про зло» расхотелось. «Смерть всё ставит на свои места, – усмехнулся он. – Всегда она рядом, и никогда не угадаешь, в каком обличье. Если о ней помнить, так, и правда, добрее станешь». Он решил рассказать старику что-нибудь забавное о проделках маленького Ионы, которого сегодня бабушка с дедушкой забрали с ночёвкой в загородный дом к друзьям. Там днём был детский праздник, и ему уже прислали фото и видео малышового веселья. Гостям, чтобы не ехать по темноте, предложили остаться до утра, поэтому выдалась редчайшая возможность побыть одному.

8

Но не получилось. Дома во время ужина, как ему показалось, с грохотом, на него обрушилось очередное письмо старика, будто он сам в гости заявился. На телефон приходили уведомления, поэтому об очередном послании он узнавал сразу. «Скажи-ка на милость, – въедливо интересовался Елеазар, – что же это у вас за ог-то такой, (да, это он вот так именовал Бога – «ог»!) что его дьявол может преспокойно соблазнять? Мелковато как-то для творца вселенной, тебе не кажется?»

Его аж подбросило. Вот так всегда поганый дедуля норовил внезапно ужалить. Впрочем, он очень удивился, что старик за полгода впервые затронул Евангельскую тему, стало быть, он читал и что-то помнил, а, может, и неплохо знал содержание, да только не торопился сообщать об этом.

Вот рано он решил подобреть, старик опередил его, и сам «про зло» начал. Вроде бы, для человека с дипломом миссионера-религоведа ответ на вопрос относительно прост. Он должен был развёрнутым списком процитировать толкования Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Феофилакта Болгарского, Иеронима Стридонского, Василия Великого, а «на закуску» и вообще профессора Лопухина, начав с академическим апломбом: «Вот Вы спрашиваете, почему...» и залиться соловушкой. Но его вдруг, как некогда Елисея, «живая» сторона вопроса накрыла.

С точки зрения старика, получалось, что *тот* знал, наверняка знал, что собирается соблазнять самого Бога. И рискнул, не побоялся, этот прах и пыль, подойти, получается, ко Творцу и Его искушать. «Это означало бы беспрецедентное нахальство и самоуверенность (но что ещё ждать от *него*?), а главное – такую же беспрецедентную глупость, поскольку *он* заведомо обречён был на провал и понимал это. Но дураком-то *тот* уж точно не был, тогда, предположим, шёл покрасоваться, перед своими почитателями, смотрите, мол, какой я бесстрашный, поискушаю сейчас Его и ничего мне за это не будет (ведь и правда потом «ничего не было»), – рассуждал он.

«Но если для любого верующего очевидно, что это искушение изначально было предопределено Богом (хотя бы для того, чтобы предупредить, что искушения это нормально и преодолимо, они должны быть и будут, а вообще-то для того, чтобы сразу дать понять, что Его Учение не от мира сего); если любой прихожанин с первого года богослужений знает, что это ничтожество и к свиньям пойти без Божьего согласия не может, то для других всё не так, – увлечённо копался в чужих заблуждениях он, – а «ничего предопределено не было, и пошёл, потому что надеялся Бога победить», – вот так вам».

И ему хотелось ответить самыми простыми словами: «Да не знал *он* ничего, и знать не мог, никто в замысел Творца не может вникнуть! Да понятия ещё не имел, что это сам Бог! А знал бы, не пошёл, потому что не полный кретин. Мессию ждали все, но никто, кроме Богородицы, не знал тогда, что это воплотившийся Сын Божий, вот он и отправился проверять, выведывать, что да как».

Но он будто слышал, как старик ехидно отвечает: «А кто сказал, что *он* в замысел проникнуть не может? Ты сказал?? А ну как может??? А ну как знал?! Знал и пошёл?! И победить хотел. И мог победить, тогда что?»

Но только стоп, что же тогда? Тогда получается, что старик верит всё-таки? Что ищет и сомневается? Или не верит, но ищет, к чему придраться?

Он совсем запутался и понял, что сегодня ответить разумно не сможет ничего. Дожевав холодный ужин, почувствовал опустошение и бессилие. «Слишком много мыслей, молиться и спать», – решил он.

Но опять не получилось! Ни с того ни с сего ему позвонила собственной персоной Даша и сообщила, что она в Москве!..

***

– Извини, что прилетела без предупреждения, – нагрянула она через полчаса, так как выяснилось, что забронированная гостиница находится в двух шагах от Таганки, и она как раз туда только что заселилась с миленьким розовым чемоданчиком. – Ты же понимаешь, что я не могла тебя не увидеть!

По телефону он объяснил ей, что сегодня чудом остался один, а она тут же, не спрашивая разрешения, сказала, что сейчас придёт. И правда, не успел он прибраться – пожаловала, без труда отыскав дом в закоулках.

Он от счастья дар речи потерял. Даша была такая же, как раньше, даже ещё очаровательнее: волшебная, красивая, парящая и манящая. Он на неё смотрел и прямо не дышал. А она хохотала, лезла обниматься, шутила по поводу того, что «удачно зашла», сыпала приветами и тёплыми словами от Богослова, которые, конечно же, сама на ходу выдумывала, ибо он на подобные «нежности» был не способен.

Выяснилось, что Даша прибыла в первопрестольную на несколько дней – исключительно по делам благоверного. Сам супруг в это время путешествовал «по Парижам», а юного Елисея оставили на попечение няни, дабы не таскать с собой.

– Волнуюсь, как он, – щебетала Даша, но по её тону было понятно, что она не волнуется ни капельки, а только радуется нежданно свалившейся свободе. – Да, твой крестник тоже передавал тебе привет, хоть и не помнит. Но на фото узнает крёстного папашку. А ты изменился, похудел, помолодел! – окинула она его задорным взглядом из-под длиннющих ресниц. – Я тут вам привезла для Ионы кое-что, больше, конечно, на вырост, – вручила она ему подарочный пакет. И пока он растерянно улыбался и благодарил, предложила. – Пойдём в кафе, тут у вас на Таганке полно их.

Он замялся, поскольку денег катастрофически не хватало, тем более, он кое-что раз в месяц переводил её же собственному деду. Отказывать было неудобно, но пришлось. Причина, впрочем, прозвучала уважительная:

– Можно сходить, но в кафе атмосфера совсем не та, – сказал он. – А нам ведь нужно поговорить кое о чём серьёзном, да?

– О чём это? – насторожилась Даша. – С тобой можно говорить о чём-то серьёзном?! – снова расхохоталась она, попытавшись замять разговор. – Извини, но обычно это плохо заканчивается! Кстати, кибер-рука тебе идёт (а он-то как раз надел «покрасоваться» к её приходу). Пойдём! – игриво потянула его за манжет. Но он был непреклонен.

– Разве ты не поговорить пришла? – не терял он ни самообладания, ни серьёзности. Он вначале, действительно, был уверен, что она пришла, чтобы рассказать, наконец, всю правду про деда, разогнать облако таинственности жуткой и загадочной истории с его «воскрешением». Но теперь, видя её праздничное настроение, решил, что, вероятно, ошибся.

– Нет! – отрезала Даша. – Ни о чём говорить не собираюсь! Понятно? – он заметил, что у неё как-то резко упало настроение.

– Ты сказала, что он умер. Что в Финляндии могила. И Богослов это говорил! – не сдавался и прямо перешёл к делу он, потому что за полгода накипело, и он должен был наконец во всём разобраться, а она могла в любой момент упорхнуть так же внезапно, как появилась

– Да! Потому что для нас он умер! И, пожалуйста, немедленно замолчи, иначе я уйду! Просто замолчи, забудем и пойдём гулять! Там отличный вечер, я в Москве сто лет не была!

– Я пишу ему письма, ему там очень тяжело…

Даша демонстративно развернулась, чтобы уйти.

– Старый немощный человек пять с лишним лет сидит в тюрьме в ужасающих условиях! Только последние полгода я чуть-чуть его стараюсь поддерживать! Из близких у него нет никого, кроме вас! Это не игра, Даша! Я тебя или Богослова не обвиняю и не упрекаю, я просто не знаю ничего, и мне нужно хотя бы объяснить по-человечески!

Она помолчала, помрачнела, снова повернулась к нему и сухо спросила:

– Хорошо, что ты хочешь услышать?

– Да хоть что-нибудь! – взвился он. – Хоть что-нибудь расскажи наконец про это дело! Я же до сих пор ничего не понимаю! В чём он виновен?

– Во всём виновен, – отрезала Даша.

– Как… во всём? – опешил он, потому что для себя давно уже решил, что обвинение это – недоразумение и ошибка или какая-то гнусная фальсификация, тем более, старик писал, что за «раскрытие» подобных «преступлений» повышают в должности.

– Да он такой. Такой и есть, – не называя вещи прямо, в упор посмотрела на него Даша, и он, не понимая почему, застыдился и опустил глаза.

– Как же… – растерялся он.

– Конечно, я тебе не рассказывала ничего, – махнула рукой Даша. – Тебе нельзя ничего говорить, ты от жизни далекий. У тебя всё поэзия.

Тут он чуть не упал, это у него-то «поэзия»? Это после детдома, инвалидности, смерти Оли «поэзия»? Даже обидеться захотел было, но остановил себя, удивлённый повисшей паузой

и Дашиным колючим взглядом. В конце концов, его часто обвиняют, что он «от жизни прячется».

Даша будто решалась рассказать и не могла.

– Правда это про деда, – сказала, наконец. – Есть у него такие… наклонности. Он и со мной… В 14 лет. Ну, там я сама виновата, спровоцировала его. Даже влюбилась, можно сказать, целоваться полезла, а он и не отказался. А потом, позже, случилось всё. А потом я зарабатывать пошла. С него началось-то это. А он, видите ли, от моих «грязных» денег отказывался. И потом какие-то истории у него были с подростками, я не вникала. Но вроде далеко не заходило, со мной только не постеснялся. Кроме меня никто не знал. Я долго думала, что это любовь такая. Как-то с Елисея после той встречи на шаре, на него всё перенеслось, только грязно, страстно, но я намного позже поняла, что это грязь. Забыть хотела. В общем, не простила его. И не собираюсь прощать, что бы вы там с Богословом ни требовали. Не знаю, как он мог, я же девочка была. Мне тогда казалось, что это нормально, что так правильно, так должно быть. Об этом я только мужу рассказывала. А с той девчонкой, видимо, дед за старое взялся и попался. Мне не жалко его. И тебе жалеть не советую, он высокомерный манипулятор и мнит себя неизвестно кем. Великим моим отцом и наставником, вот кем. Он намного заносчивее Богослова, ты не знаешь его, он… – тут она снова рукой махнула. – Я всё сказала, больше, чем нужно. Сам решай. Я о нём забыла и прошу мне не напоминать, и мужу тоже.

Он мочал и вникал. Осознать и поверить в то, что она говорила, было сложно. Но врать, придумывать, тем более теперь, ей было незачем. Значит, всё правда? Значит, дед девочку совратил или пытался?

– Подожди, как же так? – он, наконец, смущённо поднял на неё глаза. – Ничего не понимаю. Помнишь, ты даже говорила, что его любишь, что вы оба очень гордые, что он тебя хотел бы разгадать, но не может. Что у вас тайная связь остаётся на расстоянии. Что чем вы дальше друг от друга, тем больше друг друга любите, а когда сближаетесь, наоборот, чувствуете ненависть?

– Не помню такого, – оторопев, уставилась на него Даша. – Ты это выдумал, не могла я так говорить! Даже если б я что-то подобное было, никогда бы не сказала.

– Что он обижается на тебя, потому что ты с ним неоткровенна, что ты отгораживаешься, не подпускаешь! – он разволновался, вспоминая то, что когда-то сам нафантазировал и с больной головы поверил, перестав различать правду и вымысел. – Я ещё тогда думал, что у вас уникальные какие-то отношения, ни на что не похожие… Какая-то неистовая обречённая любовь, но, конечно, чистая...

– Ну, может, я что-то и наплела, но мне было 17 лет! – перебила Даша. – А у тебя и тогда, и сейчас одни мечтания. Ты тогда слышал то, что в твоей душе отзывалось, или как это правильно сказать? Набралась я тут у Богослова высокого тона, – усмехнулась она. – Впрочем, когда мы с тобой познакомились, – да, я ещё в той грязи была и в иллюзии любви. Ничего не понимала. И только начинала тогда выползать из этого. Если бы не Богослов, если бы не Елисей…

– Так теперь расскажи! Я же ничего не понимаю!! Расскажи, чтобы я знал, как есть! – умолял и одновременно требовал он.

– Да ведь до конца и я не знаю. Он… и страшный, и жалкий, – она помолчала немного, а потом сбивчиво рассказала то, о чём он раньше никогда помыслить не мог.

***

Даша, сколько себя помнила, всегда безумно любила дедушку и не просто любила, а была в него влюблена. Чувствовать она это стала примерно тогда же, когда узнала, что не является ему родной внучкой. Чуть позже возникло естественное желание, к ней оно пришло рано, лет в 13. Тогда она плохо ещё понимала, что происходит, поэтизировала его, мечтала об отношениях, чем дальше, чем более откровенно. Разгульная жизнь мамы только подтверждала: можно делать всё, что нравится.

Дед не казался старым, ему было немного за пятьдесят, он излучал невероятную внутреннюю энергию и притягательность. Как позже она узнала, у него периодически

случались короткие романы на стороне, отчего сходила с ума его жена, которая была старше на десять лет. Дашу она тоже с детства ревновала к дедушке.

Всё случилось в 14 лет. Она сама однажды, пользуясь бабушкиным отсутствием, набросилась на него с поцелуями. Он оторопел, грозно запретил, выставил вон. Но прошло несколько дней, он позвал её в комнату, запер дверь и… Потом начались их тайные встречи. Это длилось около года. Догадывалась ли старуха, сказать сложно, именно тогда она повредилась головой, стала изводить всех дома и по соседству.

И вдруг дед сказал Даше, что больше ничего не будет, без каких-либо объяснений прекратил отношения, мало и редко разговаривал, стараясь избегать её. Она всё еще была влюблена в него, пыталась восстановить связь, а затем от отчаяния пошла «на заработки».

– Кое-что я узнала от него тогда. В период «любовный» он был более открытый. Он состоял в какой-то секте или что-то вроде того. Он даже некоторые мистические способности имел, будто насквозь человека видел, угадывал мысли, что-то предвидеть мог. Ты и сам заметил, наверное. Не знаю, что за секта, что они там делали. В Бога он никогда не верил. Хотя он и крещёный, хоть и воспитывали его староверы. Но так жёстко воспитывали, что он всякий интерес к религии с детства потерял, а в молодости искал сторонней мистики. Для него Бог был воплощением наказания, он и меня в детстве Им пугал, что мол, покарает, если я, например, огород не прополю. В общем, после того, как моя мамаша слилась от них, забеременела и меня подбросила, он стал куда-то периодически исчезать из дома, на несколько дней уезжал. Говорил, на заработки и, действительно, какие-то деньги привозил. А бабка его ревновать стала, скандалы устраивать, чувствовала, что он там развлекается. И да, он тогда уже с девочками заигрывал, лет 13-ти–15-ти. Я не знаю, доходило ли до чего, думаю, что нет, но до конца не уверена. Просто видела, как они смотрят на него, с каким восторгом и обожанием. И что он их обнимает, сажает на колени. И я, даже маленькая, ужасно ревновала, ненавидела этих девочек.

Так вот, он мне в *тот* период рассказал, что происходит из именитого графского рода Европы, и что он со всеми своими умершими предками общается, да ещё и на древнескандинавском языке. Дескать, впадает в особенное мистическое состояние, начинает понимать иностранный язык и сам свободно говорит на нём. И будто бы видит каких-то графов, высокопоставленных персон, их пиршества, празднества, дворцы. Упоминал, что его корни восходят вообще к правителям Римской империи. И что за это его очень уважают в том сообществе.

Я тогда уши развесила, не понимала же ничего, никому не рассказывала. Только Богослову, когда познакомилась с ним нечаянно через деда и влюбилась, упомянула, что я в секте. Понимала уже тогда, что у меня дикая зависимость от Елеазара, но так, без каких-либо подробностей рассказала, а он и спрашивать не стал, ему не до меня было. Теперь уж, конечно, мне Богослов объяснил, что это бесовство и игры с тёмными силами, что оттуда же его странные способности, его привлекательность для женщин. И что бежать от этого нужно со всех ног. В той секте, как я поняла, и какие-то сильные мира сего были, они-то ему деньги выдавали. Немного, но на жизнь хватало. Он их на бабкино лечение тратил, что-то в кубышку откладывал, жадный был всегда.

А потом на него несчастья больше и больше начали сыпаться. Старуха из ума выжила, дом подожгла, ну, про пожар ты помнишь, я рассказывала, а он, видимо, в своей секте никому не нужен стал, только я и осталась у него. А те же самые бывшие его благодетели разместили его в дом престарелых. Кукол он делал сначала для них, ещё с момента, как попал в секту. Возможно, для каких-нибудь культов, не знаю. Выглядели эти куклы довольно жутко. Но он и не разрешал их смотреть, выгонял меня из комнаты, когда работал. Я потом втихаря пробиралась, чтобы глянуть, – они были неприятные, я пугалась и убегала скорее. А про армянина этого я вообще не знала. Когда и откуда он появился? Видимо, это уже когда дом сгорел, он нашел себе такой заработок. Да, адвокат мне прислал фото героев из аниме, которых он мастерил, сейчас покажу. Они не такие страшные, но хорошего тоже мало, – она долго искала в телефоне, а потом открыла несколько снимков.

Он с удивлением разглядывал лица кукольных персонажей, выполненных, безусловно, талантливо и артистично. Они не казались отталкивающими или противными, как ожидалось после сбивчивого Дашиного рассказа, скорее, даже притягивали и увлекали в неведомые дали фантастических сюжетов, сказочных подвигов, суперспособностей и волшебства. Явным отличием от обычных игрушек была их противоестественная холодная красота, некая привлекательная мрачность, а ещё грусть и безысходность в глазах. Все смотрели выразительно и печально, в них присутствовало что-то завораживающее, жестокое, утончённое и мёртвое, как в самом Елеазаре. Он обратил внимание, что персонажи-девушки одеты откровенно и соблазнительно, а юноши, наоборот, в строгих закрытых классических костюмах.

Пока он смотрел, Даша рассказывала, что в её раннем детстве старик был обычным человеком, а после попадания в секту постепенно превратился в «философа-аристократа», стал много читать, умно говорить, мудрствовать, мог рассуждать часами о сложных неизвестных ей книгах или понятиях, и тогда казалось, что он непризнанный гений.

Он вернул телефон, и его переполнило чувство гадливости. А он-то, по меткому Дашиному выражению, напридумывал «поэзии» и идеализировал старика. Почитал его чуть ли не за пророка. Со святыми сравнивал! «Елеазар! Мистик! Заклание рыжей телицы, которого сам Соломон не мог понять!» – злился и негодовал он теперь про себя, вспоминая, как недавно ворошил Ветхий Завет, чтобы вспомнить, в честь кого назвали деда. Вот, оказывается, откуда его способности видеть человека насквозь, «читать душу», что-то предугадывать. Жил в мерзости, а как умело притворялся таинственным страдальцем. «Несчастный», который с ребёнком роман имел! И он ещё жалел его! Как же он плохо знает людей... И, главное, почему он сейчас-то не предположил секту, видя его заскоки? Наверно, тоже мозг затуманило, поддался на его кошмарное обаяние. Вот, тянет же собственную порочную душу в грязь!

– А как же та женщина, мать Елисея? – заволновался он, вспомнив загадку, которая мучила его давно. – Она что, тоже с ним…

– Нет, – отрезала Даша. – Она точно не с ним. Это точно нет. Да и с чего бы? Она мало знала его, почти совсем не знала. Ты же видел, во что он превратился, он же беззубой развалиной стал. Его осудили-то за домогательство, он, наверно, физически уже не способен ни на что. Он совсем другой был. Сейчас… – Даша снова долго копалась в телефоне и нашла отсканированное фото Елеазара примерно пятнадцатилетней давности. Он оторопел.

Общего с жутким жалким тщедушным дедушкой, которого он знал, не было ничего. Он выглядел аристократично, отстранённо, высокомерно, молодо, задорно и снисходительно смотрел с фото. Он даже чем-то внешне похож был на Богослова, возможно, поэтому Даша позже и влюбилась в того. Казался очень обаятельным и величавым, действительно, как именитый богатый граф. Каким образом он изменился до неузнаваемости, стал таким немощным, жутким, сухим, дряхлым за пятнадцать лет, было непостижимо, – будто из него выпили кровь, вытянули жилы, долго мучили и истязали. Даже мысль мелькнула, может, Даша его разыгрывает, может, это фото двух разных людей? Но нет, что-то ехидное во взгляде и улыбке, одинаковые черты лица выдавали в изящном красавце того заморенного старика, с которым он общался.

– Какой кошмар. Наверное, он из-за секты так, – пробормотал он. – Но зачем она к нему приезжала в дом престарелых, куда увозила его, почему говорили, что они поженились?

– Мало ли что говорили?! Она его спасать полезла от тюрьмы, неужели непонятно?

– Всё знала, и спасать?! – ужаснулся он.

– Она ничего не знала! – горячо возразила Даша. – Думала, это всё фейк, что оговорили его из-за долгов с куклами, как он тебе, конечно, наплёл в письме. Он и ей лапши навешал. Вот и решила «похитить», увезти за границу, ты ведь знаешь, наверное, читал в интернете, какая сейчас идёт педоистерия, когда сажают и виноватых, и невиновных! Ему потому и срок сгоряча намотали, я думаю, на всякий случай. Да не думаю – так адвокат говорил. Насилия не было, только приставал. Но приравняли к изнасилованию, дескать, еще немного и дошло бы до того. И кстати, правда, всё могло быть, силы у него неизвестно откуда берутся. Защиту тоже она наняла, не мы. А тогда, в самом начале, она, не зная про него настоящего, но зная про

подобные аресты, хотела спасти его, рискуя собой, между прочим, спрятать за границей, да только не успела! Взяли их по пути. Её, понятное дело, отпустили, а его – в тюрьму. Не лезь ты не в свое дело!! Это тебя никак не касается!!! – закричала Даша и заплакала.

То, что последовало за Дашиным монологом, он никогда ни понять, ни простить себе не мог. Она заплакала, он крепко её обнял и вдруг стал целовать страстно, впав в какое-то необъяснимое безумие, нежность и желание. Будто вся его влюбленность и влечение, которое когда-либо было к ней, его охватило в одночасье. Он забылся намертво и полностью отдался неистовой силы порыву, который нахлынул, как лавина, раздавив запреты, дозволенное и недозволенное, накрыв собой весь мир пеленой животной потребности, смешанной со сверхъестественной человеческой страстью.

9

Случилось то единственное, что могло случиться. Он знал, что это не любовь, не жалость, вообще не чувства, что в этом человеческого мало или ничего. Откуда и почему нахлынуло такое неистовство, он не понимал. Что переживала она, его даже не интересовало, кажется, ей было хорошо, но уверен он в этом не был. Единственное, что ему требовалось в тот момент, это избавиться от сверхъестественного напряжения, взявшегося невесть откуда.

Пока он приходил в себя после, она оделась и молча ушла. Было видно, что она в смятении от неожиданности, что меньше всего на свете планировала или предчувствовала что-то подобное, и вообще до этого момента считала себя верной женой, а его – инфантильным, оторванным от реальности тюфяком. То, что он не имел подобных намерений, он мог бы поклясться самым святым. Даша всегда ему нравилась, но он подумать не позволял себе о возможности близости после брака с Олей, тем более после их венчания с Богословом. Всё-таки он привык держать помыслы и желания в узде, не допускал увлечений, нарочно избегал взглядом женщин, разумеется, никогда не изменял, а если понимал, что приближается симпатия на стороне, немедленно прекращал общение.

Теперь он был раздавлен и убит, осознавал, что совершил смертный грех, которого никак не ожидал совершить, тем более, с чужой женой. Стало тоскливо и противно. Когда-то очень давно, когда они только познакомились, когда он ещё мог позволить себе помечтать о Даше, возможность их отношений казалась ему несбыточной фантазией, недостижимым триумфом, каким-то невероятно сильным потрясением и неземным наслаждением.

Но ничего похожего он теперь не испытывал. Его мучило чувство вины и недоумения, как это могло произойти, и как, по сути, это обычно и прозаично. На месте Даши, вероятно, могла быть любая другая привлекательная женщина, получилось бы то же. С чего-то накатила животная похоть, пришлось от неё избавиться. Единственное, что столь сверхъестественно сильной и внезапной она не была никогда за всю его жизнь. «Если бы Даша сопротивлялась, всё бы совершилось вопреки её воле», – с ужасом подумал он. Он бы не смог сдержаться и в любом случае сделал бы то, что сделал. И как теперь после этого жить? Тут присутствовала какая-то чертовщина и мистика, но он хорошо помнил правило, усвоенное в университете: если человек согрешить не хочет, никакие силы ада и никто из людей никогда не заставят его согрешить. Значит, только он и виноват. Переполнило чувство омерзения: он думал, что предал сейчас Олю, да ещё в их же постели, себя самого, и Дашу тоже, и Богослова, что всю свою предыдущую жизнь предал. И не понимал, почему.

Ощущение собственной никчёмности, отвращения и ненависти к себе, ужаса и недоумения, как он мог пасть так низко, охватило целиком, как до того охватила блудная страсть. Было тошно, противно и очень стыдно. Он не ожидал, что способен нарушить одну из ключевых заповедей, обо всём забыть, не просто поддаться искушению, а даже самому спровоцировать Дашу. После её откровенных рассказов о Елеазаре это и вовсе выглядело кощунственным, циничным, словно кто-то нарочно решил поиздеваться, посмеяться над ними обоими.

Хотелось проснуться и успокоить себя, что этого не было. Хотелось бежать куда-то в бесконечную пустоту, чтобы ни о чём не думать. Накатила пелена отчаяния и беспросветности, будто он нечаянно убил кого-то и даже не заметил.

«Что за чушь, со мной не могло такого случиться, – еле слышно бормотал он. – Откуда это взялось? Так же не бывает…» Но смятая постель уверяла в обратном, и у него появилось чувство, что на ней лежит мертвец, – вот плод его восхищённого «творчества» и «служения». Вот то «прекрасное», что он породил. Получалось, он разом перечеркнул предыдущие годы, и напрасны были страдания, усилия, труды, молитвы, минуты истинного счастья, всё это теперь провалилось в чёрную пропасть, а он завис в пустом мутном пространстве.

Ещё терзала мысль, что нужно бы как-то отмотать назад, понять, где именно он ошибся, что и в какой момент сделал такого, что могло привести к подобным последствиям. Может, это вообще произошло не сегодня, а когда они только познакомились с Дашей? А может, это и вовсе с ней не связано, и вытекло из какого-то другого его проступка? Вот если бы там и тогда остановиться, там и тогда почувствовать, что есть опасность, одуматься, исправить, то ничего не случилось бы… Видимо, его очень сильно занесло в сторону зла, если он умудрился разом погубить предыдущую жизнь. Значит, он давно и сильно увяз в трясине, не подозревая об этом…

Он силился уловить, вычислить, что именно делал неправильно, когда и как пошёл не туда, но ничего не получалось, словно он пытался оживить труп. Зато понимал, что резко и беспричинно окатил грязью Дашу, которая такими трудами из неё выкарабкалась. Хотелось выть. «Нужно было оставить её тогда в детской песочнице, а не «спасать», – зло думал он. – Она бы со своей чистой душой и сама бы прекрасно выбралась из той мерзости, тем более что оказалась в ней от отчаяния, когда её высосали и выпотрошили». А может, он всегда считал её распущенной и доступной, только не признавался себе в этом? Ну, как теперь распутать многолетний змеиный клубок, который гнездился где-то в потаённом мрачном углу его души?

«Это то же, что убийство, – думал он. – Кто нарушил одну заповедь, тот все нарушил, – кто это сказал? Кто-то это сказал… Да, Иаков… Теперь уже никогда не смогу это исправить, никому не смогу помочь, впрочем, и раньше не мог. Что за никчёмность? К чему вообще тогда всё было, если можно вот так в одночасье это сломать, уничтожить не только для себя, но и для кого-то другого?»

***

Он не заметил, как наступило утро. Была суббота. Нужно было сделать что-то полезное, например, побриться, прибраться, приготовить обед для родителей и Ионы, но он не мог заставить себя сдвинуться с места. Сидел в усталом оцепенении, уставившись в одну точку, бормотал, иногда сгонял рассеянную слезу, впрочем, в этот раз не плакалось совсем, иногда вставал, заново застилал постель, расправлял складки, будто хотел уничтожить следы преступления, и снова садился.

Потом и вовсе наступил тёмный провал в памяти, а очнулся он уже на улице, с монотонной головной болью, и не знал, как попал туда. Он машинально шёл по направлению к храму, хотя заходить не собирался. Наконец, понял, что исповедать этот кошмар всё равно нужно, и нет смысла откладывать.

Рассказал на удивление чётко и быстро, как есть, «без мистики» и фантазий. Что несколько лет не было женщины, что накатила животная похоть, и всё случилось. Ещё про то, что хотел её сделать своей чуть ли не со дня знакомства, из-за её красоты и его безмерного тщеславия. И ещё, что поддерживал, не зная того, переписку с сектантом и, простите за выражение, старым педофилом, но теперь больше с ним общаться не намерен.

Священник попался знакомый, от этого было неловко, стыдно, но он заодно и про этот «гордый стыд» упомянул, чтобы уж точно всё излить. «Ну, закрутило вас», – удивился батюшка. Ругать, впрочем, не стал, сказал только, что до причастия допустить не может, но он и не вспомнил об этом, какое там теперь…

От исповеди он не ждал ничего, ни облегчения, ни прощения. Безнадёжно и угрюмо, не шевелясь, достоял до конца службы и побрёл домой. Удивился, что светло на улице, с чего-то

решил, что уже должен наступить вечер, настолько всё перепуталось в голове, и мрачно было внутри. Когда вышел из храма и сделал несколько шагов, вдруг почувствовал, что отпустило. Ветер взбодрил, стало холодно, он только сейчас заметил, что не надел пальто. Душа неожиданно успокоилась, а головная боль уменьшилась.

Нельзя сказать, что он больше не мучился, но, скорее, уже смотрел на всё со стороны, будто это не с ними произошло, и удивлялся. Заново понимал, что это ужасно, что он совсем себя не знает, но теперь думал, что это ещё не конец. «Погибнуть не может же быть так просто. Погибнуть, нет, это непросто, когда человек призван ко спасению. А ну-ка, попробуй-ка, погибни, я на тебя посмотрю! Это ещё постараться нужно. Да, по гордости и глупости думал, что никогда такого случится. Ну, на, получи, увидь себя как есть, и так больше не думай. Но это ещё не совсем ад, это только в очередной раз заглянул», – пристыжено бормотал он.

Где-то на заднем плане зазвенела мысль про старика, про гнусную историю с малолетней Дашей, мелькнула даже внутренняя попытка «свалить» случившееся на тот шок, который он испытал, узнав отвратительную правду, но попытке этой он с негодованием дал пинка, трезво продолжая винить во всём себя. Если даже это произошло от его болезненной впечатлительности, дед тут не виноват, каким бы мерзавцем он ни был. Да и с какой стати судить его? Он тоже только что совершил поганейшее преступление, разве он чем-то лучше?

«Но всё-таки ребёнок… подросток… это другое, – не мог отделаться от потока нахлынувших мыслей он. Они словно сидели взаперти, а теперь вырвались на волю и атаковали больную голову. – Это уж самое отвратительное, даже по материальным человеческим меркам. И это «Бога убил», если по Достоевскому». Он понял, что всё равно осуждает старика, даже после вчерашнего падения с Дашей.

А ещё глубже и дальше пробежала мысль, что она по-прежнему любит Елеазара, или любит те отношения, которые когда-то у неё с ним были, что, возможно, она и Богослова-то никогда не любила, а любила только этого необузданного развратника. Но его-то самого почему теперь это ранит? Он вот, оказывается, тоже не любил Дашу, ему только вчера стало понятно, что это была лишь мечта и физическое влечение. Что он если кого и любил, так это Олю. «Если любил… – иронично скривил губы он, – скорее, не любил, а пытался научиться…» Но сейчас вот из эгоизма и тщеславия не хочет он, чтобы Даша любила Елеазара или Богослова, раз уж у них произошло всё. Тут ему снова стало до невозможности противно от себя. Тогда он твёрдо решил, что, во-первых, он конченый человек, а во-вторых, что он вообще не собирается об этом думать и никогда больше не станет общаться со стариком.

«Из-за секты, по крайней мере, понятно, почему он так двинулся на своём аристократическом происхождении, – продолжал анализировать он, потому что запретил себе думать только о Даше, и вообще потому что чужие грехи перебирать намного проще и интереснее, чем свои. – Значит, он всерьёз полагает, что его «упрятали» за графские корни двинутые сектанты, чтобы каким-то образом незаконно приобщиться к его роду, а он, дескать, чтобы не мешал. Вот так люди сходят с ума, понятно. Это же додуматься нужно, – лезть, ворошить чужих покойников, которых там десятки поколений, и к ним пристраиваться, «прирастать»... Это похлеще «Мёртвых душ», какое-то ужасающее духовное преступление. А ведь наверняка и это правда, чего только в сектах не бывает, – вспоминал он лекции по сектоведению, – на какие только безумства люди не идут. Ладно, мир покойников и прошлое менять, к счастью, невозможно. Стало быть, они к бесовским «благородным родам» приобщаются, какая пакость. Тьфу!» – заплевался он, представив, насколько омерзительные вещи случаются в мире.

«А что же та, Елисеева мама? – не мог он успокоиться. – Получается, пребывает в полнейшем неведении, считает его мучеником, на Новый Валаам везти хотела, «рискуя собой, между прочим!» – повторил он Дашины слова. – Помогает, поддерживает растлителя малолетних, думает, что герой, что за творчество страдает, за искусство, за кукол! И Даша с Богословом ни гу-гу! Тоже мне, родственники! А она за адвоката заплатила!» – впрочем, тут он скоро унялся. – «Ну пусть. Чистый видит чистое. Конечно, кому такое в голову придёт?.. Пусть уж лучше так видит, чем узнает правду».

Ему вспомнилось, как Елисей говорил, что его мать видеть «никому нельзя». Так горячо говорил и убеждённо, что он поверил, будто это, действительно, строгий запрет, и что-то ужасное случится, если он на эту женщину посмотрит. Поэтому он её только со спины видел, и она казалась очень красивой, и ещё одинокой, несчастной и какой-то царственной. Пронзительной и загадочной. Может, это только потому, что Елисей так сказал – интригующе... Ему тогда даже в голову лезли страшные и одновременно сказочные мысли о том, что вдруг её лицо обезображено, и он, взглянув, отшатнётся, испугается, испытает отвращение. Или наоборот, что она настолько прекрасна, что он немедленно влюбится и будет готов на любое рабство, покорство, только чтобы её созерцать. «Ну да, это, конечно, поэзия, дамы правы, – усмехнулся он. – Фантазии дурака…»

В общем, про неё разные были мысли, но ни одной толковой. А теперь плохое только представлялось. Зачем-то всплыло вот это «нельзя видеть», и он опять стал думать, что она, наверно, связана была со стариком ещё давно, ещё когда Богослов с ним не познакомился. А она уже «попала в сети», и страсть страшная развратная вспыхнула. С какой-нибудь мистикой и культами, а Елисей не знал, конечно, но чувствовал, и оттого «видеть нельзя». И она такая же, как эти девчонки-малолетки, стала «наркозависимая», влюбилась в него без памяти и, как на невидимом поводке, за ним носилась, не в силах из плена вырваться.

Впрочем, хоть он так ужасно и позволял уже себе думать, нарочно раззадориваясь, а почему-то в это совсем не верилось. Объяснений, почему этого быть не могло, он не находил, а вот просто не могло и всё. И не потому что Даша сказала, что «она точно не с ним», нет. Какая-то существовала более серьёзная глубокая внутренняя причина, до очевидности естественная, единственно вероятная, безальтернативная причина, но он чувствовал, что не способен до неё докопаться, видимо, не время сейчас было или вовсе не нужно.

Зато ответ, почему «видеть нельзя» внезапно пришёл сам собой. Он вспомнил, как в Тихоновском кто-то из профессоров рассказывал, что многие монахи исступлённо любят своих матерей. Иногда мать для монаха на всю жизнь остаётся единственной женщиной, которую он близко знает, на других ведь иноку даже смотреть нельзя. Монахом Елисей хоть и не был, но внутреннюю и телесную чистоту наверняка сохранил, как-то не верилось, чтобы с женщиной завязались у него романтические отношения. Вот и поэтизировал мать, любя её беспредельно, безраздельно, пламенно. Берёг, как святыню, – вообще говорят же, что в отношении к матери всегда есть что-то святое, даже у людей неверующих. Он, впрочем, сам не пережил этого, так как вырос без родителей…

***

В детдоме он часто мечтал о маме. Сначала, когда был маленьким, представлял, что однажды за ним на карете приедет герцогиня в роскошном наряде, и он даже будто не поверит, что такая важная красивая дама – это его мать. А кто-то из недругов и истязателей станет примазываться: «Нет, это моя мама, это я, твой Стас!» – и хватать её за полы шикарного платья. Но она-то, конечно, сразу узнает не Стаса, а его, обнимет, возьмёт на руки: «Вот он, мой любимый сынок! Родной, единственный, наконец-то я тебя нашла!» А воспитатели откроют толстую папку, проверят: «Да, всё верно, это ваш, а тот, безусловно, не ваш. Стас, не приставай к тёте». И она посадит его в карету, они поедут в замок, там будут фонтаны, пруд с лебедями, огромные клумбы цветов, великолепные комнаты и большой верный лохматый пёс.

Потом, став старше, он уже другое представлял: как приедет женщина, бедно и плохо одетая, на автобусе, худая, с виноватыми заплаканными глазами. И скажет ему: «Ты прости меня, я не могла раньше тебя забрать. Понимаешь, так получилось, что…» – и дальше он придумывал тысячи разных причин, почему она не могла его забрать, и представлял, как в ответ на её рассказ просто молча её обнимет, и они уедут в какой-то далёкий город, в маленькую захламленную квартиру, и он всё равно будет самым счастливым человеком на свете.

Позже он ещё снизил планку, думал, что пусть бы у него была какая угодно мама, хоть пьяная, хоть бездомная, это намного радостнее, чем никакой, пусть бы она хотя бы только навещала его и брала гулять по выходным, и он бы всё равно её любил, защищал, обнимал,

даже пьяную, обколотую, злую, – любую, даже если бы била его. Потому что мама – это святое, и любая мама лучше, чем совсем без неё.

«Вот и не хотел «монах» Елисей, чтобы кто-то «осквернил» её взором, а тем более, имел нечистые мысли о ней, – думал он теперь, ожившей картиной вспомнив в одно мгновение свои детские фантазии. – Вот и «запрещал» смотреть на неё…. Ладно, Елисей, – вздохнул он. – Я этот твой запрет не нарушил. Так и не знаю, как она выглядит. Но он-то, старик, знает. Сколько угодно ею любовался… Это он-то…» – и ему стало до мурашек неприятно.

Тогда он запретил себе думать и про старика тоже. Но осталась всё-таки мама Елисея. Он вчера, увлекшись страшным Дашиным рассказом, забыл узнать, где она сейчас, чем занимается, здорова ли. Она ведь съехала и продала квартиру, где они жили с сыном. Вероятно, часть тех денег была потрачена на адвоката.

Однажды старик её упомянул, причём с недовольством, дескать, она редко и мало ему пишет – «выпендривается». («Неблагодарный, жалуется после того, как ему защиту оплатили», – не мог сдержаться и снова осудил он.) Стало быть, она продолжала поддерживать с Елеазаром связь, уверенная в его невиновности. И ему теперь казалось это чудовищным: «Она относится к нему с душой, вниманием, состраданием, а он, его сиятельство граф, только «милостиво принимает», считая, что делает она мало и плохо, а должна «весь мир к его ногам бросить». И Богослов, который ей приходится троюродным, что ли, братом, похоже, считает, что это нормально, и не вмешивается…»

Но по понятным причинам теперь он навсегда устыдился разговаривать с Богословом, впрочем, и без всяких причин расспрашивать его было бы бесполезно. С Дашей он тем более теперь, наверное, общаться никогда не сможет, а других общих знакомых не было. В итоге он решил, что значит, так Богу угодно, не стоит больше в это «лезть» – он станет мирно тихо жить, ни во что не вмешиваясь, забыв обо всех свалившихся на него за последние полгода потрясениях.

10

Но мирно и тихо жить не удалось. Неожиданно обострились домашние проблемы. Они существовали и раньше, но теперь всё чаще стали выходить за рамки нормы и набирать масштабные обороты. Отношения с тестем и тёщей медленно, но верно портились. Он винил себя, и… не только себя. И, конечно, не столько себя, поскольку других же винить всегда проще.

Он вспоминал и наставления святых отцов, и Олины наказы о том, что нужно работать над отношениями. Пытался как-нибудь себя заставить реагировать на всё спокойнее. Но не получалось. И тогда он думал, что, видимо, невозможно победить лень, привычный мирской образ мыслей и способ существования. Что не получается быть всегда начеку, помнить о том, как бы сдержаться и никого не опечалить. Потому что ты просто живёшь, а постоянное бодрствование ума доступно, наверное, только монахам или старцам, или другим «профессионалам».

Вот, как, например, побороть раздражение на тёщу? Она громко часами болтает по телефону с подругами о неимоверной чепухе. Она постоянно смотрит новости по телевизору и включает звук почти на максимум, будто глухая. Ладно бы только новости, а то всё какие-то жуткие хроники про преступления, убийства, маньяков, садистские издевательства… Ему полученных писем старика про извергов-сокамерников достаточно, они ночами вспоминаются и уснуть не дают. Он, приезжая без сил с работы, не хочет с порога слушать: «Девочке отрезали пальцы, сняли процесс на видео и отправили отцу». И тем более нельзя это слушать малышу! Но сколько он ни просит её делать потише или дверь закрывать, она только обижается в ответ, и, как покойная Оля, говорит, что нельзя зарывать голову в песок, «нужно знать, что происходит в окружающей жизни», а Ионе, дескать, телевизор «по барабану». И хорошо ещё, если так говорит. А если не в настроении, так и вовсе вспылит: «Не смей указывать, что мне делать, я в своем доме!»

Но если посмотреть в другом ракурсе, получается, он неправ, потому что раздражается. Даже если молчит и раздражается, то всё равно не прав, а уж если не молчит, то вообще он духовный покойник из-за превозношения и осуждения, и гнева, и дальше по списку. «С какой стати ты лучше знаешь, как надо? – уговаривал он себя. – Тебе не нравится, ну так это твоя проблема, а, может, как раз так она спасается, через эти кровавые новости или полные страстями и похотью сериалы? С чего ты решил, что так нельзя? Это тебе нельзя, а ей именно так нужно, и огромная польза для её души! Но это же очевидная глупость…»

И он заходил в тупик. Думал, что нужна стратегия, чтобы не возмущаться и не сопротивляться внутренне, чтобы не было противно, потому что в нём ведь тоже для неё много противного, он ей чужой, калека, уродец, который сел на шею, а теперь уже и вовсе лишний, обжившийся гость в их доме. Она же его терпит, а он почему не хочет? Но несмотря на поток правильных мыслей, он всё равно раздражается, злится на неё и на Вадима, который спокойно и безразлично относится к телепристрастиям жены, но зато на него периодически рявкает или холодно что-то резкое и жёсткое бросает.

В общем, он теперь стал будто бы нахлебником, это тяготило, но уйти от них не мог, поскольку одному безрукому с малышом не справиться, нужно ждать хотя бы, пока тот чуть-чуть подрастёт, сможет сам себя обслуживать, а это только через несколько лет случится. И он пытался изобрести план борьбы с раздражением и другими проявлениями страстей, чтобы сохранить мир в душе и в семье, например, решил запираться в ванной и молиться, пока не отпустит.

Но из ванной его, как водится, тут же выгоняли, а главное, если и не выгоняли, раздражение даже с молитвой не уходило, мысли тянули в разные стороны, в злость, неприязнь, внутренний клокот, отчаяние, – получался замкнутый круг. А чаще всего с приходом на него набрасывался Ионка, требуя непрерывного внимания, так что и по естественной нужде лишь на секунды с трудом удавалось отлучиться. Малыш отвлекал от негатива, но утомлял до внутреннего истощения, голова пухла от его беспрерывного верещания, он будто соревновался «кто громче» с телевизором. Больше всего на свете вечерами ему хотелось тишины…

А ещё тёща с тестем бесцеремонно вторгались в их с Ионой комнату, не давали решать, как заниматься сыном, как о нём заботиться, что хорошо, а что плохо для малыша. Если он говорил что-то, они тут же говорили обратное, поправляли, возмущались: «Зачем это ребёнку, что ты выдумываешь?» Замечания касались всего: выбора одежды, питания, поведения, игр. Каждая его реплика подвергалась критике, возражениям, насмешкам. Ему хотелось убежать с Ионкой куда-нибудь далеко-далеко – в лес, в пустыню, на остров или вообще в тундру к оленям, только бы их не слышать и не видеть. И никакого человеколюбия в нём не было, оставалось лишь унылое понимание, что они тоже немало прилагают усилий, чтобы его терпеть и не гнать из дома.

***

И вот однажды это случилось. Прошёл примерно месяц с той «мистической» ночи, когда внезапно прибыла Даша, он узнал мерзкую правду про старика, когда блудодействовал, а потом ужасался и хоронил предыдущую чистую жизнь. И как-то тихим вечером, когда ничто не предвещало неприятностей, произошёл скандал, ужасный скандал из-за того, что Ионка ударился головой о батарею и набил огромную шишку. Он был при этом, но не успел остановить малыша, который носился, как очумелый, и со всей силы налетел на металлический край.

Малыш вопил на весь дом, он прикладывал лёд, а на него неприкрытым матом орали родители. Вместо того чтобы стиснув зубы молчать, он сам на них начал кричать, выплёскивая то, что давно накопилось. Тут Вадим, недолго думая, просто вытолкнул его на лестничную клетку, сказав: «Катись отсюда и больше не приходи!» Он звонил, случал в дверь, требовал, чтобы его пустили к ребёнку. Потом решил, что нужно прогуляться, остыть, дать им успокоиться. Спустя час он пришёл в себя и вернулся, готовый извиниться, искренне или нет – неважно, лишь бы скорее забыть этот кошмар и зажить по-прежнему.

Но не тут-то было. Его впустили, однако перед ним стоял собранный чемодан. «Мы будем подавать в суд на лишение тебя родительских прав, – заявила Тамара. – Ты не справляешься с обязанностями отца, физически с ребёнком один оставаться не можешь. Помощи от тебя мало и она ничтожная, почему мы должны тебя терпеть в своём доме? Оли больше нет, ты нам теперь никто. Так что не обижайся. И давай уезжай к себе».

Ну, он оторопел, конечно, потом взял себя в руки, просил прощения, мямлил виновато, блуждал глазами, терялся, заискивал. Его пустили, но именно с того момента всё коренным образом изменилось.

***

Он сначала не поверил, что это правда про «уезжай к себе». Ему показалось, что это просто слова. Что его хотят приструнить, выдрессировать, поставить на место, но, уж наверное, не поступать бесчеловечно и не выгонять.

Но оказалось, всё серьезно. У него той же ночью забрали ключи. Они действительно думали, что он испугается и уедет, спокойно оставив им сына.

Странно, что они так думали. Он, конечно, так не сделал. Сразу сказал, что подождёт решения суда, куда они грозились обратиться, а пока решения этого нет, никуда от своего ребёнка не поедет. Потому что он отец вообще-то. А если не вернут ключи, то будет каждый раз приходить с полицией, требуя, чтобы его пустили. И пусть соседи полюбуются. А если они будут к нему, как к скотине относиться, так он и вовсе заберет Иону и увезёт в неизвестном направлении, и плевать ему, что они опекуны.

Они от такой внезапной смелости остолбенели, пошептались, но через час ключи вернули. Сказали: «Ну-ну. Посмотрим, на чьей стороне будет суд».

И он опять надеялся, что это только слова, что на этом всё закончилось, и с завтрашнего дня постепенно жизнь вернётся в прежнее русло. Но, к сожалению, с этого всё только началось…

То есть это он так думал, что всё с этого дурного скандала началось. Что если бы нашёл другие, менее категоричные слова, смог с ними договориться и помириться, то они бы угрожать судом не стали, а теперь вот, по причине его срыва на крик затаили злобу, и Вадим решил показать, кто главный. Но позже выяснилось, что план стал у них созревать уже через полгода после появления ребёнка. Они, конечно, не были уверены, но между собой обсуждали такую возможность, то есть возможность лишения его родительских прав через суд. А тут, когда малыш лоб разбил, и он вспылил, повод сам появился, – тогда они уже точно решили довести дело до результата.

Теперь он казнил себя за то, что сам же, своей доверчивой, безмозглой единственной рукой написал заявление о том, чтобы назначить их опекунами до достижения Ионой десятилетнего возраста. Он сделал это из страха, поскольку ещё в период Олиной беременности ими заинтересовались органы опеки, куда по долгу службы обратился Олин женский врач, – уж слишком нестандартная ситуация, когда на семейную пару с новорожденным ребёнком приходится лишь одна действующая рука.

В тот момент он до смерти испугался, что малыша у них отнимут после рождения и заберут в детдом. Он слишком хорошо знал, какой кромешный ад там ждёт ребёнка, трясло, подкатывала паника при одной мысли об этом. Но Оля успокоила, сказала, что сделав опекунами дедушку с бабушкой, они защитятся от любых возможных посягательств на малыша. Тамара с Вадимом согласились. Тогда это выглядело формальностью, было очевидно, что её родители в любом случае станут принимать в воспитании Ионы непосредственное участие.

После смерти Оли он находился в помутнении мыслей, отчаянии. Нужно было перетерпеть боль, понять, как существовать дальше. Тогда-то, живя ещё миролюбиво, сплочённые навалившимся на них горем, вместе решили, как и было оговорено заранее, оформить на родителей опекунство, чтобы в случае чего никто не вздумал сунуться и забрать Ионку в дом малютки.

О лишении его родительских прав, конечно, изначально речи не шло, ему бы в жутком сне не приснилось, что у них может появиться такое намерение. Это сам он по малодушию, в порыве мёртвой тоски, боялся, что младенец не вызовет у него отцовских чувств. Но Вадим-то с Тамарой были терпеливыми, добрыми, много пережившими, чуткими, с виду неспособными на подобные мысли даже, не то что действия. А теперь вот, как бы жестоко это ни выглядело, решили от него избавиться.

Сейчас он, спрятавшись в комнате, снова сокрушался о том, что совсем не знает людей и самого себя. Значит, он совсем уж противный, эгоистичный, злой, если они не хотят с ним жить?! Ну, не видит он себя со стороны, не понимает, как сдержаться, как понравиться им заново, уже без Оли! После очередной ссоры он сидел, напряжённо обнимая спящего малыша и подавляя отчаяние, которое накрывало шквалами. «Впрочем, может, не будь они опекунами, вышло бы ещё хуже, – растерянно шептал он. – Тогда тебя, и правда, могли бы забрать из-за «недееспособности отца». А пока они оформляли бы опеку, тебя бы уже усыновили, ведь за здоровыми малышами в детдомах очереди выстраиваются, значит, за деньги этот вопрос решается быстро, ищи потом, свищи. А знаешь, если без семьи пробыть в доме малютки всего месяц, это уже неизлечимая травма на всю жизнь, стало быть, оформлять надо было…» Мысли жужжали, жалили, как рой взбесившихся ос.

Он решил говорить с родителями утром, искать компромисс, уговаривать, чтобы они оставили затею с судом – искренне боялся, что ребёнка могут отнять. Цели в жизни другой, кроме как растить сына, у него теперь не было, слишком его любил, считал дарованным чудом, видел в нём что-то высшее, умилялся, плакал от счастья и благодарил, что больше он не один на земле.

***

Оказалось, разговор у них тоже назрел, они-то его и завели, ворвавшись без стука в комнату, когда после бессонной ночи он задремал на рассвете, прижав Иону к себе. Началось с упрёков шёпотом и высказываний, что ребёнок должен спать один в кроватке. Потом втроём вышли на кухню, и тут они изложили своё в*и*дение ситуации.

Прежде всего, он, оказывается, был виноват в смерти Оли! Да, они считали так, поскольку она вообще не должна была беременеть, и с чего-то предполагалось, что между ними не может быть супружеских отношений. Ну и вот, из-за его, дескать, невоздержания, они потеряли дочь. Это абсолютно его потрясло и показалось абсурдным, – как это так «не может быть супружеских отношений»? А Олино мнение их не интересовало? Они что, не понимают, что она живой была женщиной и имела определённые желания? Он, едва начав говорить, замолчал, забыв заготовленную речь и растерянно хлопая глазами.

Далее: он жил в их доме как Олин супруг, а теперь они его оставлять не обязаны, прописка у него в Подмосковье, вот пусть туда и отправляется. Но основная часть касалась, конечно, Ионы. Они понимают, что он отец, что он любит малыша и всё такое. Они предлагают встречаться с сыном в выходные, или просто раз в неделю, когда удобно, приезжать в гости, гулять, они не будут даже требовать с него алименты или иную материальную помощь.

– А что тут такого особенного? Так же всем будет проще! – уверяла Тамара. – Тебе тяжело жить с нами, так? Ребёнок – это обуза для тебя, ты жалуешься, что устаёшь, не высыпаешься, не знаешь, что делать с его капризами. Толку от тебя всё равно нет! Извини за прямоту, для тебя ему памперс поменять, собрать на прогулку или даже покормить – целый геморрой, ну кому нужны эти потуги, этот показной героизм? Оставлять тебя с ним опасно, а вдруг уронишь его, а вдруг не уследишь, как давеча, это ведь уже не первый случай, когда он при тебе головой бьётся. А завтра он сотрясение мозга получит, ты что, не понимаешь этого? Давай договоримся по-человечески! И тогда тебя никто прав не лишает, останешься папой официально, тебе же для статуса это нужно, будешь видеться, водить куда-нибудь, общаться, принимать участие в воспитании. Гостевое отцовство это называется. Так многие разведённые пары живут, потому что это легче и удобнее. Ты что, особенный? Если мы не будем тут толкаться и препираться постоянно, не будет конфликтов, Ионка станет спокойнее, он же чувствует, что в доме агрессия. Не будь эгоистом, – видеть ребёнка раз в неделю для тебя

нормально в нынешней ситуации. Так делают миллионы людей, это решение давно напрашивалось, и поверь, у нас нет никакого желания действовать через суд!

Он хотел было возразить, но Тамара обрезала:

– Не торопись с ответом! Составим план твоих приездов, выберем время визитов, дадим тебе пару недель или даже месяц на возвращение домой, ну или, может, ты в Москве комнату снимешь, это уж сам решай…

И так далее, так далее, она продолжала говорить, а он чувствовал, что ещё немного, и накатит знакомая пелена перед глазами, он погрузится в колотящий кромешный страх оттого, что у него прямо сейчас без зазрения совести отнимают единственное сокровище и считают себя правыми во всех отношениях.

Настроены они были так категорично, а он так растерялся, что не смел произнести свои предложения, как им жить дальше вместе. «Детские» обещания, выдуманные ночью про то, что он будет убираться, готовить им обед, что найдёт более оплачиваемую работу, что будет молчать и помогать, звучали бы нелепо. В итоге пробормотал: «Вы меня простите. Я совсем не спал, и мне сейчас нечего сказать».

Потом уже, к вечеру, он смог посмотреть на ситуацию их глазами. Да, он, конечно, для них посторонний, он обуза, а Иона – это же не просто их внук. Тяжело представить, как они настрадались из-за Оли, как хотели собственного здорового ребёнка, как теперь готовы всех в клочья порвать, чтобы оставить малыша себе, сделав его сыном. Они пожилые, но не старые ещё, вдвоём сил вырастить хватит, ну а он-то им с какого боку сдался? Инвалид, уставший, раздражительный, чужой, живёт в их квартире, зарабатывает копейки, вот и хотят избавиться...

На следующий день он попытался им объяснить, что не представляет жизнь без Ионы, не может видеться с ним раз в неделю, что малыш ему, как воздух, нужен, и он хочет всегда быть рядом, но ему жёстко возразили:

– Любовь в том, чтобы приносить себя в жертву, а не жевать сопли, рассуждая, чего тебе хочется, чего не хочется, без чего ты там якобы не можешь. С малышом ты не управляешься и точка. Будешь приезжать, навещать, скоро привыкнешь.

Возражать и предлагать жить вместе «по-новому» не получилось, они уже всё решили и не желали слушать.

***

Приближались выходные. Когда в пятницу он пришёл с работы домой, там никого не было. Он подумал, что они на прогулке, но они не вернулись и ночью, не появились ни в субботу, ни в воскресенье. Он звонил Тамаре и Вадиму непрерывно, те не отвечали. Куда пропали с малышом, почему ничего не сказали, неизвестно. Ему казалось, что он сходит с ума, представлялось, что они вообще уже не приедут, что увезли Иону навсегда и решили спрятать. Потом мерещились всевозможные несчастные случаи, трагедии, преступления, теракты...

Звонил друзьям, они поддерживали, сочувствовали, успокаивали, уверяя, что родители просто отправились куда-нибудь отдохнуть, но ничего толкового посоветовать не могли, только напоминали, что нужно держать себя в руках, когда вернутся – «как ни крути, они опекуны», иначе спровоцируют его снова на скандал.

«Это же бесчеловечно», – думал он. Не понимают они, что ли, что он инвалид не на голову, что он живой человек с чувствами, с сердцем?..

Они вернулись в понедельник утром, когда он совсем отчаялся и решил, что нужно обратиться в полицию. Ничего не объясняли, а на его расспросы Вадим буркнул: «Куда надо, туда и ездили». В общем, они очень изменили отношение, проявляли открытую враждебность, всем поведением показывали, что в их доме ему больше нет места.

И тогда он решил сделать так же. Просто взять Ионку и увезти в своё подмосковное захолустье. Война, значит, война, не он её начал. Последние жильцы с квартиры съехали месяц назад, новым квартиру показывать было некогда, поэтому она пустовала.

Понимая, что они малыша добровольно не отпустят и не отдадут, замыслил устроить тайный побег в удобный момент. Пожить пока там, запереться на все замки, никого не пускать,

и пусть они судятся, сколько хотят. Удрать с сыном выглядело заманчиво, но он понимал, что на деле осуществить подобный план будет непросто.

И вот пока он думал и взвешивал, решая, стоит ли идти на такой рискованный шаг, удобный момент наступил сам собой. Их обоих не было дома – Вадим работал в те выходные, Тамара пошла по магазинам с длинным списком покупок, он знал, что она вернётся не раньше, чем через час-полтора. Тогда он больше не стал размышлять, импульсивно накидал в огромную сумку попавшиеся под руку малышовые вещи и документы, схватил тот самый чемодан, который они тогда ему собрали (он, погружённый в переживания, его даже ни разу не открыл), сложил коляску-трость, вызвал такси, попросил водителя помочь всё это вынести, взял Ионку и был таков.

«Пусть теперь они поволнуются», – беззастенчиво думал он. Где-то в глубине души он осознавал, что это, скорее всего, неверное решение, что получается глупая, бесполезная месть или даже открытый вызов, но зато чувствовал огромную радость, облегчение и освобождение, будто вырвался из рабства. Удирать было весело. Иона сначала резвился, потом немного покапризничал со скуки в машине, затем уснул. По прибытии вежливый водитель без просьб занёс коляску и чемодан с сумкой в квартиру, и он, поблагодарив, наконец остался вдвоём с сыном.

11

Дома он хотел отдышаться, но Ионка не дал – тут же проснувшись, он удивлённо пошёл исследовать его берлогу. Началась привычная весёлая и утомительная кутерьма, радовало, что малыш не оставляет времени думать. Он заново ощущал себя героем, теперь уже таким, который спас сына из плена, и, обращаясь к нему, взбадривал себя, рассуждал, как им жить да быть дальше.

– Прежде всего, мы приберёмся, – говорил он, – сложим в шкафчик наши вещи. Подумаем, где тебе спать сегодня. Постираем бельё. А завтра купим тебе кроватку.

После жильцов он не успел ещё побывать тут, ключи они передали ему в Москве. В квартире было грязно, пыльно, душно, в холодильнике лежали продукты, которые за месяц испортились и источали резкий запах, из годных продовольственных запасов не осталось ничего, разве что полстакана семечек и одна неоткрытая бутылка пива. Не выбросили даже окурки из пепельницы, которую он сгоряча швырнул в мусор.

– Ничего! – оптимистично пел он. – Мы с тобой всё это выбросим, сходим в магазин, купим яичек, порошок стиральный. А у тебя же полно вкусняшек, и пюрешки есть, и печеньки, и кашу я тебе сделаю! Давай-ка, помогай наводить порядок!

– Поладок! – радостно соглашался Иона.

– Вот тот пакет неси сюда, в ведро его! – командовал он. – Молодец! А пылесоса не испугаешься?!

Он чувствовал прилив сил, кружился по комнате, Ионка счастливо лопотал и топотал, смеялся, им было хорошо вдвоём. План по уборке и закупке он воплотил только к вечеру, но с задачей справился, а главное смог без посторонней помощи помыть малыша! Хоть это оказалось и непросто, ведь протез нельзя было мочить. Но у них дома ему никто ни разу не дал этого сделать самостоятельно! В качестве кроватки на первую ночь поставил Ионе кресло, которое соединил с двумя стульями, сгладил неровности одеялом. Что-то из чистого белья нашлось, он застелил новоиспечённое ложе, а остальное постирал. Ему несколько раз звонила Тамара и один раз Вадим, был ещё звонок с незнакомого номера. Он не отвечал, написал только Тамаре: «Уехал с Ионой отдыхать». И всё. Ни ответа вам, ни привета. Их сообщения и вопросы тоже проигнорировал.

***

Когда ближе к ночи малыш, традиционно покапризничав, уснул, он решил, что теперь пора поразмыслить о том, что, собственно, делать дальше. До того он, кажется, никогда не принимал столь значимых импульсивных решений, обычно, наоборот, долго-долго взвешивал, не мог определиться. А так, чтобы сделать, а потом уже думать – это ново.

По поводу работы не переживал. После рождения Ионы и Олиной смерти его несколько раз спрашивали, планирует ли он брать в отпуск по уходу за ребёнком, и уверили, что до трёх лет его можно оформить в любой момент. Он тогда по наущению родителей, уходить «на каникулы» не стал, хотя и сомневался, что это верно. Теперь понимал, что нужно было, – опыта, как возиться с малышом, явно не доставало.

Но главный вопрос, разумеется, стоял материальный. Пособия не платили уже с полутора лет. У него остались минимальные сбережения, но надолго их не хватит. «Отпускные едва ли покроют все расходы, – рассуждал он. – Стало быть, нужно искать работу из дома, не только удалённую, но и не привязанную ко времени, чтобы можно было рядом с визжащим малышом её делать одной рукой. Где ж взять такую?..»

Уверенность начла исчезать. Библиотекарем его устроила Тамара через своих знакомых, а у него всегда были с проблемы с поиском нормальной вакансии. То не платили, то платили меньше, чем обещали, то он не справлялся, было даже, что не ужился в коллективе и его выдворили, в общем, работа – слабое место.

«В остальном по организации ясно, – докладывал он себе. – В ближайшие дни нужно купить кроватку, другие вещи для малыша, привыкать к новым условиям постоянного пребывания с ребёнком, выработать режим, в общем, хочешь быть отцом – будь им». А вот что делать с родителями Оли, непонятно. Чего от них ждать? Повестку в суд? Стоит ли им сообщать, где они с Ионой, или сами догадаются?

Было боязно, всё-таки они совершили настоящий побег, без предупреждения. Он пока решил не думать об этом и затаиться, сосредоточившись на первоочередных закупках необходимого. «Впрочем, позже сообщить всё же нужно, – подумал он, – а дальше – пусть делают, что хотят. Силой они ребёнка не заберут, мы им дверь не откроем...» Он отец, значит, его права первостепенны, если будут скандалить, он вызовет полицию, а что остаётся?

Плохо, что друзья далеко, здесь он знакомств не завёл, дичась после детдома людей, не зная, как к ним подступиться. Это значит, что в помощь кого-то призвать не получится, впрочем, и в Москве мало кто поспешил бы его поддерживать.

«Стало быть, рассчитывать только на себя, – сделал он очередной храбрый вывод. Но поделиться произошедшим с несколькими друзьями, которые остались со времен Тихоновского универа, решил обязательно, может, что посоветуют. «Опять же, в библиотеке работают женщины, – прикидывал он, – хоть и немолодые, но у них есть дети, которые когда-то были малышами, значит, что-то толковое подскажут». Успокоившись, он стал гладить безмятежно спящего Иону, сентиментально смахивая накатившие невесть откуда слёзы. «Прорвёмся, – сказал он тихо. – Вместе прорвёмся».

***

На следующее утро он стал прорываться. Как деловой и умный, позвонил на работу, отправил фото заявления на оставшиеся законные полгода отпуска. В подробности побега, конечно, не посвящал, но гордо заявил, что малыш теперь живет только с ним. И пусть удивятся.

Потом он в два счёта нашёл детскую кроватку б/у, которую продавали на соседней улице. Он поведал о своей однорукости и попросил за дополнительную плату собрать её. Люди оказались на удивление отзывчивыми. Когда он вечером с протезом и Ионкой в коляске к ним заявился, полный решимости везти кроватку по тротуару, они разулыбались, и вдвоём – папа и дедушка, а ещё и четырёхлетняя малышка в придачу, не разбирая, понесли кроватку по улице. На них оглядывались, и некоторые прохожие тоже улыбались. Вкатили в квартиру, – благо, первый этаж, поставили и денег за доставку не взяли. Поинтересовались только, где мама, и, услышав печальный ответ, смутились, посочувствовали, подробностей расспрашивать не стали.

Днём его донимала Тамара звонками и сообщениями. Она, конечно, расспросила знакомых в библиотеке и выведала, что он ушёл в отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет. Тогда тёща без труда догадалась, что он увёз малыша к себе в Подмосковье. «Это и хорошо, не придётся ничего объяснять», – с облегчением выдохнул он. Тамара в сдержанных выражениях писала, чтобы бросал глупости, не подвергал ребёнка рискам, также говорила, что хочет

приехать помочь. Но он не верил, – не помочь она хочет, а забрать обратно Ионку. Оттого не отвечал, отмалчивался, очень боясь, что она заявится.

***

К удивлению, они с Вадимом не приехали ни в тот, ни на следующий день, ни через два. Назойливая тревога стала потихоньку отпускать, а то он всё представлял себе, как придётся вызывать полицию, силой удерживать малыша, как снова начнутся скандалы, кошмары и ужасы. Нет, было спокойно три дня, но наконец...

Ранним утром раздался тот самый звонок в дверь, которого он так боялся. Готовый оказывать сопротивление и звонить в службу спасения, он посмотрел в глазок. У порога стояли не Тамара и не Вадим, а две незнакомые женщины средних лет. На его вопрос они ответили, что их прислали из органов опеки для проверки. Он немного посомневался, но открыл, решив, что будет хуже, если их не впустить сразу. Попросил показать документы, внимательно изучил удостоверения, хотя от волнения ничего в них не понял, запомнил только одно имя, вежливо поинтересовался, что случилось.

С виду был спокоен, притворялся даже удивлённым, но внутри его трясло, и он лихорадочно соображал, что немедленно они, наверное, не могут Ионку забрать, а если всё же заберут, то не повезут в дом малютки, а к опекунам повезут, что ли? Женщины, не стесняясь, в упор его разглядывали, лицо старшей казалось неприятным, подозрительным, властным, было понятно, что она повидала в жизни многое, что обо всём имеет своё мнение, которое составит быстро, и ещё, что от неё многое зависит. Вторая, моложе, служила, скорее, помощницей, выглядела добрее и мягче. Он понял, что нужно оставаться максимально учтивым, доброжелательным и старательно прятать страх, который колотил бешеным сердцебиением и прошибал дрожью пальцев.

Старшая, Нина Сергеевна, объяснила, что на него написано заявление, в связи с которым необходимо осмотреть квартиру и ребёнка. Ионка сам вышел навстречу, он любил гостей. Когда она к малышу ласково обратилась и протянула руку, ему хотелось закричать, он чувствовал, что подкатывает паника, представлял, как они сейчас просто, без объяснений, возьмут сына и увезут.

Но, нет, объясняли они много и долго, быстро уходить не собирались, наоборот, исследовали каждый сантиметр пространства. По их виду и разговорам он решил, что всё не так уж плохо.

На его робкие попытки выяснить, в чём его, собственно, обвиняют, они ответили не сразу, сначала сами командовали и расспрашивали. О вредных привычках, о доходах, состоит ли на учёте в психоневрологическом диспансере, был ли судим, где работает, как физические ограничения влияют на способность одевать, мыть ребенка, обслуживать себя, проверяли все документы, которые были, требовали те, которых не было. Про малыша дотошно выясняли, какие сделаны прививки, чем болел, к какой привязан поликлинике, стоит ли на очереди в садик, что ест, во что играет, ходит ли на горшок, посещает ли развивающие занятия и ещё, ещё, ещё…

Отношение к нему было снисходительно-благожелательное, никто не давил, не запугивал, но вели себя строго, просили показать, как он меняет памперс, как моет Иону, как сажает в коляску, довольно критично смотрели на эти процессы, бестактно засекая время, словно они участвовали в развлекательном шоу. Он волновался, от этого всё выходило медленнее обычного, что-то выскальзывало из единственной руки, протез реагировал заторможено, Ионка вертелся, любопытничал, юлил.

Он зажимал его промеж коленок, придерживал подбородком, помогал себе ногами, демонстрируя чудеса ловкости, говорил, что и одной рукой, без протеза может менять подгузник, да и вообще малыш почти всегда сам просится на горшок. А уж с протезом он практически полноценный человек! Но получалось не особенно полноценно, главным образом, из-за тревоги, которая пожирала внутри. За годы инвалидности он многое научился делать при помощи рта и зубов, шеи и головы, пальцев ног, но показывать это, как в цирке, представлялось неудобным, боялся, что они не поймут, побрезгуют, фыркнут.

Боялся зря, они отнеслись, пожалуй, даже деликатно, просили не стесняться, действовать, как в обычной обстановке, он поверил, понемногу расслабился, дело пошло живее. Женщины обследовали каждый угол в квартире, проверяли содержимое шкафов, холодильника, заглядывали под кровати, включали пылесос и микроволновую печь, просили запустить стиральную машину. Что-то вносили в бумаги, что-то фотографировали. Казалось, они целый день намерены провести тут.

– Ну, вот что, – спустя пару с лишним часов вынесла официальный вердикт старшая. – Принципиальных угроз здоровью и жизни малыша я не вижу, оснований для немедленного изъятия ребенка нет. Нам, органам опеки, в суд обращаться я тоже смысла пока не вижу. Но хочу предупредить: вам и Ионе будет лучше, если вы мирно урегулируете конфликт с его дедушкой и бабушкой. Ваше жильё в плачевном состоянии, нуждается в капитальном ремонте, мебель жуткая, местами сломанная, проводка гнилая, кран подтекает, много старья в доме, вот смотрите, нож у вас на столе лежит, малыш может влезть на стул и дотянуться. Тут острые опасные углы, а он носится по комнате. Пыльно, качественная уборка отсутствует, есть признаки тараканов, старая электроплита, потенциально опасная. Указали, что не пьёте, а в холодильнике бутылка пива. Суп не сварен, ну, мы слышали, что вы вчера доели куриный бульон, но как вы это докажете? На сто процентов вы родительские обязанности выполнять не можете, поэтому увезти малыша от опекунов – хоть и ваше право пока, но этот поступок выльется тяжёлыми последствиями. Суд на вашей стороне не будет в такой ситуации. Вам тяжело ухаживать за малышом, готовить, убираться, доходы у вас минимальные, помощников нет, быстро исправить все недочеты в квартире, а их очень много, вы не можете. Опять же вы папа, а не мама, пап у нас в стране не жалуют. В заявлении они указали, что предлагают вам «гостевое отцовство», в вашем случае, это оптимальный вариант. Не могу спрогнозировать, лишит ли вас суд родительских прав, в целом оснований нет, но определённое ограничение на общение с ребёнком появится наверняка, и жить его с вами здесь при наличии здоровых дедушки, бабушки – опекунов, москвичей с хорошей квартирой, конечно, не оставят.

– А то, что они обратятся в суд, даже не сомневайтесь, – подхватила младшая, – настроены очень агрессивно по отношению к вам.

Оказывается, в заявлении Тамара и Вадим обвинили его во всех мыслимых и немыслимых грехах, бедах и болезнях, требовали немедленно отобрать Иону и лишить его родительских прав. По их словам, он и пьёт постоянно, и ребёнка бьёт, не следит за ним, обзывает, оставляет часами одного, лишает еды, страдает психическим расстройством, галлюцинациями, суицидальными наклонностями, а из-за отсутствующей руки не может вообще ничего делать по дому, тем более, ухаживать за малышом. Где-то там даже добавили, что он был косвенной причиной Олиной смерти. Он слушал и только глаза к небу мученически возводил. И недоумевал: за что? Что он такого ужасного им сделал? Что за эти два с половиной года с ними случилось?! Неужели Олина смерть так на них подействовала? Они даже верующие люди вроде, как могут так подло и истерично клеветать? А он-то считал их почти родными…

– Ну, вы же понимаете, вы же сами видите, что… – начал он.

– Видим, конечно, не первый год работаем, – уверила его Нина Сергеевна. – Не вы первые, бывает, что конфликтные соседи обольют людей помоями, пожалуются, напишут чёрт знает что, а приходишь на квартиру – обычная семья, нормальные дети. Но у вас тут всё намного сложнее, ситуация нетипичная и непростая, поэтому я вам рекомендую сегодня же соглашаться на компромисс с опекунами, мириться, а то суд вас жалеть не станет, уж вы мне поверьте, у вас и денег-то на юриста нет. Акт осмотра можете сфотографировать, заключение мы вам по почте пришлём. Тут всё написано, на что нужно обратить внимание, что в квартире исправить. Но… как вы это исправите? Кредит будете брать? Вам ведь няня нужна, по-честному-то. В общем, подумайте, в конце концов, они бабушка и дедушка, дочки лишились, малыша обожают, худой мир лучше войны, как говорится.

На этом они попрощались и ушли. Он шумно выдохнул, неизвестно почему сердце переполнилось радостью, возможно, из-за того, что люди попались нормальные, поняли, а

младшая даже посочувствовала, это было видно по выражению лица и по участливому тону. Она пообещала ему, что пришлёт информацию про социальный фонд, куда можно обратиться за материальной и психологической помощью. «Если бы они не были опекунами, то к вам бы постоянно соцработник приходил помогать, – сказала она. – А так… это еще добиться нужно. Ну, вы попробуйте обратиться в социалку, думаю, получится. Действительно, непросто вам. Но вы держитесь».

Он накормил Ионку бесхитростным обедом, уложил на тихий час. Да, совсем без помощников тяжело, на минуту не отойдёшь, боязно, что малыш ударится, что он его не удержит, что слишком сложно будет организовать быт так, чтобы одному управляться со всем, но… «Не боги горшки обжигают, – успокаивал он себя, – за Олей ухаживал же, часто оставались надолго вдвоем, и ничего!» Да и вообще, есть примеры, когда женщины и без обеих рук, и даже без ног рожали и воспитывали детей, и, между прочим, никто не отнимал их! И не где-то там в америках, а тут, у нас. Потом дети вырастали, рано становились самостоятельными и родителям помогали, – в интернете легко найти такие истории, они с Олей начитались и насмотрелись, когда узнали о беременности.

«Хватит сопли жевать, – ругал он себя. – Подумаешь, руки нет, дело какое. Подумаешь, не мама. Докажу, что и папа не лыком шит. Кредит, говорите? Значит, кредит. И ничего. Берут люди, и мы возьмём, подумаешь, – хорохорился он. – Напугали. Я и сам ещё в суд подам за такие обвинения. У вас-то дочку не отнимал никто, что же вы так бесчеловечно ведёте себя? Выдумали! Гостевое отцовство! А сами Ионке скажут, что отец отказался от него! И сын будет расти всю жизнь в недоверии и обидах, а вырастет – вообще навсегда забудет. Да и что это за визиты по расписанию, как в тюрьме! Вот сами пусть так и навещают – на выходных погулять…»

***

И он решил больше не думать, а только делать. И будь что будет. Тут же накинул куртку и пошёл в банк. И оформил кредит! Огромный, миллионный кредит! И даже ни чуточки не испугался! Боялся только, чтобы Ионка не проснулся, пока его нет, поэтому торопил сотрудников, подгонял банковского парня в беленькой рубашечке, забыв о приличиях и вежливости. Успел! Вернулся, поцеловал малыша, который как раз начал хныкать спросонья и сказал: «Ну, всё, мы теперь миллионеры!»

Остаток дня прошёл в трудах и трепыханиях, он нарочно занимал себя делами, ходил с Ионкой погулять, в магазин, варил суп, пылесосил. Разговорился ещё с соседкой по площадке, разулыбался, вылил на неё тонну позитива, рассказал, что вот, мол, переехал с сыном, заходите в гости. Ну, это чтобы было к кому обратиться, если что, – а то ведь он тут жил годами, даже не здоровался ни с кем. И всё время гнал беспокойные мысли, которые то и дело стучались, надеялся, что к ночи вымотается и спокойно уснёт.

Не получилось. Хотя поздним вечером малыш час провёл в капризах и криках, – это с ним частенько бывало и лишало сил больше, чем что-либо другое, – заснуть не удалось. Слова опеки о том, что Олины родители выиграют суд, так и лезли, так и жалили. «Можно строить из себя героя, но нужно быть реалистом, – шептал он. – Предположим, обустрою жильё, найду помощницу или няню, но достаточно ли этого? Инвалидность – аргумент серьезный, уж наверное, органы опеки знают, что говорят, зря пугать не станут. Жильё, видите ли, им не нравится! Будто у всех вокруг дворцы. Ну да, в Москве у дедов намного лучше квартира, кто же спорит? А ведь у Тамары каких-то знакомых полно, связей, она дела умеет обтяпывать. Напишут небылиц, наймут дорогого юриста, очернят, и как защищаться?..» При лучшем даже раскладе, если, например, суд согласится оставить ему Ионку, где гарантия, что однажды Вадим его не увезёт в неизвестном направлении, как они уже сделали однажды?

Сценарии один страшнее другого лезли в голову. Воображалось, как малыша отбирают силой, как тот кричит, вырывается; как грозный судья назначает его приходящим папой, а родственнички не разрешают видеться и в установленные часы (а ведь так и будет!); представлялось даже, что «заказывают» его искалечить и лишить второй руки, чтобы уж наверняка отнять сына, в общем, когда к глазам стала подступать знакомая тёмная пелена –

предвестник панической атаки, тут только он соизволил вспомнить, что он верующий и неплохо было бы помолиться, впервые за эти дни после побега. Взяв себя в руки, он начал бормотать вечернее правило, пришёл немного в чувство, стал на колени, а потом даже свечу зажёг, не для романтики, а так, чтобы не в полной темноте, но чтобы и свет не включать.

Закончил правило, добавил несколько любимых молитв, которые наизусть знал, даже вспомнил на греческом девяностый псалом, который заучил ещё на Кипре! Полегчало – и тогда он своими словами уже стал говорить, что на душе. Вышло примерно так: «Ты прости, что я своевольничаю, я может, неправ, не знаю, Тебе виднее. Может, нужно было соглашаться на их условия, не знаю я! Но неужели Твоя воля в том, чтобы мне дать сына, а потом лишить его?! Если можно, пусть он со мной останется! Я не знаю как, но знаю, что Ты всё можешь устроить, столько чудес было в жизни, я верю, что Ты сделаешь, как мне лучше и малышу. Я очень хочу, чтобы он остался со мной навсегда, чтобы я был его настоящим папой, а не эфемерным призраком. Но пусть будет, как Ты хочешь, по Твоей воле, Ты лучше знаешь, как правильно для нас обоих!» Тут хлынули слёзы, которых так давно не было на молитве, и знакомое, но давно потерянное нежное пламя в сердце ворвалось, – он стал благодарить за то, что есть и будет, потому что появилась надежда, что всё будет хорошо.

***

И он продолжил вершить «великие дела» без размышлений и сомнений. Будто никаких страхов не было, будто он знал, что стоит только приложить усилия, и ему обязательно помогут. Он быстро нашёл частных ремонтников за «приемлемые деньги», которые согласились самостоятельно закупить материалы и обновить квартиру под ключ за месяц. Он заказал на фабрике до наглости эффектную и функциональную мебель, которую должны были сделать тоже примерно через месяц. И, наконец, он забронировал недорогой тур в Грецию, чтобы увезти туда малыша на время ремонта.

Загранпаспорт Ионы он захватил при побеге – к счастью, все документы хранились в одной папке. Сыну он его сделал через год после рождения, так как собирался когда-нибудь слетать на Кипр, навестить крестника, покупаться в море и отдохнуть. Но визит не состоялся, а паспорт так и лежал без дела. Сейчас, после всего, что было с Дашей, он, конечно, и думать не мог поехать к ним. Единственное, что оставалось, это забыть как можно скорее её и Богослова, и даже крестника Елисея.

Чтобы наверняка не ошибиться с погодой на конец мая и начало июня, он выбрал южный Родос. Поручил турагенту оформить визы и купил удобный вместительный чемодан. Старался не думать, как будет отдавать кредит, потому что если об этом думать, то делать ничего не сможешь – решишь, не тратя, вернуть деньги обратно в банк. Словом, он сам толком не понял, как всё вокруг закрутилось, завертелось, а он с малышом оказался в Греции!

12

Это было волшебно! Холодный московский май, дождливая ветреная погода, переживания и нервы сменились солнцем, морем, радостью и, как ни странно, спокойствием. Спустя неделю он вообще перестал волноваться, отправил Тамаре фотографии с пляжного отдыха, чтобы не беспокоились, и дружелюбно написал, что Иона передаёт им с дедушкой привет. Исчезли зудящие мысли, тревоги, он сбежал от суеты, ужасов грядущего суда, пропали злобные фантазии о том, как их разлучают с сыном. Настоящее было всё здесь, в его руках, и он запрещал себе думать о том, что будет дальше, но зато стал молиться, как только мог, и его прошения, по сути, сводились к одному: «Спасибо, сейчас всё так хорошо, пусть так всё и останется».

Он хотел, конечно, отправиться в паломнический тур по святым местам острова, но с Ионой это было невозможно, поэтому единственная поездка, которую он предпринял, была в недействующий монастырь Филеримос на одноимённой горе. Там удалось погулять, территория оказалась большая, живописная, с кипарисовым и сосновым парком и с павлинами.

Про историю этого места он кратко прочитал заранее, а монастырская икона потрясла его завораживающей печальной отрешённостью. Её написал апостол Лука, а в Грецию она

попала благодаря монаху-отшельнику Филериму, который в 13 веке пришёл с нею из Иерусалима и построил церковь.

Ну, это так в рекламном экскурсионном буклете было написано просто «пришёл и построил церковь». А он, конечно, сразу озадачился: как это так, пришёл и построил? Вот он же, не может прийти просто так куда-то и возвести церковь?! Значит, там помощь какая-то оказывалась этому монаху, кто-то присоединился… Или же он в одиночку воздвигал её? А если в одиночку, то как?! Нигде не сказано об этом, как он строил, из чего, как долго, где доставал брёвна или кирпичи, как возил их, машины тогда ведь ещё не изобрели, где в это время находилась икона?.. Это же сколько дней и ночей труда, потов, молитв, и милость Божией Матери была там с ним, а он Её просил о помощи. Не описано, как он маялся тут на жаре, где еду добывал, на что жил, где средства брал, чтобы закупать необходимое. Пусть даже это небольшая часовня изначально была, но ведь и её выстроить, придя с одной иконой и мешком сухарей за плечами, невозможно – усилия нужны, специальные знания! Как-то всё это земное опускается, мало где подробно рассказывается, как именно день за днём, какими стараниями и подвигами возводился тот или иной храм. Просто пишут: «Явился монаху такой-то святой и сказал в его честь поставить храм. И этот монах, который другой будущий святой, его поставил. А как он его создавал, из чего, с кем, сколько – не указывается. Кстати, никто этого монаха Филерима к святым не причислил, такого имени нет в святцах даже. А почему? Может, он грешником был вообще? Строил, а сам грешил? Или просто ничего не осталось, ни мощей, ни свидетельств о нём? А может, он возьмёт, и как святой Ефрем Новый, явится спустя несколько столетий, да и сам о себе расскажет?! Это всё к вопросу о неизвестных святых. «Святой или несвятой Филерим, моли Бога о нас», – пробормотал он, подумав, что, наверное, иногда, как святым положено, этот неизвестный забытый монах тут возникает и какие-нибудь чудеса творит.

Потом, – теребил он буклет, – территорию расширили рыцари-госпитальеры, основавшие монастырь. При турецкой оккупации его разрушили, позже восстановили итальянцы и передали монахам-капуцинам. Тут тоже длинная, невероятная история…

Он представлял, пока они гуляли с Ионой по парку, как явился отряд на конях в чёрных туниках с белыми крестами, в железных шлемах, со щитами, мечами. Сначала никто не понял их намерений, ведь у ордена была не связанная вроде бы с Грецией миссия – помогать паломникам проникать в Иерусалим для поклонения великим святыням, а ещё лечить больных, кормить, провожать странников на Святую землю, защищать от грабителей и иноверцев. Но на Родос они пришли с прагматичной целью – остров освоить, так как на Кипре, где располагалась их «штаб-квартира», стало неудобно. И вот, откуда ни возьмись, возникают они, могучие чёрно-белые рыцари, сходят с галер, больше пехотинцы, но и на лошадях, наверное, частично, взбираются на гору, видят, полуразрушенная церковь стоит, а в ней икона Божией Матери. И они думают, что это знак! Реставрируют храм, расчищают территорию, делают кельи, хозяйственные помещения, основывают монастырь, предаются молитве... Тоже долгий процесс, тысячи вопросов, как, почему, зачем? Потом всё это рушится османами – в одночасье, как водится, тут-то легче вообразить: битвы, сражения, захват, грандиозное разорение и развалины. Про монахов-капуцинов он не успел представить, так как они с Ионой оказались у церкви.

– Монастыря тут теперь нет, а церковь есть, она одновременно и православная и католическая, – с умным видом объяснил он малышу, потому что тот уже в третий раз спросил, что там внутри. – А икону заменили копией, но если мы сильно захотим, то и в Черногорию поедем, где подлинник.

И вот они с Ионой зашли в храм к иконе. Внутри было темно, прохладно, таинственно. Он ожидал потрясения, восторга, какой-нибудь особенной молитвы, которую он будет пить огромными жадными глотками, пронизывающей блаженной боли, как в Махерасе, или даже чуда, откровения, но ничего не произошло. Просто потише и поспокойнее стало на душе. «И всё?» – уныло подумал он, почувствовав лёгкое разочарование. Помолиться сосредоточенно малыш, конечно, не дал, поэтому он пробормотал про себя наспех просьбу помочь ему во всех

путях, во всех судах, земных и небесных, и ринулся за удирающим из храма Ионой. Тёмный лик Божией Матери остался в сердце, запомнился, но нужного «настроя» добиться не удалось, с ребёнком было суетно, утомительно, прозаично, впрочем, по-детски весело и беззаботно. Серьёзным оставаться не получалось.

Он решил не относить этот опыт к паломническому, получалась обычная прогулка по парку, а фотографирование павлинов заняло куда больше времени, чем «забег» в храм. Но потом его всё же «пробило». Это произошло, когда они шли по солнечной кипарисовой дороге к огромному каменному кресту с другими туристами. Длина дороги, согласно преданию, была равна пути Господа на Голгофу, а на столбиках по пути изображались страдания Христа. И он невольно прослезился, пока по ней шёл. Затих даже малыш, который фантастически точно умел распознавать его настроение.

Он поклонялся рельефным изображениям страшного пути на казнь. И вдруг почувствовал какую-то тихую сосредоточенную тяжесть, словно сам волок огромный крест. Никогда он не задумывался ранее, что крест, несомый на Голгофу, был невероятно тяжёл, так, что едва возможно было идти, делая совсем маленькие шаги. Вот он вдруг ощутил это, и на миг стало трудно дышать.

Потом, и это было таинственно и странно, они с Ионой поднимались внутри огромного восемнадцатиметрового креста по узкой винтовой лестнице. С его вершины открывался вид на остров. Он был задумчив и ушёл в себя, малыш на некоторое время проникся его безмолвием, но потом закапризничал, и решено было возвращаться в отель.

***

В автобусе малыш уснул, а он ехал уже совсем в другом настроении, тихом, собранном, сосредоточенном. Ему представлялась икона, казалось, что это образ сверхчеловеческого страдания, что в ней скрыт ужас мгновенного познания смерти, познания зла, познания возможности отсутствия любви. И тут же он себя останавливал, и видел уже совсем другое – путь к прощению обидчиков, молитве за мучителей, любви к каждому человеку на земле, каким бы он ни был…

«Кто я вообще такой, чтобы рассуждать, – почувствовал он наконец жгучий стыд, – как всё легко мы это делаем, там, где не вправе грешной мыслью касаться… Все мы в такой грязи, куда там символы изобретать и искать смыслы…»

Поскольку икона относилась к типу Одигитрия, он снова попросил указать ему путь, как дальше быть, и понял, что остаётся только молиться за близких. После Ионы ближе Тамары и Вадима у него никого не было, и он всей душой искренне за них молился, пока ехал, просил мысленно у них прощения за нарушенный мир, и всё представлял тёмный, поразительно живой в своей неземной отрешённости и одновременно умиротворяющий лик Филермской Божией Матери.

И, как всегда бывает, мысли снова ушли в сторону, и он уже стал расшифровывать название места Φιλέρημος: «έρημος» – пустыня, «φίλε» – друг или любить, получается «друг пустыни» или «любящий пустыню», как-то так этого монаха звали, а потом уже и гору с монастырём. И, конечно, он неслучайно попал в это место – больше всего на свете ему нужна сейчас пустыня, где нет никого, ничего, только сын и он.

И снова он ворошил «смыслы» и не мог запретить себе думать. Вначале ему казалось, что образ посвящён святым-пустынникам, которые на долгие годы уходили в затвор, молчание, строжайшие посты, непрестанное молитвенное делание и созерцание, пребывали в другом мире, открывали непостижимые земному уму тайны.

А потом он вернулся к себе, и ему думалось, что икона отображает тот длинный печальный многолетний путь, когда пустыня внутри души, и ничего там не происходит, только страсти дают о себе знать, отчего становится стыдно, больно, тревожно. Когда нет радости, благодати, праздника, упоения, внутреннего полёта. Когда бредёшь долгой дорогой упрощённости, отупения, работы, сухости, и единственное, чего душа просит – тишины и покоя. А вместе приходит что-то отдалённо похожее на смирение, когда не ждёшь вообще ничего, когда вяло изо дня говоришь, думаешь, делаешь одно и то же и ещё более вяло

пытаешься в чём-то покаяться, и ощущается тихая, еле заметная тлеющая умиротворённая благодарность за самую обычную человеческую жизнь, без чуда, без неба, без высшей радости. За самую обычную Богом дарованную человеческую жизнь…

***

Вечером он возил Иону на коляске по дороге, где стояли в ряд отели, малыш вертел головой, радостно верещал, задавал вопросы, они вместе смеялись так громко, что заставляли улыбнуться прохожих. Было весело, беспечно, такие минуты выпадали редко, пролетали мгновенно, будто незамеченные ангелы.

Потом они сидели на закатном пляже, Иона подружился с черноволосой греческой девочкой лет пяти, они вместе играли в остывающий песок, ничуть не смущаясь тем, что говорят на разных языках. А его снова атаковали колючие размышления. С ним такое бывало часто, что одна какая-нибудь резкая мысль охватывала, поглощала, и приходилось послушно её думать. «Вот ты сам себя, взял бы в царство, и не Божие даже (какое там, где уж там!) а просто в некий справедливый и добрый мир, где нет зла, если бы, предположим, тебе это дали решать по совести? Пустил бы сам себя в некий «дом», где ждут людей добрых, тихих, уступчивых, мягких, милосердных, кротких, которые помогают, мирят других, не злорадствуют, и так далее? Нет? Да? И что тебе там делать?

Ты раздражаешься даже на малыша, не говоря уже об остальных, ты ноешь и ропщешь, ты до сих пор печалишься из-за того, что случилось с рукой, ты людей иногда ненавидишь, ты нетерпим, твой единственный выход – закрыть глаза и ничего, никого не видеть, тогда только получится ненадолго сохранить мир в душе. Ты охотно себе это прощаешь, потому что «все такие, жизнь такая»! И так далее, – ты же про грехи думаешь и себя немного знаешь. И что тебе там делать, с твоим тщеславием, завистью, гневливостью, нетерпимостью?? Тебя и там всё будет раздражать, и там найдёшь, кому завидовать и чем превозноситься, из-за чего злобствовать и даже что разрушать».

Действительно, такому неврастенику, как он, делать нечего там, не взял бы он сам себя, нет, тем более, сейчас… В первые-то церковные годы ему и потерянная рука бывала в радость. Он думал, что у него какой-то исключительный путь, восторгался всем вокруг, а особенно, конечно, собой и своими переживаниями, мечтал о некоей миссии, о подвиге даже, а теперь… Какой там «путь», стыд сплошной, а как «накроет», так и вовсе хочется исчезнуть. Он поститься не может без рыбы, он нервничает, когда приходится в толпе стоять в метро, он быстро устаёт, он нетерпеливо уходит из магазина, если слишком длинная очередь на кассу, вот такой у него великий «путь». Что-то из вредных привычек после женитьбы передалось ему от Оли, но он ведь тем более наделил её своими дурными наклонностями, так что были «в расчете».

«Мы же вот почему-то надеемся, – рассуждал он, – что вместе со смертью пороки наши куда-то денутся, а радость небесная наполнит. А если все пороки и страсти останутся, тогда что? И так, «во всей красе» предстанешь на Суд, как тот несчастный на брачный пир не переоделся. Вот и ты тоже – в трениках, потной засаленной футболке, старых кедах – и «на свадьбу». Там и увидишь себя как есть – поганеньким, противненьким, смердящим, с чёрной, как сажа, мелкой дрожащей душонкой, и уже всё, менять ничего не можешь…»

«А ещё! А ещё жуткая меркантильность, вот что ещё!» – перескочил он, совсем как Елисей в былые времена. Он иногда думал по-елисеевски. Вспомнит его и представляет, что он сказал бы. А иногда чувствовал, что Елисей его размышления понимает, принимает…

Вот, если он что-то делает, скажем так, не очень мирское, то это ведь не от любви, а для собственного комфорта. Чтобы на душе стало спокойнее, радостнее. А стал бы он, предположим, в храм приходить, если бы ему там плохо делалось? Просто потому что «так надо»? Если бы он мучился там, или если бы после церкви на душе грустно было? Да не стал бы! Да с чего бы? Нет. Говорят, есть люди, которым почему-то в храме плохо делается. Вот, наверное, они в храм никогда не заходят. Потому что странно идти, если скучно, если, как бревно, стоишь, или если воротит от этого. А он идёт меркантильно, потому что ему хорошо, ну, или чуть позже, после службы станет хорошо, так тоже бывает, но он уж точно знает, что

станет. А если бы он к тем людям, кому там плохо, относился, получается, он бы в церковь ни ногой?! Стал бы он биться, стараться, ну, несколько месяцев хотя бы, заставляя себя понять, что эти сумасшедшие верующие находят такого прекрасного в заунывных песнопениях среди свечек, древних облачений, стоя в толпе одинаково занудных прихожан? «Как же, делать нечего мне больше, – обличал он себя. – Пару раз бы помучился и забыл навсегда, решив, что они тронутые. Ну, а поскольку хорошо, то, конечно! Давай, Господи, делай мне хорошо, а я, так и быть, драгоценное время уделю. Но не Тебе, а себе! Как душу на курорт свозить. А если бы, например, за посещение церкви нужно было платить в обязательном порядке, то количество визитов зависело бы от суммы, например, если бы дорого, уже бы экономил на получении спокойствия и радости, – хватает всё равно ненадолго, а жить потом как-то надо, – истязал он себя жуткими догадками. – И охлаждение к молитве отсюда же. Раз ушла радость, тихий свет внутренний, так что и стараться? Побормотал, покрестился, выю преклонил, вроде как для приличия, и пошёл завтракать, потому что завтракать в данном случае приятнее. Между прочим, очень прагматичный подход получается, это разве к вере имеет отношение? Нет, это лечебные процедуры, поиск удовольствий и любовь к себе... Это чудовищно, я чудовище, кошмарный кошмар и позорный стыд…»

***

Поздно вечером, когда малыш уснул, он решил вдруг написать старику. От него пришло за это время несколько писем, где тот недоумевал, почему общение прекратилось. Последнее послание было жалостливое и страшное, он прослезился, когда читал. Елеазару приходилось совсем туго, его лишали положенных лекарств, не позволяли лежать в кровати, а он уже на ногах не мог держаться, и никто из сокамерников не помогал.

Не смотря ни на что, старика снова стало жаль – нельзя издеваться над беззащитным. Кроме того, осуждение своё он унял, уверившись после падения с Дашей, что сам ничем не лучше. Решил, что не ему судить, и неизвестно ещё, смог бы он справиться с подобной извращённой страстью на месте старика, если бы она овладела им? Наверно нет, а значит, осуждая его, он и себя осуждает. А что с ним было бы, если бы он сам в секту угодил? Там люди теряют разум, попадают под влияние тёмных сил, даже не догадываясь об этом. И с ним это могло бы случиться! Может, «сиятельный граф» вовсе не так виноват, как кажется? Особенно в письме ужаснуло, что Елеазару «добрые люди» в тюрьме посоветовали выколоть себе глаза! Якобы это сулило не только снисхождение блюстителей режима, но даже досрочное освобождение.

В ответном письме, кроме слов поддержки, просьб не калечить себя и не слушать рекомендации людей, которые осознанно идут путём зла, он обрисовал кратко историю ссоры с родителями Оли, побег с Ионой сначала в Подмосковье, а потом в Грецию. Повинился за долгое молчание, сославшись на занятость. Упомянул, что грядёт суд, излил даже свои опасения, что сына могут отобрать и сделать его «папой на час». Пока писал, разволновался и решил, что не с Елеазаром нужно обсуждать этот вопрос, а всё-таки с ними. Ещё и ещё! Снова и снова!

Отправил письмо и тут же позвонил Тамаре. Извинился, что поздно, горячо стал говорить то, что изначально должен был сказать. Что он очень перед ними виноват. Что он не сдерживал свой скверный характер, что не хотел ссориться, нарушать мир, и тем более «делить» Иону. Что он просит его простить, что после Ионы ближе и роднее людей у него нет. Что он им бесконечно благодарен за то, что они ему дали, что они ему очень помогли в жизни, что он их любит и уважает, как собственных родителей. Что и он хочет для малыша только самого лучшего и сделает всё, что сможет. Что сын – это смысл его жизни, что это воплощение их с Олей любви. Что он готов вернуться с Ионой к ним и быть другим, помогать, сдерживаться, молчать. Или что малыш останется у него в Подмосковье, и он будет сам привозить его в гости на выходные. Что он умоляет их договориться мирно, ради Ионы, ради того, чтобы ребёнок чувствовал любовь людей вокруг, а не вражду.

– Всё это эйфория и лирика, – отрезала Тамара, и он узнал в ней Олину категоричность. – Ты там что-то опять нафантазировал на курортах и пытаешься нам навязать свои правила.

Эти твои просьбы простить – детский сад какой-то. В жизни так не бывает, чтобы поплакал, и всё волшебным образом наладилось. Я понимаю, с этой поездкой у тебя быстро закончатся деньги, и тебе просто некуда будет деваться, когда вы вернётесь. Мы не против, чтобы ты приезжал, иногда ночевал у нас. Но оставлять жить постороннего человека у себя в квартире мы не можем. Да, ради Олиного счастья мы тебе помогали, готовы помогать и дальше, но только, сохраняя известную дистанцию. Пока я не слышу от тебя никакого варианта, который бы всех устроил. Может быть, суд такой вариант найдет, не знаю.

– Давайте поищем вместе, давайте найдём компромисс, способ мирно договориться, не доводя до суда, до абсурда, – умолял он. – Может, нам с Ионой снять квартиру где-нибудь недалеко от вас? Неужели вы думаете, что Оле понравился бы ваш вариант с гостевым папой?

– Да ты понятия не имеешь, что понравилось бы Оле! Ты ничего о ней не знаешь, ты не рожал и не растил её двадцать с лишним лет, не поднимал нечеловеческими силами из инвалидной коляски! – взвилась Тамара. – Не смей вообще говорить о ней! А договариваться мирно – это не значит принимать твои условия, – уже спокойнее продолжала она. – И ты как-то удивительно упускаешь из виду, что ребёнок родной не только тебе, что это Олин сын, который для нас дороже всего на свете, что это единственный человек на земле, ради кого нам теперь хочется жить. У тебя, может, ещё будут дети, а у нас уже никогда! Никто не собирается его травмировать и лишать отца. Но, живя в Москве, у него элементарно будет больше возможностей для развития, для образования, для здоровья! Ты эгоист и думаешь только о своём счастье, а не о счастье ребёнка! Не обижайся, но исковое заявление уже подано, и решать, кто прав, будет суд!

На этом разговор был окончен. Ну да, чудес не бывает. Он не святой, чтобы мог убеждать, что-то менять в этой жизни. И никакая Греция его не спасёт. Сам виноват, сам и отвечать должен. Снова он вспомнил, как роптал, в каком ужасе был, когда узнал про беременность Оли, как не желал и боялся изначально собственного ребёнка, – хотелось умереть со стыда. А сколько потом с ними спорил, не сдерживался, что-то отстаивал. Вот и не сохранил мир. «Матерь Божия, помоги мне, – прошептал он. – Если не Ты, то кто мне поможет? Но пусть всё будет по воле Божией. Я, наверное, чего-то не понимаю. Пусть будет суд, пусть всё сложится, как угодно Богу, не мне, и не им, а так, как правильно, как должно быть».

После этого он ушёл в меланхоличную пустоту, мыслей долго не было, чувств тоже. «Пустыня», – усмехнулся он и даже немного обрадовался. Без мыслей легче, чем с ними. Обиды он не ощущал вообще, вернулась некоторая тревожность, но больше овладело равнодушие – будь, что будет. Всё, что он мог, он сделал.

***

Быстро лёг спать, решив, что заснуть сейчас – самое разумное, пока он в прострации, в этом тихом и печальном «ничто». Но когда погасил свет, мысли накинулись, как стая изголодавшихся волков. Он ворочался и не мог с ними совладать. Пытался молиться, злился, крутился. «Ладно, рука, но теперь у меня хотят вырвать сердце, как кусок мяса, саму душу, лишить уже совсем всего!» – метался он. Наконец плюнул, открыл бутылку узо, которую купил Вадиму в подарок, хлопнул разом полстакана, потом хлопнул ещё, зажевал куском хлеба и стал наконец успокаиваться.

Под утро приснился сон, будто его сын уже довольно большой, отрок лет двенадцати. Иона лежит в реанимации, мертвенно-белый, неподвижный, худой, а они втроём собрались у его постели, и всё продолжают о чём-то спорить, делить, тихо переругиваются… Тут же, откуда ни возьмись, появляется маленький толстенький врач в очках и с премудрым видом объясняет: «Понимаете, во чреве кита человек не может находиться физически три дня и остаться в живых, вы напрасно надеетесь, надеяться тут не на что, так не бывает!»

Он проснулся с больной головой, кинулся к мирно дрыхнущему малышу, выдохнул с облегчением, заварил кофе, глотнул... «Мы все что-то делаем неправильно, и я, и они, все мы. Должна быть Оля, мама должна быть! Но нет её… А тут что-то у нас не складывается! Неправы все! Все неправы! Во всём неправы! И даже в молитве я неправ, во всём неправ! Тут что-то другое. Надо нам всем поваландаться трое суток во чреве, надо во ад сойти, как Лазарь, вот

что-то такое надо, чтобы протрезветь, чтобы вести себя нормально, а не кривляться и не карикатурничать. Всё это как-то не по-настоящему, пародия на жизнь!» Он бы долго ещё умничал, если бы, вероятно, разбуженный его громкими мыслями, не заболтал и не захлопал огромными голубыми глазами сын.

***

До конца отпуска оставалось четыре дня. Ремонтники известили, что дело движется к завершению, по приезду жить будет можно – лишь закончить сущие пустяки. Мебельщики доложили, что всё готово, согласовали день доставки и сборки. А от соседки поступило сообщение, что ему пришло заказное судебное письмо. Собственно, он ждал этого, но передёрнуло, неужели так скоро? Он-то читал в интернете, что российские суды работают вяло и медленно. Кредитных денег на счету было уже немного, каких-либо интересных идей о том, как жить и зарабатывать дальше, во время отдыха не появилось…

Иона весь отпуск упрашивал покатать его «на кораблике», и он решился наконец на непродолжительное путешествие. Набралось десятка два желающих, некоторые были с детьми. Из-за культи, которой он поначалу смущал людей на пляже, его теперь узнавали, – на простенькой яхте с ними оказалась семейная пара с шестилетним сыном из их отеля, с ними он успел познакомиться, мальчик охотно играл с Ионой, позволяя взрослым передохнуть. И вот, они, взяв за компанию Иону, пошли пообщаться с капитаном и сфотографироваться у штурвала, а его в это время отвлёк телефонный звонок. Он хотел было сбросить незнакомый номер, но что-то побудило его ответить.

И тут как током ударило. Он узнал этот далёкий удивительный голос сразу и обмер. Ему звонила та самая загадочная женщина, мать Елисея. Он разговаривал с ней лишь однажды, много лет назад, когда звонил с Кипра. Узнал тогда о смерти её сына и своего единственного на тот момент друга, не нашел нужных слов, убито молчал, а она неторопливо и тихо рассказывала о последних тяжёлых днях. Впрочем, тяжело было только ей, Елисей ушёл легко, без мук, тихо, даже не приходя в сознание.

Позже он видел её на венчании, потом ходили безумные слухи о её свадьбе с Дашиным дедом. Теперь же она, откуда-то зная обо всей истории вокруг Ионы, неожиданно сказала, что хочет ему помочь. Он, впрочем, тут же сообразил. О распрях с Олиными родителями он недавно написал старику в тюрьму. Электронные письма доходили мгновенно, а она ведь тоже поддерживала с Елеазаром связь, видимо, он передал ей... Номер телефона, вероятно, она взяла у Богослова с Дашей, больше не у кого. Значит, они тоже теперь про него всё знают…

– Вам нужен хороший юрист, – увещевала она. – Услуги стоят дорого, но иначе у вас ничего не получится. Я перечислю вам немного денег, если вы не возражаете. Потом, как сможете, отдадите. За сына нужно бороться…

Разговор вышел короткий, сумбурный. Он совершенно растерялся, застеснялся, что-то бормотал протестно-благодарственное: «что вы, это неудобно, спасибо, но… мне неловко…» и ещё какую-то чепуху.

Сумма, которая вскоре после разговора пришла к нему на карту, его ошарашила. Она с лихвой покрывала кредит, и оставалось ещё на несколько месяцев спокойной жизни.

Ему подобные деньги никогда в жизни и не снились, казалось, что это фантастика, сказка, что этого просто не может быть. Откуда у неё они могли быть, да ещё чтобы преспокойно отдать их незнакомому, по сути, человеку? Чем он заслужил такое великодушие? Она и Ионку-то не видела, да и его только мельком. С Елисеем он не успел даже близко подружиться, хотя очень полюбил его, и часто советовался с ним про себя уже после его смерти. Если у неё были деньги, почему она не выбрала для сына лучшую клинику? Да нет же, они жили в скромной квартире, она работала проводником поезда, она, в отличие от старика, вроде бы не была тайной герцогиней или неизвестной принцессой. Значит, она позже разбогатела, но как? А вдруг правдой оказались байки про Елеазара, что у него есть несметные сокровища? Но это же чушь…

В голове шумело, эмоции переполняли. Он беспрерывно благодарил Божию Матерь, не верил, что это наяву, и уж точно ничего не понимал. А ещё говорят, что чудес не бывает! Или

что деньги с неба не падают! Ощущение таинственности, мистичности происходящего его не покидало до ночи, он не мог прийти в себя от удивления и радости.

По прибытию с морской прогулки (от которой он абсолютно никаких яхтенных фотографий и впечатлений не сохранил) новые знакомые решили идти в игровую комнату отеля, и с его разрешения забрали с собой Иону. Он же, оставшись в одиночестве, бродил по номеру, шептал, бормотал, размахивал рукой, падал на колени, целовал икону, плакал, а потом от восторга прыгал, в общем, не знал, что делать от такого непостижимого, невесть откуда взявшегося счастья. Ему виделось в этом спасение всего, провидение, указание, как быть дальше, бесконечная забота, поддержка и любовь свыше. Изумление, трепет, восторг, благодарность, – всё это так переполняло, что он опасался в обморок грохнуться или провалиться в иное какое-то состояние, из которого трудно будет выбраться.

Боялся он только наступления ночи, потому что знал, что непременно в голову полезут ужасные мысли. Например, про то, что эти несметные сокровища, невесть откуда упавшие на таинственную женщину, принадлежат всё же старику. Что Даша ничего не знает, а они успели-таки пожениться, имея при этом какую-нибудь грязную запретную цель. Что она ещё раньше попала под его влияние, так же, как и Даша, когда Елеазар щеголял красавчиком по демоническим сеансам. И что с ней, конечно же, тоже «всё было», а Дашу, естественно, никто не посвящал, с чего бы? И что деньги это какие-то «нечистые» – страшные, греховные, может быть, кровавые даже деньги, коих нельзя касаться, и приведут они в погибель. И поэтому нужно, пока не поздно, их вернуть, а то обернётся дело совсем уж какой-нибудь катастрофой. Вот таких он ждал мыслей и старался их отодвинуть подальше, так прямо и говоря себе: «Нас это не касается, думать об этом не собираюсь!»

На удивление, ночью он смог сдержать подобные гнусные рассуждения, ловко парировав первые попытки его атаковать: «Не такой я дурак, чтобы в нашей ситуации от этих денег отказываться! Когда они, как воздух и как хлеб, нужны! Пусть они хоть после ограбления и убийства, а не то что блудодеяния и сект. Мне их дали и точка, и всё, и знать больше ничего не хочу!! И тьфу на вас!» Помыслы, ошалев, от такой наглости, притихли и больше не донимали, а он даже уснул им назло, хоть и был уверен, что прободрствует до утра.

13

В Москве он первым делом зашёл к соседке забрать письмо. Оказалось, до страшной даты ещё почти полтора месяца. А он-то представлял, что, едва вернувшись, вынужден будет ехать судиться. Ремонт затянулся, так как подвели поставщики с доставкой материалов, пришлось отвезти малыша к дедушке с бабушкой на несколько дней. Его встретили с поджатыми губами, забрали Иону и молча выпроводили. Он, увидев подчёркнуто холодный прием, перестал изливать позитив и замолчал – не хотят мириться – их дело, всё уже было сказано, добавить нечего.

Юрист, которого ему порекомендовали друзья, сохранившиеся со времён универа, действительно, стоил дорого, во всяком случае, он представить не мог таких заработков для себя, нужно было умножать на десять как минимум. Но работать правозащитник Гурам умел! За несколько дней он развёл бурную деятельность, дождался, пока квартира обрела достойный вид и новенькую мебель, погнал его в три шеи за кипой медицинских документов, подтверждающих способность обслуживать себя и ребёнка, назначил дополнительную экспертизу, которая подтверждала, что рука хоть и одна, но вкупе с протезом надёжна, как две. Добился специализированного заключения о том, что никаких психических отклонений, препятствующих воспитанию сына, он не имеет. Велел хотя бы на время судебного процесса нанять няню-помощницу, затем помог «вызволить» Иону от дедов (те, впрочем, особенно не сопротивлялись, уверенные, что скоро внук навсегда поселится у них).

Далее было ещё увлекательнее. Юрист привёл телевизионщиков, которые снимали сюжет про то, как ловко он справляется одной правой с Ионкой, а он и правда, заряженный его уверенностью, с проворством фокусника демонстрировал всевозможные трюки. Вскоре по

нескольким каналам прошёл репортаж с душераздирающими комментариями о том, как у дееспособного папы-инвалида пытаются отнять малыша через суд.

Он не хотел всего этого, но Гурам мгновенно пресекал любое нытьё, говоря: «Нужно привлекать общественность, дело должно быть громким!» В итоге его заставили дать интервью двум известным медиаперсонам, сняться с коротким рассказом о себе на православном телеканале, да ещё и завести собственный блог в интернете, где нужно было выкладывать видео о его житии-бытии с малышом, а кроме того, ворошить историю любви и семьи с Олей, выставляя фото, что было уже совсем тяжело. В душе всё протестовало такому внедрению в его личное пространство, но юрист, безусловно, понимал, куда и зачем они идут.

Вскоре он стал получать добровольные пожертвования от людей, которые хотели его поддержать. Он не знал этих премудростей современной жизни, слова «донаты», особенностей интернет-постов и видео, – вникать приходилось уже в процессе. Радоваться доброте, сочувствию, помощи, как и мучиться от насмешек, злорадства и негативных комментариев, которые на него также ни с того ни с сего полились из сети, было некогда. Его подгоняли, подхлёстывали, и он покорно исполнял приказы всеведущего Гурама, который стремительно вытряхивал из него чудом дарованные «филеримские», как он называл их, деньги, но с другой стороны быстро восполнял его финансовые запасы за счёт неравнодушных людей, которые с интересом, как на реалити-шоу, ждали результатов судебного процесса.

Больше всего ему хотелось снова уехать в Грецию, забиться на какой-нибудь крохотный жаркий островок с маленьким монастырём, где подвизаются 2-3 монаха, жить в аскезе, заботиться о малыше, а главное поскорее забыть про этот ужас, когда ты, твой ребёнок, твоя прошлая и настоящая жизнь постоянно на виду, когда тебя делают героем безумного сериала. Он молился перед привезённой с Родоса иконой и бормотал: «Отправь нас в пустыню, где не будет никого и ничего подобного…»

И теперь иногда он думал про «свой» Филеримос – что это не просто человеческая жизнь, где много проблем и нет благодати. А когда в пустыне маешься и через это получаешь радость. Когда болеешь, например, телесно, ну пусть гриппом, и температура, и ломает всего, и в этот момент в душе наконец что-то правильное водворяется, освобождение. Но это самое простое, это как подарок свыше. А сложнее пустыня – это потерпеть, когда тебя унижают, грязью поливают, смеются. А ты помучился, потрепыхался, поплакал, – и вдруг в вакууме, в таком безлюдье, в таком прекрасном отстранении. И уже ни слов, ни поддержки не нужно, ни опаляющего счастья, а только сама эта пустыня, и незаметная тишайшая радость, от того что ты совсем один, и никого нет, и свобода. А они все где-то там, далеко, не тут. А тут, в пустыне… ну, может, верблюды только, но и то какие-нибудь прозрачные, которые все прошли через игольное ухо без препятствий. Тогда он улыбался и чувствовал себя сносно, где-то в глубине души теплилась уверенность, что всё идет, как надо, и испытания скоро закончатся.

***

Всего состоялось пять судебных заседаний, процесс вместе с апелляцией завершился через одиннадцать месяцев в его пользу. Дедушке и бабушке было предоставлено право общаться с малышом двадцать четыре часа в неделю, или дольше – при взаимном согласии сторон. Гурам и друзья шумно поздравляли его, приходили тёплые слова и из сети от незнакомых людей, при этом все как один говорили – несказанно, фантастически повезло, что он так быстро отделался. Юрист постоянно предостерегал, что процесс может растянуться на несколько лет, нужно быть готовым к длительной стойкой борьбе.

Ему мало что запомнилось в этой кутерьме и круговерти, которая длилась по его ощущениям целую вечность. Грубой шуткой казались слова, что почти целый год для судебного разбирательства – срок смехотворный и ничтожный, даже после признаний старика, что он провёл в СИЗО более трех лет, пока велось его дело. Представлялось, что это некая другая жизнь, не его и не про него, что его заставили сниматься в чуждом по смыслу и форме фильме, навязав абсолютно неподходящую роль. Было суетно, нервно, неуютно, каждый день хотелось скрыться, бежать.

Потом он урывками вспоминал нервные тягостные заседания: уничижающие оценки его состояния и жизни, изумлённые глаза работников органов опеки, ядовитые финальные слова Тамары в коридоре о «выродке, навязавшемся на их голову», яростные нападки и обвинения со стороны другого юриста, которого пригласил Вадим, равнодушного и невозмутимого судью, которому, кажется, вообще было наплевать, что вокруг происходит, – он искренне боялся, что тот вовсе не слушает Гурама.

Иногда, впрочем, судья выдавал столь мелкие и коварные придирки, что становилось понятно – он слышит, да только понимает всё так, как нужно ему. На первом заседании, например, Гурам предоставил результаты экспертизы, где в подведённом итоге говорилось, что он может с вероятностью на 97% полностью выполнять обязанности отца по отношению к малышу. Тут «уважаемый суд» вдруг встрепенулся, будто очнулся от глубоко сна, насмешливо уничтожающе посмотрел на него и грозно вопросил:

– А на три процента?!

– Что, на три процента? – пролепетал он.

– 97 процентов вероятность, что может, а три процента?!! – громогласно рявкнул судья. Он хотел робко выразить недоумение, но его перебил юрист:

– Мы уточним у эксперта про три процента и выдадим новое заключение! – при этом Гурам строго глянул на него, и он вспомнил строжайший наказ молчать, как бы судья его ни провоцировал.

Единственная мысль, которая несколько подбадривала, была о Страшном суде. «Там хоть не будет такой тягомотины, возни с бумажками, бюрократии, – думал он. – Всё свершится мгновенно, мучить не станут, переливая из пустого в порожнее, городя лютую чушь и отцеживая комара. Окинут тебя ясным взором: «Иди-ка ты в ад, голубчик». Грехи сразу как на ладони предъявят, и с ними вместе провалишься в преисподнюю, – благодать да и только! Пройдя такую подготовку на земле, пожалуй, всему научишься радоваться, и Страшный суд будет сродни детскому дню рождения». А там, в аду… Очень кстати попались слова Исаака Сирского: «Для верующего человека любовь к Богу – достаточное утешение и при погибели его».

***

Где-то в середине долгого выматывавшего нервы судебного дела вдруг объявилась она! Но отнюдь не мама Елисея, а его первая женщина, которая пинками помогала ему «включаться в реальность» после детского дома, сделав при этом своим безвольным рабом, чему он, будучи мямлей, не мог и не хотел сопротивляться. Он вспомнил, как их пути разошлись на Кипре, как они потом вместе вернулись в Россию на похороны её матери.

Внезапно позвонив после многолетней паузы, она поведала, что увидела репортаж по телевизору, а потом нашла его канал в сети. Прокомментировала иронично со свойственной ей странной логикой: «Ты теперь герой! Всадник без головы!» – и расхохоталась басом. Он, не зная почему, обрадовался.

Всё же он был ей благодарен, ведь она учила его существовать, сам бы он после жуткого сиротского детства не выплыл. Он тогда понятия не имел, как живут люди, как устраиваются на работу, как платят за квартиру, как готовят еду. Этого им в «казённом доме» не показывали. А она его брала за шкирку и встряхивала хорошенько, как кутёнка, тогда он начинал выходить из состояния сонного отупения, где фантазии смешивались с действительностью, и непонятно было, где настоящее, а где выдумка. Сейчас она говорила по телефону как-то иначе – приличнее и сдержаннее, что ли, чем раньше. Решили встретиться.

Каково же было его изумление, когда в кафе приехала разряженная дама, которую он с трудом узнал. Раньше она была другой – одевалась кое-как, резко грубо выражалась, не стеснялась плюнуть или громко высморкаться, небрежно и равнодушно относилась ко всему, кроме денег, много пила и курила, хамила всегда и везде, а его помоями обливала и ругала на чём свет стоит, гоняла, как бобика, на любые заработки, не чуждаясь авантюрами или противозаконными мероприятиями. Тогда это легко терпелось, после детского дома он пребывал в состоянии дурного опустошённого равнодушия, был привыкшим ко всему, в том

числе к беспросветной наглости и помыканиям, безразлично подчинялся её командам, как выдрессированный, голодом заморенный пёс. Любви он к ней не чувствовал, но благодарность да, отчасти она во взрослом возрасте заменила ему мать...

Теперь же перед ним была броско одетая молодящаяся женщина лет пятидесяти, толстая, румяная, но не расползающаяся от жира и залежей внутренней саркастичности, как прежде. Он вспоминал её редко, думал, что она, вероятно, так и живёт одна, пьянствует в компании мужиков, возможно, попала в воровскую шайку, ну, или мирно устроилась кассиршей в супермаркет и, заведя десяток кошек, проводит выходные за бутылкой пива и просмотром бандитских сериалов. Её нынешний вид удивлял. Он плохо разбирался в таких вещах, но понял, что на ней дорогая одежда, что-то модное, и что-то даже со вкусом подобранное. Да и сама она подобралась, вела себя цивилизованнее и уравновешеннее, чем раньше. Деловитой и активной она была всегда, но сейчас это обрело какой-то официальный отрепетированный стиль, будто она где-то выучилась и работала на солидной должности. Не успел он рта раскрыть для комплимента и последующего вопроса (любопытство одолевало), как она сказала примерно то же:

– Да, причесали тебя! Видно, что теперь вышколенный, – и расхохоталась. – В юности был совсем поросёнок.

Вроде мелочь, а его и это кольнуло. «Вот же, больное самолюбие», – успел отметить он очередное шевеление внутреннего болотца. По-честному-то, тогда был поросёнок, а теперь большой свин, и вообще там внутри Генисаретское озеро, где дохлые кабаны барахтаются и хрюкают. Этого он ей, конечно, не стал рассказывать. А взамен элегантно иронично ответил:

– Ну, «юность ушедшая все же бессмертна», – и усмехнулся, так снисходительно, по-взрослому. – Как раз думал недавно... Сорок лет – странный возраст, когда человека не прощают. В детстве прощают всё, в юности тоже многое, много прощают людям в старости. А сейчас нет. Это, наверно, считается такой зрелый период в жизни, когда нельзя ошибаться. И сейчас, если ошибся, не простят. Сразу отвернутся.

– О, да ты и говорить научился! – усмехнулась она. – Раньше только молчал и мечтал.

– И сейчас мечтаю, – грустно констатировал он. – Например, сегодня представлял, каким буду в старости. Наверное, совсем мерзким… – он, и правда, с утра оказался во власти жутковатых размышлений на тему: «А вдруг я буду умирать долго и противно? Нередко ведь прекрасный и сильный когда-то человек перед смертью превращается в жалкое, прогоркшее, скрюченное, вызывающее отвращение, беспомощное существо, которому уже не до поиска «смыслов», не до любви, молитв и внутренних полётов. Много в жизни уродливого, грубого, непонятного. И неизвестно, удастся ли умереть как-то посимпатичнее...» – Кто-нибудь говорил из писателей, что иногда старость человека – это чудовищная, кошмарная карикатура на него в молодости? Если не говорил, то должен был сказать, – он понял, что рисуется, хочет зачем-то произвести на неё впечатление и тут же заткнулся. – Извини, что-то я разболтался. Ты-то как? – поспешил он перейти на более безопасную тему.

– А я стареть не собираюсь, – прямодушно хохотнула она. – Как и играть в ваши религии. Все там у вас бубёно-замудрёно, а жизнь мимо. Нет, не особо ты изменился, такой же зануда. И ребёнка у тебя вот-вот отымут! И поделом тебе!

Тогда до результатов суда было ещё далеко, и он тут же пожалел, что пришёл на это «свидание». Всё-таки он не любил, когда его жёстко скалкой колотили по загривку.

– И от правды по-прежнему шарахаешься, – продолжала резать по живому она. – Что, съел? Думал, пожалеть тебя пришла? – снова расхохоталась она его растерянному и испуганному виду. – Так и есть, пожалеть и пришла, – вдруг широко улыбнулась, и он не ожидал от неё такой искренней добродушной улыбки. Только сейчас он подумал, что, по сути, никогда не знал её. Раньше она была грозным начальником, а он робким подчинённым. А что робкий подчинённый может знать о грозном начальнике? Разве что предвидеть, когда он рассвирепеет ещё сильнее и стараться этот момент предотвратить… – Есть работёнка для тебя, – продолжала она. – Да не пугайся, не браконьерничать! – он тут же вспомнил сети с мёртвой склизкой рыбой и внутренне вздрогнул.

К счастью, её предложение оказалось нестрашным и даже заманчивым. Выяснилось, что она является администратором некоего артиста, пока неизвестного, но который становится всё популярнее, и ему пророчат отличную карьеру.

– Лет на десять его ещё хватит, – уверяла она. – Голос хороший, сильный, – и она показала на смартфоне видео юного красавца, который задушевно пел что-то вроде романса. Удивительно! Он был уверен, что она может работать лишь при каком-нибудь лохматом бездарном претенциозном выступальщике с крашеными бровями, который однообразно бренчит и блеет что-то пошлое, но этот парень производил впечатление приятное, выглядел достойно, голос у него был проникновенный, да и песня ему понравилась. Поразительно, что она попала к нему в штат. Недавно выяснилось, что она не успевает справляться со всеми обязанностями, и ей нужен помощник. Личный директор этого певца предоставил ей самой поиск и выбор. – Естественно, я о тебе давно думать забыла, – откровенно призналась она. – И вдруг случайно, щёлкаю каналами, смотрю, морда знакомая. Я и не сразу вспомнила, потом думаю, батюшки! Ну, узнала про твои суды, в интернете полистала. И вот, решила предложить. Деньги хорошие, они тебе сильно нужны сейчас. Я представляю, сколько юристы стоят, последние штаны снимут, не постесняются.

Он в который раз за последнее время поразился тому, как плохо знает людей. Никогда бы вообразить не смог, что она станет такой, – приличной дамой, менеджером при талантливом певце, да ещё в трудный момент предложит ему работу. Особенно понравилось то, что начать испытательный срок можно из дома, и график будет относительно свободный, как он хотел. Поскольку для начала никакого официального оформления не требовалось, а предлагалось только попробовать – вести переговоры по телефону, рассылать письма, приглашения, заниматься рекламой, редактировать фото, и лишь иногда выезжать для личных встреч (а на этот случай существовала няня), то он и не раздумывал – согласился сходу и долго благодарил.

Так среди судов и общения с юристом у него появилась ещё и новая работа, которая оказалась вполне посильной. Он решил, что если дело пойдет, то можно будет, «догуляв» отпуск по уходу, уволиться из библиотеки, поскольку ездить каждый день в Москву на электричке, оставляя Иону с няней или в садике – тяжело и утомительно. Конечно, вести организационные переговоры рядом с веселящимся или капризничающим малышом не каждый раз удавалось, но он как-то выкручивался, даже придумал несколько обаятельных фраз, вроде того, что прошу, дескать, простить папу в декрете. В основном, люди относились с пониманием, правда, не всегда было слышно, что ему отвечают по телефону. Но потихоньку он приспособился.

***

Буквально через неделю он познакомился с самим певцом, которого звали обычным Иваном. Тот оказался не совсем безусым юношей, каким выглядел на видео, а лет за тридцать. Производил сногсшибательное впечатление, имел, что называется, харизму. Очаровывал, шутил, был прост и весел в общении. Про таких говорят «жизнь удалась» и провожают завистливыми взглядами. У него как раз случилось выступление, и посчастливилось услышать пение вживую. Аудитория набралась небольшая, но «своя» – верная и благосклонная.

Он заметил, что его творчество людей завораживает, к тому же выяснилось, что частично он сам сочинил тексты. Песни были трогательные, музыка бесхитростная, манера исполнения – глубинная, проникновенная. В общем, этакий бард, который показался ему существующим вне пространства и времени, окрылённый гость из другого мира, который случайно сюда попал, и понятия не имеет, что здесь творится.

Но это от творчества такое впечатление осталось. А сам он оказался свойским, разговорчивым парнем, очень к себе располагал, выяснилось, что у него жена, полуторагодовалые двойняшки-девочки, электромобиль «Тесла», дом в Новой Москве, и всё в шоколаде. И почему-то у Ивана не было больных раком умирающих друзей, почему-то никто не пытался у него забрать ребёнка через суд, почему-то никто не писал ему из тюрьмы пронзительных писем с воплями о помощи. И все его переживания сводились к тому, что он

медленно «раскручивается», залы собирает небольшие и боится превратиться в ресторанного певца.

Он уже собрался начать завидовать, но не пошло. Понял, что просто восхищается и всё. И как-то даже радуется за этого Ваню. А завидовать по гнусной привычке пытается, но не может. Слишком высокий уровень, что ли, у Ивана, до которого сразу ясно – не дотянуться…

По дороге с выступления домой он стал анализировать, с чего вдруг не завидует. Ведь Иван и его жизнь – предел земных мечтаний. Эффектный, стильный, талантливый, утончённый вкус, вдохновение и творчество, райдер с шампанским, икрой и белоснежной рубашкой, дома любящая семья, малышки, свой персонал, экзотические путешествия... Ну, понятно, что изобильное благополучие – это пустое, но когда у тебя одна рука, один маленький ребенок, одна небольшая зарплата, похороненная жена, и даже редкий поход в храм не всегда утешает, да и утешение тут же проходит, а молитва становится скучной и торопливой, и на море хочется, и вкусно поесть тоже хочется, и интересной работы тоже, и ещё для сына больше игрушек и развивающих занятий хотя бы, то надо бы позавидовать. Или он обрёл благородство из благодарности, что его взяли на работу?

Он вспоминал, как однажды, ещё живя у Олиных родителей, пришёл к выводу, что он не только очень тщеславный, но и очень завистливый человек. Зависть незаметно подкрадывается, тихо скребётся и раздирает душу: «А вот знакомый родил второго ребёнка и счастлив, и водит его в бассейн, а вот тот ездит на шикарной машине, а у меня вообще машины никакой нет, а вот тот летал на Мальту отдыхать, а мы с малышом пока денег и на Анапу не накопили, всё только за протез долг отдаю», – и неприятно становится. Зависть – это когда неприятно оттого, что другому хорошо. Отвратное чувство. И когда приятно оттого, что ему плохо, злорадство – это тоже такая вывернутая наизнанку зависть. Зависть наоборот. И можно себе не сознаваться и говорить: «Ну нет, я же не завидую, я ему добра желаю, пусть всё у него будет хорошо, лучше, чем у меня». А можно сознаться себе: да, завидую. И на бумажке написать, и в храме по бумажке прочитать на исповеди. Только в следующий раз всё равно станет неприятно оттого, что он с красивой нарядной женой идёт в театр, и что он полноценный, а не безрукий.

Он тогда решил, что не надо делать усилий, чтобы это чувство победить, потому что всё равно невозможно. А возможно осознать и в полной мере принять, что Бог каждому даёт для спасения тот путь, который наилучшим образом данному человеку подходит. Он об этом слышал не один раз. Эту тему затрагивали университетские теологи, и в проповедях упоминали священники. Вроде просто. Но, наверное, он никак не мог въехать. А тут вдруг ему почему-то представился разговор с Елисеем, и возникла азбучная мысль: «Мы же с Иваном на равных. Его спасают, меня спасают. Если у кого-то душа здоровее, это видит только Бог.

«И это милость, что мы своего внутреннего состояния не понимаем! – «поддакивал» Елисей. – Хорошо, что это скрыто. Уж если подвижники, праведники все, как один, говорили, что хуже них нет людей на свете, а им-то это открывалось (ну не кокетничали же они, в конце концов!) значит, нам своё внутреннее состояние видеть опасно или вредно. Значит, там что-то настолько поганое и страшное, что нельзя до определённой поры знать! Потому что мы все думаем как? – «продолжал» Елисей. – Что преподобные стяжали Дух мирен, и на фоне этого самый мизерный недостаток казался им чёрной горой или дырой, а одна посторонняя мысль – непреодолимой преградой на пути к Истине. И что они только так про себя думали, а в действительности были уже непорочными, святыми. А если всё буквально понимать?! Что они увидели свою греховную сущность как есть, объективно? Увидели, и хуже себя людей не находили. Ну, потому что поняли, каким человек может, должен и призван быть по замыслу Божьему, как было задумано изначально. И сравнили с тем, что есть, насколько всё искажено и перевёрнуто, и наизнанку. И ужаснулись. То есть, получается, что они в наших глазах безгрешные, а на самом деле, ещё всё равно были грешные! Поэтому хорошо, что мы не знаем, а только догадываемся!»

***

Нет, иногда он свою греховность немножко видел. Проще всего делать это было в Великий пост, не специально, конечно, а как-то само получалось смотреть на себя со стороны.

Тогда он искренне чувствовал противность и тошнотворность, понимал, что мерзок, отвратителен, гнусен. Тогда да, внутри было тесно и душно, кипел и шипел переполненный котёл отходов. Он представлял, как выращивает огромное поле колосьев, но когда они всходят и зреют, то уже изъедены червями. И это вся его «духовность» – бескрайнее червивое поле под видом благочестия. Но в чём именно кроется мерзость, как её исповедовать правильно, чтобы хоть что-то исчезло, он не понимал. Это как-то всё сразу, что вроде бы имеет название: гордыня, превозношение, тщеславие, зависть, самолюбование, чревоугодие, сребролюбие и прочее, но... Это даже не мысли, не злые чувства или необдуманные слова, которые бесконтрольно вырываются и неуправляемы. Мысли, чувства и слова – это уже следствие падшей природы.

А как изволите исповедовать падшую природу? «Я, батюшка, чувствую свою падшую природу. Она тошнотворная. Мне отвратительно смотреть на себя со стороны и изнутри. Мои мысли и чувства подчинены законом мертвечины. Мною руководит повелитель мух, который есть часть меня». Ему казалось, что так это выразить было бы ближе к истине, чем дежурно перечислить грехи и страсти. Но что толку, если ничего не изменится?..

«И какое же счастье, если не завидуешь! – эйфорично подвёл тогда итог он. – Не оттого, что на тебя обрушилось в церкви утешение, которое всё равно скоро уйдет, а орущий малыш и тонна усталости останется, но от осознания, что вы с этим прекрасным человеком, со знакомым, который на Мальте, и с тем, у кого машина, абсолютно на равных. И соревноваться не нужно, – тебя спасают, его спасают. И кто сейчас мучается от рака, спасают, и кто на войне кровь льёт, тоже спасают. Разные пути, но все к одной цели. И спокойнее на душе».

Подвёл-то он подвёл, но буквально через неделю снова встретил того знакомого, и тот сообщил ему с сияющим лицом, что они ждут третьего ребёнка. «Надо теперь думать о переезде! – добродушно делился сосед. – Квартиру искать побольше!» Он, конечно, его искренне поздравил и пожелал всяческого благополучия, в том числе жилищного, но опять почувствовал, что кольнула зависть. «Это его так спасают!!! – бросился он мысленно гасить пламя. – Это ему надо так, а мне так уж точно не надо, такой путь мне был бы в погибель из-за моего тщеславия и ещё тысячи других причин. И вообще, какой мне ребёнок, что за чушь? И вообще Богу виднее! – пыжился он изо всех сил, но зависть ехидно донимала и всё-таки посылала мысль о том, что вот он тоже хотел бы процветать и преуспевать, да, увы, ему такое простое человеческое счастье не светит.

А дальше того хуже! Дальше он понял, что зависть – это ещё ничего, а он болен намного опаснее! Он поймал себя на тайном желании, чтобы вообще не было между людьми равноправия! Он тогда долго слова подбирал, чтобы сформулировать это желание, поскольку оно гнездилось где-то в затаённом внутреннем гадюшнике, может, в виде невылупившегося змеёныша в скорлупе, – не мог понять, в чём его суть и смысл.

А потом догадался: его не только раздражает несправедливое неравенство в распределении всевозможных земных благ и качеств (это, конечно, тоже, но это как-то можно пережить), а ещё сильнее раздражает справедливое равенство душ! Потому что любой верующий знает и понимает, что тут-то ни у кого нет преимуществ, что каждому из миллиардов людей изначально даны одинаковой силы возможности. А ему-то хочется, чтобы были и там какие-нибудь фавориты, и чтобы, уж конечно, он входил в их число. И мог торжествовать над другими, что, дескать, мне дано больше. А получается так, что он вместе с этими миллиардами одинаково сильно этими возможностями не пользуется, потому что слишком сложно, но хочет при этом, чтобы «оно как-нибудь само». Чтобы другим все-таки было похуже предопределено, ну, не то чтобы сразу в ад, но чтобы как-нибудь похуже – поскуднее, пожиже, потоще, чтобы их поменьше любили, а его чтобы побольше.

Сформулировав подобную гнусную пакость, он в очередной раз пришёл от себя в ужас и изложил свои соображения священнику на исповеди. Но тот, кажется, ничего не понял или просто сильно устал, и потому не вникал в его глубинные идеи, а только рукой махнул: «Что-то вы всё фантазируете!» А он-то не фантазировал, он-то открыл, что он духовный фашист! И вот если бы, предположим, он стал иноком в монастыре, то прямо всех бы братьев там

возненавидел, потому что они, негодяи этакие, имеют равные возможности для спасения, и тоже, видите ли спасаются, а он бы хотел, чтобы они поменьше спасались, а он побольше. В общем, он понял, что жаждет раздора и превосходства на каком-то внутреннем незримом уровне и тому подобный ужас.

А сейчас без всяких заумных мыслей он почему-то совсем не завидовал. Ни на каком уровне. И прямо несносно праведно радовался за этого процветающего Ивана. «Ох, что-то тут не то, что-то тут не то! – мучился он. – Должен завидовать! А ну-ка давай завидуй! Что за механизм тут действует, как его разгадать? Значит, не только в осознанности дело?» – удивляло странное ощущение. Он искал в себе зависть, понимал, что она должна быть, потому что всегда была, и не находил. Взамен наполнила непонятная и даже приятная пустота и усталость. Но он так привык, что его колит, жжёт, свербит в таких вот случаях, что будто даже скучал по зависти, будто ждал, что она вот-вот выскочит и ужалит. Однако внутри разлилась непривычная тишина. Поразительные вещи происходят на свете!

***

О роли осознанности он думал с первых лет, как пришёл к вере, чаще, чем нужно, наверно, потому что нужно всё-таки молиться, а не думать, много не надумаешь…

Вот, скажем канон Андрея Критского. Когда он впервые попал на него в церковь, он чуть не умер. Со скуки. И от подлого ощущения, что не туда пришёл. Литургия – да, там хорошо, знакомо, радостно. А канон, это что ж? Хора мало, всё чтение, бубнёж, темы из Ветхого Завета, для чего, почему? И где покаяние, какое покаяние? А потом смотрит: после службы люди в храме преображённые. Ну, не все, конечно, но прямо какие-то другие. Прямо подействовало на них. А на него не подействовало. Нет, ну то есть он ощутил, конечно, успокоение некое, как будет даже если просто свечку зажечь без всякой службы. А так, чтобы сокрушённо падать на колени перед иконой с таким глубоким чувством и благоговением, как вот эта женщина… Такого нет. Дураком себя ощущал.

Потом он дома стал листать канон, чтобы хоть понять, о чём читали… И не понравилось. Почему-то Мария Египетская… Какая-то церковная поэзия, сложно, долго, мудрёно до жути, а покаяния не чувствуется. Например, от простой знакомой молитвы, да хоть от «Отче наш», он мог тогда заплакать, если сосредоточиться, настроиться, отпустить себя. А тут слов много-много, а состояния нет. Вот он и подумал, что дело в осознанности, что надо каждую строчку разобрать, о чём там, и тогда, может, получится проникнуться.

Но как начал вчитываться, так и вовсе растерялся. И понял, что не то что канон, а даже любимое и давно уже родное утреннее и вечернее правило, – это не «его», а чужие какие-то слова. Они хоть уютно улеглись в памяти, но кажутся высокопарными, поэтичными, несовременными, красивыми, и не соответствуют собственным мыслям. Будто не молитвы, а стихи. Например, не станешь же сам говорить: «избави мя настоящего обстояния бесовскаго», или «изми мя из уст пагубнаго змия, зияющего пожрети мя и свести во ад жива». Это святые непрестанно искренне чувствовали свою немощь пред нападениями помыслов, чувств, желаний, пребывая в изнурительной борьбе, видели себя последними грешниками, оттого и слагали подобные молитвы. Ну, а он-то не «замечает», что барахтается в пропитывающей трупным ядом пасти дракона, который вот-вот его живьём проглотит. Хорошее временами ощущает, но тоже не обращается же сам так: «Великодаровитый, Человеколюбче, Пренепорочная», а только – «Господи» и «Матерь Божия». Получается, к личной молитве всё это мало отношения имеет, – и он попал в очередной тупик.

Тогда на выручку снова «бросился» в голову Елисей, который смеялся, что он заблудился в трёх соснах и по обыкновению торопливо объяснял где-то совсем рядом, беззвучно: «Нашёл, чем смущаться! Это же нам подарок от святых! Такое небесное угощение, гостеприимство. Нормально чувствовать, что ты этих молитв недостоин. Что ты, как дикарь из племени людоедов в набедренной повязке с каменным топором, оказавшийся на какой-нибудь современной шикарной церемонии коронации! Конечно, молитвы не наши, потому что мы из-за своей слепоты не можем их даже понять до конца, примерить на себя. А наши – примитивны на уровне животных: «спасибо, прости, помоги» и очень много разных канючных «дай»,

«сделай», «не оставь». И от осознания этого должна появляться благодарность за возможность хоть чуть-чуть приобщиться к миру святых. Поэтому необязательно вникать в каждое слово «правила», а правильнее сказать – праздника, тем более, заставлять себя думать, что это твои слова. Это драгоценный тебе клад из другого мира, и боязно, что однажды он может у тебя отняться! Бывает же, что в старости у человека отнимается память и даже разум, и тогда для него исчезает, стирается всё, что было дорого в жизни. Так что благодари и радуйся, что сегодня у тебя пока ещё это счастье есть...»

Он согласился и успокоился. А позже уже, в университете, он канон святого Андрея изучил и, как ни странно, полюбил. И жалел потом, что его раз в год читают. Понял, что и красиво, и покаянно, и удивительно – ужасаться вместе со святым своему падению и с ним же радоваться, что есть надежда на спасение...

***

Вот то важное, что случилось за время процесса. И это уже в прошлом! И надо надеяться, никогда не повторится. Теперь они неразлучно будут вместе, теперь сын – это только его сын, которого никто не отнимет. Сумасшедший год пронёсся у него перед глазами, как будто он ехал на быстрой карусели – промелькнуло, и тут же забыто.

Всё? Да нет, не всё, – вспомнил он. Еще было, что она несколько раз, пока он втягивался в работу, наведывалась к ним в гости, чтобы подсказать, пояснить, заодно посудачить про Ивана. Ему показалось тогда, что она в певца влюблена, если, конечно, вообще можно представить её влюбленной. Во время визитов познакомилась с сыном.

Однажды они вместе ходили погулять в парк, а потом она любезно приготовила им макароны по-флотски. Когда они отужинали, и она опять же любезно не стала засиживаться и уехала, Иону пронзила невероятная догадка. Перед сном, когда он читал ему про Винни-Пуха, малыш вдруг шёпотом спросил:

– А почему она ушла?

– Потому что поздно.

– А это наша мама?

– Нет, – отрезал он.

– А где наша мама? – завёл привычную волынку малыш.

– На небе с ангелами, – повторил он не в первый раз.

– А когда она придёт?

– С неба слишком далеко и высоко идти, она не может. Она упадёт и разобьётся, если захочет прийти. Она в другом мире, поэтому не придёт, – растолковывал он, чувствуя, как к горлу подступает комок.

– А давай ей сделаем лесенку, – не унимался Иона.

– Где же ты видел такие высокие лестницы, чтобы до неба? Таких не бывает.

– Тогда давай к ней в гости полетим на самолете, – для трёх лет у него был изумительный словарный запас и сообразительность.

– Туда и на ракете не долететь, не то что на самолете, слишком далеко, – выворачивался он.

– А у неё там дом?

– Наверное, дом, я не знаю, мне тяжело об этом говорить, давай дальше читать, – как взрослому пытался объяснить он.

– Давай тогда *её* назначим мамой? – предложил Иона.

– Нет, не давай! – это было забавно, но больше грустно.

И правда, надо было где-то брать маму. Но где? Жениться второй раз он не хотел, да и не на ком. И вообще, чужая женщина никогда не сможет полюбить малыша, как он, уж тем более, как любила бы Оля.

А она… Ну, что она? У неё нет своих детей, и ей почти пятьдесят. В таком возрасте проникнуться симпатией к чужому ребенку можно, но с любовью это ничего общего не имеет. Навещая, она дарила ему игрушки или сладости, иногда играла с ним недолго. Малыш лез к ней обниматься, её это веселило и трогало. Но… его капризов она не переносила, зажималась,

терялась. Да и вообще было видно, что она прилагает определённое усилие, чтобы общаться с Ионкой, что быстро устаёт от него, что в целом ей это удовольствия не доставляет. Поэтому какая там мама?.. Он что-то ответил тогда про то, мамами не назначают, и они договорились называть её тётей.

Про бабушку с дедушкой малыш тоже вспоминал, но не беспокоился, знал, что они приедут за ним на выходные, или папа сам отвезёт в гости, что с ним будут гулять, играть, угощать, выполнять прихоти. Возможно, если бы все жили вместе, он бы не спрашивал про маму так часто, её бы заменила бабушка, возможно, Иона даже стал бы называть мамой Тамару, и он бы не видел в этом ничего предосудительного. Но… сложилось, как сложилось, похоже, назад дороги нет.

Горестно было сознавать, что у его малыша, как и у него самого, нет мамы. Но где взять её?..

15

Итак, жизнь пошла по-новому, плавно и мелодично. Это было счастье. То самое, о котором все мечтают, но редко кому удаётся, а кому удаётся, тот привыкает и не ценит. Он мог бы сказать, что оно завоёванное и выстраданное, но едва ли это уместно в ситуации, где всё сделали за него, а он, как марионетка, только слушался и плыл по течению.

Иона пошёл в детский сад. На весь подмосковный городок садик был один, и родители – коллеги по песочнице – жаловались, что попасть туда невозможно, очередь подходит к шести годам, когда уже пора готовиться в школу. Шептали, что нужно давать крупную взятку заведующей, чтобы ребёнка взяли.

Тут он действовал умело. Выпятил обрубок руки, взял лучезарного Иону, сделал жалостливый вид и купил взлохмаченные хризантемы. Проникновенным, глубоко человеческим голосом стал стучаться в чёрствое сердце заведующей, попутно расхваливая красоту и уют садика, созданный, конечно, её денноночными трудами. Та губы посжимала, но Иону зачислила, опасливо поглядывая на культю.

В такие моменты он благодарил Господа за инвалидность, она периодически давала преимущества, недоступные другим. Когда Иона пошёл в садик, работать стало проще, появилась возможность выезжать на творческие мероприятия и деловые встречи. Из библиотеки он уволился, – там опечалились, но отпустили с миром. Новая зарплата хоть и зависела от количества трудов и успеха выступлений Ивана, но была как минимум вдвое больше прежней, и он решил тут же начать возвращать долг матери Елисея. Поразительно, но имени её он так и не знал, деньги поступили со счёта какого-то Владимира.

Спрашивать теперь представлялось неудобным, – столько времени прошло, он от неё получил спасательный круг, который позволил вынырнуть, когда кислорода уже не осталось, и даже не знает, как зовут, ну, неприлично же! Беспокоить Дашу и Богослова он по-прежнему не решался – неизвестно даже, рассказала ли она им про его судебные тяжбы…

Пришлось позвонить и обойтись без имени. Благодарил, как только мог, спросил, куда начать отчислять деньги. Она назвала номер, это оказался всё тот же загадочный Владимир. Ему, конечно, жутко хотелось узнать, кто это, почему помог ему, какое к ней имеет отношение, но как? Задал только уместный вопрос:

– Очень переживаю, что доставил неудобство, сумма такая большая, и пока заработаю, пройдёт время, но при желании можно ускорить через банк, чтобы вернуть, может, сделать так?

– Напрасно вы беспокоитесь, – сразу остановила она. – Не нужно возвращать, я просто хотела помочь. Впрочем, знала, что вы всё равно захотите отдать. Не думайте об этом, вам о ребёнке нужно думать. Отправляйте, как получается, не спешите, это вообще необязательно. И не волнуйтесь, с Елеазаром эти деньги никак не связаны, – неожиданно сообщила она, будто прочитав его мысли, – он только передал мне в письме, что вы попали в беду. Он не знал, что я смогу вас выручить деньгами. Ой, простите, неудобно больше разговаривать. До свидания.

Вот и всё, ничего больше выведать не удалось. Значит, ей и отправителю неважно, когда и сколько он вернёт, а старик, действительно, передал ей информацию, но больше и некому

было. Удивительно, что происходит на свете… Как это она распознала его беспокойство про деньги, – снова неловко ему стало за свои глупые мысли про их возможную связь. В итоге решил делать, как говорят, и ничего не выяснять, – если нужно, правда и так откроется, не надо пыжиться.

С того дня он стал отчислять треть с каждой зарплаты по указанному номеру. Кредит за счёт «филеримского подарка» погасил досрочно, – а когда закончились эти средства, интернет-пожертвований впритык хватило и на судебные издержки. «Вот только возвращать придётся долго, – пытался посчитать он. – Но нужно обязательно, что бы она ни говорила. Может, она вообще «две лепты» отдала, всё, что было у неё, и только успокаивает? А Владимир этот наверняка ни при чём, никто не станет просто так миллионы отправлять незнакомцу. Наверняка это её деньги, может, сбережения за всю жизнь? Непременно нужно вернуть, и поскорее!»

Он завёл тетрадь, куда решил писать, сколько и когда отправил, и сколько ещё осталось. Для верности те же данные ввёл в смартфон, ведь что-то из этого наверняка потеряется. Затем успокоился и продолжил жить дальше.

***

В работе открылось немало любопытных нюансов, касались они певца Ивана и его привычек. Его поразило и восхитило, что человек работает на износ. Он каждый день репетировал часами, ездил то на одну, то на другую работу: и на телевидение, и в клубы, и на элитарные вечера в ресторанах или особняках, и на съёмки клипов, и на различные шоу. Кроме того, он как минимум дважды в неделю ходил в спортзал, а также на уроки актёрского мастерства и танца. Иногда посещал чужие концерты. Жизнь была расписана по минутам, рано утром он уезжал из дома, а возвращался часто за полночь.

То есть вообще-то подобная загруженность была полнейшим абсурдом. Потому что у человека не оставалось времени на то, чтобы дышать. Но он давно понял, что сейчас, особенно в мегаполисах, принято жить именно так, и это почему-то называется успехом и самореализацией. Вот он бы никогда так не смог, потому и восторгался.

Вскоре после начала работы он узнал неприятную особенность характера Ивана, которая заключалась в маниакальной педантичности в некоторых мелочах. Например, дважды за выступление он менял рубашку. В самом факте ничего удивительного, но сложность состояла в том, что на ответственных мероприятиях рубашка непременно должна была быть новой. Идеально постиранные, выглаженные, «полированные» до белоснежного блеска – не годились. Ну ладно, вроде бы и тут ничего сложного, да не совсем. Рубашка требовалась строго определённого фасона одного и того же бренда. Оказалось, что они закупались в магазинах десятками. И вот однажды случился прокол, запасённые закончились, а новых таких же не нашлось.

Его тогда потрясла паника вокруг этого «события», он впервые видел её в неприкрашенной истерике. Она рвала и метала, кричала, что их уволят с работы, велела ему обзванивать все магазины, во всех городах и во всех странах, хоть в Африке, хоть в Южной Америке, ни капли не шутя. К слову сказать, рубашки были с виду самые обычные, белые, сшитые из качественного хлопка.

– Да таких миллион, заменить на другую, – Ванюша (так они звали его между собой) и не заметит во время выступления! Или использованную постирать и выгладить, подумаешь, один раз повторно наденет…

Она в ответ саркастично расхохоталась, а потом полила его качественным матом, приказав «сдохнуть, но найти такую же но-ву-ю рубашку». Он, не желая сдыхать, честно пытался выполнить поручение, прочёсывал интернет, звонил в магазины, но, увы, куда-то нужная модель безвозвратно сгинула. Не без труда нашёл точно такую же по виду, составу, но другой фирмы, предложил ей, – в ответ снова услышал забористый мат и уверения, что «Ванюша отличит не глядя, из соседней комнаты и по запаху». Когда поняли, что через день купить готовую рубашку никак не получится, – нужный вариант самолётом мог быть доставлен лишь через двое суток, – решили экстренно сшить такую же, прикрепив родной лейбл.

Она охала, вздыхала, плакала, говорила, что Ванюша всё равно заметит подмену, «если хоть один стежок будет отличаться», и им тогда несдобровать. Он в ответ только посмеивался, думая, что она помешалась то ли от влюбленности в молодого певца, то ли от переутомления – работать ей приходилось много, а как она успевала всё раньше, не имея помощника в его благородном бородатом лице, он вообще диву давался. Точно такая же ткань и суперпрофессиональная портниха-модельерша были найдены, три рубашки – идеальная копия бренда с логотипом, отпоротым с ношеных сорочек, сшиты уже к вечеру.

С утра её трясло, она глотала успокоительные таблетки, находясь в полуобморочном состоянии. «Ой, что-то это будет», – шептала она, боязливо, как девочка, прижимаясь к нему, а он, готовясь оперативно помогать на концерте (киберрука Ванюше нравилась, и он выпускал его для визуального эффекта «покрасоваться» на сцену – что-то переставить, передвинуть), усмехался и добродушно похлопывал её по плечу. Рубашки повесили по-обычному, они были как две капли воды похожи на оригинал, сияли белизной и простотой, только по цене обошлись в десять раз дороже. Для виду бросили в мусорную корзину якобы срезанные бирки с лейблами. Он искренне понять не мог, чего она так волнуется? Даже если невероятным чудом Иван заметит подмену, что такого страшного? Ну, признаются они, как старались, как наспех искали ткань и заказывали швейную работу, так ему, поди, ещё неловко станет, что заставил их волноваться и столько трудиться.

И вот в перерыве Иван, как обычно, вбежал, осушил бокал шампанского, откусил бутерброд с икрой, вытерся полотенцем и, надев новую рубашку, унёсся за кулисы. Не случилось вообще ничего, и он рассмеялся с облегчением, поскольку всё-таки немного проникся её тревогой. Но, оказалось, радоваться было рано.

Не спев три последние песни, Иван ворвался, бледный, потный, всклоченный, с совершенно больным диким взглядом.

– Что вы мне подсунули?!! – не своим, а каким-то истерическим тонким бабьим голосом заорал он, разодрал рубашку и начал хлестать ей по гримёрной, сшибая всё со столика, и их стал лупить тоже.

Он единственной рукой отволок её в сторону и встал на защиту, принимая грозные удары потной тряпкой на себя. Было жутко, не верилось, что такое возможно на самом деле.

– Тысячу раз говорил, меня не обманешь!!! – нечеловеческим голосом вопил взбесившийся Ванюша. – Не смейте мне подкидывать всякую дрянь, я не могу работать в ней!!! Оба уволены!!! Идите вы… – дальше последовала нецензурная брань. Говорить с ним было бессмысленно, впору казалось вызывать психиатрическую скорую помощь. Она, впрочем, быстро взяла себя в руки и связалась с директором. Видимо, тот ей по телефону сказал что-то в духе Ванюши. После короткого звонка она совсем сникла и буркнула: «Пойдём, он знает, что с ним делать. Такое не в первый раз». И они скорее по-тихому уехали. В дороге молчали, она вела машину, вытирала слёзы и сморкалась. Он пытался осознать увиденное.

– Так Иван болен, что ли? – нарушил он наконец всхлипывающую тишину.

– Вроде нет, такая особенность просто. То есть это диагноз, конечно, но не то чтобы критический, можно лечить, можно не лечить. А его и так всё устраивает, он, естественно, лечить не хочет, психом себя не признаёт. Короче, если просто делать всё, как он просит, ничего подобного не случится.

Да, теперь он понял, почему бутерброды икрой намазывал для Ивана специальный повар. Куски были определённой толщины, слой масла безупречно ровный, а икра лежала икринка к икринке, без «пробелов», чтобы лишь по краям контура оставалось несколько миллиметров хлеба. Правило неукоснительно соблюдалось, бутерброды из-за этого выглядели ненастоящими, картинными. Потом он узнал, что в неадекватное состояние Ванюшу могла привести капля пролитого шампанского на столе или крошка, если она была уронена не им. К счастью, при поедании бутербродов им самим крошкам «разрешалось» падать, нужно было лишь скорее убрать их специальной влажной салфеткой без запаха («вообще без запаха!!!») обозначенной фирмы, что он не раз и делал.

В остальном Иван казался отличным парнем, душой компании, дружелюбным и простым. Но что за откровенная бесовщина начиналась, когда его прихоти не выполнялись, понять было невозможно. «У меня такой характер, – говорил он на следующий день после очередной истерики. – Но вы должны считаться с этим и делать, как вам говорят! Ничего сверхъестественного я не прошу».

И это, действительно, было так. Невыполнимых задач не ставилось. Например, забронировать указанный столик в определённом ресторане было возможно, поскольку он сообщал о желаниях заранее. Зарегистрировать билет на заданный ряд и место в самолете тоже. Теперь он чрезвычайно строго следил за закупкой продуктов, не допуская малейшей погрешности в производителях, объёмах, вкусовых нюансах. Понимал, что ошибки недопустимы. Когда однажды ему предложили в магазине селёдку в «неправильном» подсолнечном масле, он чуть сам по примеру Ванюши не ответил возмущённым ругательством, но, к счастью, успел сдержаться.

Вскоре болезнь немного коснулась и его, будто была заразной. Он заметил, что нервничает и раздражается, если видит хлебные крошки, а если Иона проливал суп или чай, то немедленно бросался вытирать стол досуха. Тогда и малыш стал, глядя на него, требовать тряпку при появлении любой посторонней капли. Из себя выводила торчащая на одежде ниточка или неубранная чашка. Благодаря этому он вроде бы стал аккуратнее, но чувствовал, что есть тут подвох и тёмная сторона, ведь злиться из-за подобных пустяков – не есть норма.

После того случая Иван извиняться и не подумал, это они просили прощения, каялись, объясняли, как получился такой промах с рубашкой. Он смотрел исподлобья, потом буркнул недовольно «чтоб в последний раз», и всё вернулось на круги своя.

***

После того, как Иона пошёл в садик, время потекло быстрее. Он крутился, вертелся целыми днями по работе, ну, прямо как современный успешный человек, а на выходные вёз малыша к Олиным родителям. Изредка они приезжали забирать его сами. Нельзя сказать при этом, что он сына видел мало, тот стал постоянно болеть, выдерживал в группе от одной до двух-трёх недель, потом приносил очередные сопли и стабильно просиживал дома дней десять-двенадцать. Ближе к выздоровлению он вёл его на причастие, а сам в храм ходил беспорядочно, уже не получалось бывать там по праздникам или воскресеньям, а чаще – в будни, как раз когда Иона находился в саду. Работать с ним «на руках» было сложно, но что-то удавалось, поэтому их маленькая семья казалась благополучной и счастливой.

И всё было бы хорошо, если бы Ионка в который раз не спрашивал, глядя, как забирают из садика других малышей:

– А моя мама когда придёт? – и он снова мучился щемящей тоской, чувством вины и неполноценности, часто задумывался о том, возможно ли жениться ему снова, а главное, как найти женщину, которая искренне полюбит чужого ребёнка.

«Если у неё уже есть свой, – рассуждал он, это неплохо, у неё есть опыт, она знает, как общаться, как выдерживать капризы, как успокаивать. Но она будет любить своего малыша больше...» И он тоже чужого ребёнка не сможет принять и любить, как своего. Быть хорошим папой и своему-то не всегда получается, а другие дети пламенного восторга не вызывали. «Если у женщины своего нет, то захочет родить, и тогда Иона вообще станет сбоку-припёку. Да и где найти ещё такую, которой интересен жених с протезом? Опять же вопрос с жильём...» У них одна комната на двоих, а если он женится, а тем более, если у неё будет свой ребёнок, то нужна вторая комната, – томительно высчитывал он.

Ради эксперимента он разместил объявление на сайте знакомств, но про отсутствующую руку писать не стал, да и про Иону тоже, указал только возраст, что без в/п, что работает и имеет однокомнатную квартиру в подмосковной хрущёвке. Хотел посмотреть, кто ответит «нормальному» с социальной точки зрения мужчине.

Ответов пришло много, но они не обрадовали. «Что можешь предложить?» – писали расфуфыренные молодые красотки, и он понимал, что таким точно ничего он не может предложить. «Можно у меня дома, недорого», – без стеснения развратничали блудницы.

«Давай встретимся, сходим куда-нибудь», – сразу переходили к делу разведённые мамы с детьми.

Выкроить время на выходных и пригласить в кафе даму было сложновато, но в целом возможно. Тогда он честно поведал нескольким разведённым женщинам с детьми про отсутствующую руку и наличие ребёнка, предложив встретиться. Их желание «прогуляться» сразу пропало, порядочные ему посочувствовали и извинились, остальные просто не ответили. Он понял, что изначально нужно было писать правду, выставил фото с протезом и малышом, «рассказал» про себя, как есть, искренне сообщив, что ребёнку нужна мама.

Тогда регулярными остались только «рекламные» сообщения от девушек нетяжёлого поведения и изредка приходили послания от отчаявшихся потрёпанных женщин средних, а иногда и откровенно пожилых лет из глубинки, по которым было понятно, что им нужно жильё на первое время, чтобы быть поближе к Москве и устроиться на работу. Такие, не стесняясь, спрашивали, как он смотрит на то, чтобы сразу переехать к нему. Он смотрел отрицательно. Приглашать в их с Ионой единственную комнату непривлекательную незнакомую бабушку, жаждущую лучшей жизни, вариант сомнительный.

Однажды среди всего этого безумия, когда прошло около полугода после судебного процесса, а он экспериментировал в интернете, ещё не потеряв надежду найти хорошую женщину через сайт знакомств, вдруг как с цепи сорвалась она. Приехала к нему «по рабочим делам» и в отсутствии Ионы накинулась с жаркими объятиями, как это происходило в былые времена. Устоять было сложно, но… история с Дашей ещё жила в сердце и памяти, а он тогда дал себе слово больше в грех не впадать, поэтому извинился и твёрдо её отстранил. Она чуть не избила его от удивления.

– Ты с дубу рухнул, что ли?! – возмутилась она.

– Не с дубу, – не знал, что ответить он.

– Импотентом стал?

– Нет. Нельзя мне.

– Сифилис? ВИЧ?

В ответ, он должен был сказать: «нет, религия», – но это как-то некультурно выходило. Поэтому он объяснил стеснительно:

– Можно, только если поженимся.

– Совсем рехнулся, – расхохоталась она. – Прекрати ерундить! – и снова попыталась ринуться на него, полыхая страстью. Но и он снова, теперь уже улыбаясь, отстранился и уверенно так сказал:

– Нет. Я не шучу. Если сильно хочешь, то давай тогда жениться!

– Что за шантаж?! – взревела она. – На фига жениться-то? Что мы, дети малые?

– Понимаешь, я церковный человек, у нас нельзя так.

– Обет целомудрия?

– Грех.

Она снова расхохоталась:

– Ну, я понимаю, если бы ты женщиной был. Но ты ж мужик! Даме, между прочим, неприлично отказывать.

– Ты извини, – развёл он рукой. – Я же не потому, что ты не нравишься, – не очень уверенно продолжил. – Просто нельзя и всё. Только если поженимся. И обвенчаемся ещё. Выйдешь за меня? – пошёл он ва-банк, не зная зачем.

– Дура я совсем, что ли? Мне только инвалида безрукого с мелким дитём не хватало! Я вообще замуж никогда не собиралась! Мне и так великолепно.

– А, ну как хочешь, – с облегчением произнес он. Он давно привык слов на ветер не бросать, поэтому в случае её согласия, пожалуй, пришлось бы и жениться. А с ней он этого как-то вообще не планировал.

Она всё ещё не верила:

– То есть ты хочешь сказать, что с тобой теперь можно переспать, только если за тебя выйти замуж?

Он кивнул.

– А если я соглашусь замуж, то ты тогда на мне женишься?

Утвердительно отвечать не хотелось, поэтому он сказал:

– Но ты ведь не согласишься.

– Ну и придурок же ты стал! – искренне удивилась она. – Уж на что раньше был кретин, но хоть без закидонов.

Он смиренно промолчал и мысленно похвалил себя за это. И без того уже лишнего наговорил. Она вроде бы и обиделась, но слова о замужестве её явно заинтриговали.

– Ладно! – усмехнулась она наконец. – По поводу свадьбы я, пожалуй, подумаю. Что-то в этом есть.

И ушла. А он стал себя чихвостить. Вот кто за язык тянул? Она теперь решит, что он жаждет на ней жениться. Возьмёт ещё и надумает, затеет свадьбу. И что тогда делать? Под венец вести? Он был ей благодарен, но не любил. За всю жизнь он любил только Олю. «Если любил…» – в который раз вздохнул он, виня себя за то, что что-то важное ей не додал. А влюблённым и вовсе никогда не был. Разве что в Дашу, но он знал теперь, что это было, скорее, сильное желание, тщеславие и больше ничего. Оля – другое, Оля была его другом, родной душо; её семья, да и она сама помогала и не слишком давила, он был для неё героем и одновременно подкаблучником, в общем, это немного странные, но очень тёплые и очень простые отношения, и именно такой должна быть жена. А теперь, когда малыш на руках, вряд ли он вообще способен полюбить «постороннюю» женщину, впустить её в свою жизнь, возможен разве что некий взаимовыгодный союз с ореолом чувственности, а потом – по принципу стерпится-слюбится.

Её было сложно назвать другом, скорее, приятелем или партнёром. Прошлая давняя связь представлялась сейчас вынужденной, возобновить её уместно было бы чисто физиологически, как она предлагала, без обязательств, без чувств и переживаний, только ради удовольствия. Вроде легко и удобно, но после всего, что Господь для него сделал, подобное фривольное поведение казалось преступлением.

***

Она с того момента стала его избегать. Звонила только по работе, а бо́льшую часть распоряжений стал теперь отдавать директор, иногда и сам Иван. Видимо, она всё-таки обиделась из-за отказа. Получается, зря он волновался «за свадьбу». Впрочем, если здраво рассудить, она с первой же секунды сказала – инвалид с ребёнком ей не нужен. Так что мог не переживать. Но он чувствовал, что она сделалась какой-то загадочной после той встречи, другой стала, довольно нелюбезной. Решил не обращать внимания, захочет поговорить, так выскажет – мало не покажется. Лучше и оставить, как есть, всё же её покровительство и командный голос утомляли.

В сайтах знакомств он разочаровался. Стало понятно, что женщинам нужно что угодно, но только не быть мамой чужому ребёнку. В итоге из знакомых женщин на земле ближе всех, как ни крути, оставалась Даша. Он даже однажды обдумывал идею жениться на ней. Допустим, рассказать Богослову, что между ними «всё было», а он возьмёт и разведётся с ней, дабы не терпеть такое оскорбление, – с его-то самолюбием это очевидно, – и выгонит её из дома. А ей деваться некуда, даже жилья своего нет, придётся отсуживать у благоверного. Ну, это пока суд да дело, то да сё, тут-то он и подоспеет со своим предложением. Заберет её и Елисея, и станут они жить-поживать... Это сказки, конечно, хоть Даша и роднее других. Но фантазировать ведь никто не запрещал...

В итоге снова давила пустота, угнетал безрезультатный поиск драгоценной близкой души. Он хотел жить тихо, незаметно, благостно, радуясь каждому мгновению, проведённому с Ионой, но из-за собственного несчастного детства грызла боль отсутствующей у малыша мамы, он не ожидал, что со временем она станет такой сильной. При Олиных родителях подобных чувств не возникало, видимо, потому что с Ионой постоянно цацкались, а тут… снова пустыня, где нет людей – только миражи. Он, впрочем, молился и благодарил за каждый прожитый день

и дарованное счастье. Теперь уже стало проще осознавать, что ему дают всё, что нужно на сегодня, и если мамы для ребёнка нет, значит, это идёт им обоим на пользу…

16

Пока он всё это думал, ему вместо Даши, по которой он слегка скучал, но со стыда бы умер, если б она с ним связалась, написал Елеазар. Это было очередное грустное послание с живописной зарисовкой страданий и кошмаров заключения, и старика было жаль до крайности, несмотря на мерзости, которые он узнал. Тот изложил очередную сектантскую провокацию, которая пугала.

С явным смешком и превосходством старик писал, что те, кто «упекли» его, действуя через «армяшку» с дочкой, теперь обещают свободу, но «в обмен на знатное происхождение». Дескать, если он согласится, его тут же выпустят. «Я мучиться буду, умру, но не продам его!» – гневно восклицал несчастный, и он решил, что это очень хорошо. В пресловутом «происхождении» он теперь почему-то увидел саму душу старика, и предложение продать её за освобождение показалось опасным. Поэтому в ответном письме хвалил за «благородное решение», за терпение, за то, что не расстаётся «с самым дорогим» ни за какие сокровища.

Нужно ли говорить, что дух противоречия тут же сделал своё дело. В следующем послании Елеазар уже сомневался, ныл, что «происхождение» – не главное, а пожить на воле ещё хочется, и кубинских сигар хочется, а терпеть сил уж нет, и, пожалуй, нужно соглашаться на их условия.

Он снова стал нервничать, не спать ночами, представляя, как старик, не соображая, что делает, «продаёт душу» по собственной воле и остаётся обкраденным уже дочиста, догола, – и никакая тюрьма и даже покаяние его не спасёт.

В следующем писании, в ответ на его горячие убеждения не совершать роковую ошибку, Елеазар сообщал, что «нужен бы компромисс», а главное – что позже попросит его пойти к ним лично – «благо, они в Москве» – предложить «новые условия», словом, решил со своими бывшими союзниками поторговаться. Конкретики не было, а он почувствовал раздражение, что его снова во что-то впутывают. Будто без того мало он устаёт, чтобы бегать, сделавшись доверенным лицом безумного деда, к каким-то сектантам.

Когда через пару недель пришло следующее тюремное письмо, он хотел проявить могучую силу воли и не читать. Просто оставить на сайте неоткрытым. Боялся, что старик пришлёт план продажи собственной души за освобождение с его посредничеством. Потом не выдержал, решил не драматизировать и поддался-таки страшному любопытству. Ознакомился.

Про сектантов ничего не было, но вдруг почему-то шёл список яростных нападок на церковь. Со свойственным ему едким скептицизмом старик изощрённо глумился над «попками», «молельнями», выспрашивал, откуда столько скандалов, распрей, сплетен, а ещё открытой политизированности и роскошеств внутри церковной жизни. Хотя стиль написания был витиеватый и утончённо-издевательский, но претензии и обвинения удивили его банальностью, такими перманентно пестрит интернет. Он даже начал ответ с фразы «Что-то в этот раз вы совсем не оригинальны», но потом опять застопорился.

Вроде бы ответ был прост до смешного и лежал на поверхности. «Потому на Церковь и нападают, что она имеет истинную ценность. Потому и делается всё возможное, чтобы посеять скандалы внутри, отвратить людей. И где-то удаётся, ведь служащие не ангелы. Потому и появляются распри, что реально существуют те, кто Церковь ненавидят, боятся, любым способом стараются очернить, улавливая даже чистых, для того и раздувают на миллионную аудиторию сплетни и тащат наружу «грязное бельё», – чтобы люди не верили, сомневались, отпадали. Не имей Церковь подлинной святости, живой связи со Спасителем, не будь она дорогой, соединяющей человека с Богом, никто бы не накидывался, её давно оставили бы в покое».

Он начал писать в этом духе, но ехидно зазвенел высказанный в конце письма каверзный вопросик старикана: «Так кто умнее-то, ваши 3%, которые делают вид, что по воскресеньям под золочёными куполами молятся, или 97%, которые трезво смотрят на жизнь?»

И с некоторым облегчением тут же вспомнил свой процесс и грозный выпад судьи: «А три процента?!» «Как всё относительно в этой жизни», – поразился он. Тогда ему разнести зал хотелось за эти «три процента», теперь же он видит, что судья-то был прав, никак нельзя три процента со счёта списывать…

Не отвечалось не только поэтому. Общий глумливый снисходительный тон Елеазара так отталкивал, что не было желания связываться, понималось, что бесполезно. Такого не переубедишь. Но позже он пожалел, что не написал. Возможно, если бы разговор перешёл на церковь, а он завёл бы богословские диспуты, старик бы отвлёкся, но в итоге ещё через две недели от него пришла-таки просьба встретиться с покупателями его «знатного происхождения», то есть «покупателями души», как объяснял он эту чертовщину для себя.

«Я решился!» – восторженно писал Елеазар. – Но поторгуюсь. Найти их несложно. Они в центре, в Ермолаевском переулке. Адрес не пишу, иначе письмо не пройдет цензуру, но, будь уверен, когда бы ты ни пошёл, их найдешь, они ждать тебя будут, будет знак. Передашь им мои условия. Устно. Они требуют поручителя, не отправляют бланков для обратных писем. Скажешь им, что просто за освобождение титул я не отдам. Мне нужно полное обеспечение, деньги, жильё, а главное, потерянный статус, они знают, какой. Допуск ко всем посещениям, обретениям, церемониям, практикам. Так и передай. Не вздумай отказываться, ты же не хочешь, чтобы оставшиеся годы я гнил в тюрьме. На днях моего соседа душили простынёй, я это видел, тошнит до сих пор…» И дальше в таком духе.

И вроде бы опять всё было просто. Он немедленно отправил отказ: «Теперь мне уже понятно, что вы ведёте диалог с сектантами, а нам не благословляют подобное общение». Пообещал помогать по мере возможностей материально и письменно, – но внутри было очень неспокойно, появилось ощущение, что за ним внимательно следят, ко всему прочему мистическим образом тянуло в Ермолаевский.

В ту ночь он не мог уснуть, просил в молитвах убрать непонятную тревогу, избавить от дурацких любопытных вопросиков: «А что, собственно, такого может произойти, если даже попасть в Ермолаевский переулок? Это просто улица в Москве, где полно людей, заведений, не убьют же меня?» Он твёрдо решил завтра же идти в храм и рассказать о мысленных безобразиях священнику на исповеди, чтобы успокоиться и сосредоточиться на своих делах.

***

Промучившись до утра, он всё же уснул, и ему внезапно приснился Елисей. Сон был нервный и тревожный, как предыдущие мысли. Будто они опаздывают на самолёт, едут в такси, которое застряло в пробке и очень боятся, что не успеют. А самолёт жизненно важный, они убегают от какой-то опасности и пытаются рассчитать, может, пересесть на метро, и получится быстрее. Но водитель говорит, что метро закрыто сегодня, что напряжённая ситуация в городе, ожидается обстрел и воздушная атака, они понимают, что идёт война, что даже может быть, это последние минуты. И Елисей, как всегда, начинает говорить о чем-то серьёзном, главном, спасительном, а он не способен сосредоточиться, потому что боится, что их убьют, пытается вникнуть, но улавливает лишь отдельные части монолога.

Он со злостью выключил залившийся нежными трелями будильник на телефоне и попытался вернуться туда, в сон, чтобы понять, услышать, что говорил Елисей. Но сон уже кончился, и он мучительно вспоминал, о чём же шла речь. И вдруг вспомнил! Точно, Елисей говорил о восприятии себя – прошлого и настоящего.

– Знаешь, я вот что понял, – горячо, быстро, взволнованно объяснял Елисей. – Клеймить себя в прошлом неверно! Что бы ты там ни совершал, как бы ни пакостил и ни заблуждался! Ведь мы же постоянно, понимаешь ты, постоянно себе говорим: «Ну, это я *тогда* так думал, это я *тогда* не понимал, не знал, поэтому делал глупости, грешил ужасно, а сейчас уже не то. Уже я понимаю. Поэтому *так* уже не поступаю. Не блудодействую, не краду, не сквернословлю, не напиваюсь до свинского состояния». И часто мы не любим себя в прошлом, стыдимся, хотим изменить что-то. А потом проходит ещё время, и снова мы говорим: «Нет, это я *тогда* не понимал! Я к церкви потребительски относился, я в храме тщеславился, я Библию читал, чтобы казаться умнее, а теперь я просто вижу свои страсти и мучаюсь этим, я уже по-

другому думаю, я неправ был тогда, я только себя любил». А потом ещё, снова: «Нет, и тогда тоже был не прав, я только теоретизировал, видел промахи, но никак им не противостоял. А теперь я хоть сдерживаюсь иногда, хотя бы замечаю, что можно остановиться, смолчать, а изредка даже чем-то пожертвовать, теперь я уже не так, как раньше». Вот это всё неверно! Потому что ты *тогда* не был хуже, чем сейчас. Лучше, видимо, тоже не был, но не был и хуже! Ты просто шёл свой путь, а Бог одинаково тебя любил, что тогда, что сейчас, понимаешь, одинаково! Он тебя больше или меньше любить не стал оттого, что ты изменился. Ты был для Него ценен, даже когда самый ужасный грех совершал, даже тогда Он тебя любил. Поэтому не надо превозноситься теперь, смотреть свысока на себя в прошлом, ругать, сожалеть. В этом что-то противозаконное, противоестественное. Это как если ребёнок будет говорить: ну и болван же я был в полгода, встать и пойти не мог! А потом в два: ну и кретин же я был в год, нескольких слов сказать не мог! А в три: ну и дурень же я раньше был, даже одеваться не умел! И так далее. Путь самый гнусный, пустой, порочный, это всё равно путь, и каждый путь по-своему ценен, вместе с любыми ошибками, заблуждениями, падениями, и думать, что тогда ты делал что-то «не то» не надо, тебя всё равно любили и любить будут.

Окончательно проснувшись, глубоко задумался, зачем этот сон? «Так и прощать других легче станет, – продолжил он монолог Елисея про себя. – Думать, что любой чей-то шаг, даже грубейшая ошибка имеет какую-то свою ценность...» Тут он заметил, что уже прошло много времени, и ужаснулся: Иона давно должен быть в саду, а он сидит и вникает в ночные видения.

Но, похоже, на него напал после этого сна очередной приступ задумчивости. Собирая наспех малыша, а потом по дороге в сад, он продолжал про себя рассуждать, – теперь уже не на Елисееву тему, а про время. О том, что он очень-очень любит время. А это же земная категория, а к земному же нельзя иметь привязанности? Значит, и ко времени нельзя, и любить его нельзя? А он теперь обожает время! Это раньше он не придавал ему значения (вот, кстати, очередное Елисеево «раньше, тогда»), когда жил один после детдома кое-как, пусто, мечтательно и неосознанно, будто в полудрёме. А когда он сделался «нормальным», «как все», то стал обожать время, оберегать, каждую секунду ценить. Так прилепился к нему, так привязался, что думал о нём чаще, чем о жене, а после – о сыне. И вот это грех или нет? Минутки цедить, экономить? Он очень любил время экономить, – куда больше, чем деньги, – успевать делать много, давать себе отдохнуть. Но суета и прагматизм от этого, кажется, только возрастали. Спрашивается, каяться в привязанности ко времени или нет? – всерьёз недоумевал он. И пока недоумевал, вдруг вспомнил ещё маленький отрывок сегодняшнего сна, точнее, рассуждений Елисея.

– Знаешь, какое опасное состояние есть, которое люди часто вообще не видят и не понимают, что оно есть в них? Трагедизирование! Я это так назвал! Это когда вроде живёшь себе, живёшь, а внутри – затаённое ожидание несчастья. Не личного, а стороннего, скорее. Некое врождённое трагическое понимание бытия, как у поэтов бывает, художников, музыкантов. Но те-то хоть избавляются от него через творчество. А есть кто живёт с ним и даже не понимает, что что-то не так, но мир воспринимает с этакой перманентной болью. Это свойственно умным людям, которые думают много, учатся, ищут истину. И вот они изначально настроены на трагизм, на какой-то реквием, они считают, что в любом случае всё будет плохо, необязательно у них, а вообще – в мироздании. Такие пожизненные внутренние апокалиптики, Раскольниковы (опять Достоевский, улыбнулся он тогда во сне), вот это несчастнейшие люди. Они будто не «запрограммированы» на спасение, как остальные. Будто изначально предопределены на постижение тёмной стороны жизни. Но в этом их собственная вина, вот что поразительно. Они атеисты, как правило, но дело даже не в этом. Можно и верующим быть, и этого в себе не видеть, не знать. А там, внутри, некая чёрная дыра, которая засасывает, заглатывает. У них будто уже некая установка, они сами себя толкают во мрак, с такими людьми в конце концов, действительно, происходит несчастье. Вот их надо вовремя схватить за руку, остановить, иначе они свалятся в пропасть и разобьются...

К чему опять же говорил это Елисей? И почему он это теперь вспомнил, когда думал про время? Видимо, оттого, что они опаздывали на самолет, им грозила опасность, была важна

каждая секунда, а он торопился что-то донести, подсказать. Но что? И у кого, например, из его знакомых есть эта странная «предрасположенность» на погибель, этот неосознанный трагизм? Пожалуй, он таких людей и не знает… Не сам ли Елисей открыл это в себе, когда ещё был жив?

Тут уж он велел себе успокоиться и мысленно заткнуться – в конце концов, это лишь сон, а снам нельзя придавать значение. Он, как и планировал, отведя Ионку в сад, проехал три остановки до церкви, но исповедь уже кончилась. Пришлось ждать окончания службы, чтобы поймать батюшку на несколько минут, тот явно торопился, однако выслушал про Елеазара внимательно, помолчал, покачал головой. Это был малознакомый, совсем молодой священник, он лишь несколько раз видел его на литургии и разговаривал с ним впервые.

– Вы православный человек и не понимаете, что делать? Это странно, – вынес наконец вердикт батюшка. – Решать вы, конечно, будете сами, но я настоятельно рекомендую немедленно прервать любое общение с этим человеком, никакие деньги и подарки ему не слать, и категорически не благословляю по его поручениям ходить и с кем-то встречаться. Держитесь подальше от всего этого.

– Но он тогда погибнет, – робко попытался возразить он.

– А вы с ним хотите? Тогда валяйте, вперёд, – жёстко отбрил батюшка. – Забудьте про семью, работу, дела. Вступите в секту тоже.

Он, разумеется, по гордыне своей, очень не любил, когда с ним так разговаривали. Ему нравилось, когда священники были добрыми и понимающими. Но чем старше он становился, тем священники относились к нему строже. Причины этому понять не мог, его как-то резко перестали жалеть, а так хотелось… Видимо, батюшка почувствовал его настроение и смягчился:

– Не берите на себя много. Бог всем хочет спастись. Если нужно, так и без вас всё устроится. Вы ничем ему не поможете, а себе можете навредить.

Он кивнул и молча попросил благословения, на том и расстались, священник убежал по своим делам, а он остался в храме. Удивительно, но у него после этого прохладного разговора вдруг как гора с плеч спала. Кажется, он искренне полагал, что обязан старику помогать, спасать, поддерживать. Возможно, и так, конечно, но есть же мера. «И правда, самое верное – перестать с ним общаться, – в который раз решал он. – Пусть не впутывает в свои дела…»

***

Как часто бывало в церкви, суетность его оставила, он теперь не торопился бежать работать, хотел помолиться. Но… что-то сковывало внутри, и не получалось. Захлестнула неловкость, казалось, что на него смотрит целая толпа, хотя в храме была только уборщица.

Он смутился, его давно ужасало собственное нечувствие. Он же учился, много читал, про святых что-то знал и помнил. Но заботы настолько уводили в сторону, что он подходил к ним не как к самым на свете любимым и близким людям, даже не как к давним друзьям, которым можно душу излить, посоветоваться, попросить помощи, как случалось когда-то, а просто формально прошептать: «Моли Бога о нас», – и ничего при этом не ощущать и не хотеть.

И ещё он думал теперь, что если много знаешь, это мешает. Когда он только открывал для себя истории некоторых святых, он ночами спать не мог, содрогался, представляя, что они вытерпели. И ради чего? Не ради себя, ради других, ради любви к ним, потому что не любить уже не могли.

«Вот, например, Ксения Петербургская, – остановился он перед иконой. – Сколько вытерпела, мороз, голод, насмешки, презрение, труды, муки телесные и душевные, и при этом продолжала молиться и всех любить. Добровольно, по собственному желанию. И даже представить невозможно, какой силы было это желание. Чтобы взять и в одночасье раздарить имущество. И ничего себе не оставить. И на улицу. Не в монастырь даже, где худо-бедно накормят и спать уложат, а на улицу прямо. Вот как это? Неудивительно, что все сочли её сумасшедшей. Слишком быстро решилась. Молодая женщина, которой ещё жить да жить, которая могла бы погоревать и снова замуж выйти, детей родить, всё мгновенно раздаёт и в странной мужской одежде идёт бродяжничать. Сразу! То есть не то чтобы там сначала лет

пять-семь при храме пожить-послужить, потом ещё десяток лет где-нибудь в неизвестном скиту у старца на послушании, а прямо раз – и на улицу! А там лужи, слякоть, дождь, а потом снег, лёд, холода, морозы, ветер пронизывающий. И она без валенок, без шубы и перчаток – похоже на фантастику. И ей не падают в ноги, не поют хваления, нет. Её обзывают, пинают, гонят, злые дети грязью закидывают и камнями, смеются над ней, потому что она «безумная» и бездомная, и «Андреем» называется, ха-ха-ха, потеха да и только. А если люди добрые, то дают ей какие-то вещи, деньги, но она не берёт! А зачем ей?.. Но так ведь ни одна женщина не сделает, как бы погибшего мужа ни любила, – рассуждал он. – Самое большее – это в монастырь, а обычная верующая вдова будет молиться о покойном, милостыню раздавать, панихиды заказывать, но не начнёт же бродяжничать в его одежде! Значит, она уже при муже была святой каким-то образом, и потому прямо так, без подготовки, «нырнуть» смогла в новые условия? «Стать» покойным любимым, чтобы много лет потом оберегать, хранить, обжигать нежностью его же самого, как такое возможно? А как жить без крова, без еды, ночами не спать молиться и кирпичи таскать», – это всё он пытался представить, ещё когда читал житие, и плакал, понимая, что она этого не могла не делать. И почему-то тогда решил, что в какой-то момент святые, наверное, хотят освободиться от своего же подвига любви, потому что устают, мучаются, но уже не могут остановиться и совсем тогда идут сгорать дотла, без остатка, без сожаления. «Ничего мы про вас не знаем, – продолжая смотреть сквозь икону, с болью и отвращением к своему нечувствию думал он. – Ну, полоснёт нас ножом раз, другой, и нам уж кажется, что мы познали истину. А сколько раз вас живьём резали и как? Нет, ничего мы про вас не знаем…

И как после этого мы просто подходим и бормочем перед иконой что-то, какие-то мелкие свои просьбы, какие-то скорби, или формально пробубним тропарь, если кто вдруг взял на себя такой неподъёмный труд и выучил, и ничего не чувствуем разжиревшим сердцем, будто оно оглохло и опухло или спряталось под пудовые одеяла, вот это всё – это же какая-то игра в жизнь, это же не так должно быть!

А оно так. И это грустно, мерзко это. В одном только храме икон десятки. А ты ведь жизнь одного, одного единственного святого, вот Ксении Петербургской, за все свои слепые и убогие семьдесят-восемьдесят лет существования вместить не сможешь. А когда знаешь много таких историй, то они уже одна на другую нанизываются, и вовсе перестаешь удивляться и плакать, потому что святые они, оказывается, все такие, им так положено, чтобы мучиться, терпеть, от всего отказываться, вызывать отвращение, неприязнь, ненависть людей падших, совершать подвиги и казаться сумасшедшими, и всех при этом любить с невозможной сверхъестественной бережностью, тихой лаской, деликатностью. И уже к этому как к должному относишься, не как к чуду, а как к должному. Раз ты святой, так помоги, обязан! Вот такое потребительское паскудство. То есть мы должны бы стоять часами перед этими святыми иконами и рыдать, и слов не находить, кроме как покаянных воплей о том, что мы не то что отдалённо повторить, но даже представить себе не можем ничего похожего на то, как они жили и что совершали. А мы без всякого благоговения что-то мусолим и выпрашиваем, что-то, скорее всего, мелкое, а порой и вообще ненужное. И считается, что мы молимся. Детский сад какой-то…»

«А каково святым весь этот бред слушать, – терзался он. – Наверное, покой им только снится. А как иначе, если сотни, тысячи, потом десятки тысяч, а с течением лет и миллионы людей просят о чём-то, и каждого люби, и каждому сострадай, и каждого услышь. А мы, «молитвенники», – несчастные незрячие калеки, не люди, а какие-то призраки, вывернутые наизнанку, которые понятия не имеют, что нужно для спасения, страдать не хотим, обижаемся, ноем, что не помогают нам. И сколько, должно быть, просят о глупостях, о материальном, об успехах, победах, деньгах. Да ведь и сам так делал, чего скрывать, тоже периодически накатывало, и канючил о пустячном, о повышении зарплаты, о том, чтобы жильцы нашлись на съёмную квартиру, много о чём – стыдно вспоминать. А если человек тяжело болен, мучается, умереть быстрее хочет, как они ему скажут, что нужно ещё потерпеть чуть-чуть для спасения? Святой стоит рядом, жалеет его, а он не чувствует, не знает… Не позавидуешь такой «работе»»,

– усмехнулся он. Тут снова вспомнился сон, вот, пожалуй, зачем он: не стоит уничтожать себя за долгое утомительное нечувствие, это просто очередной шаг. Спасибо, Елисей. Он попросил у святых прощения и вышел из храма.

17

Интересно, что вопреки нечувствию «чувствие» или как это ещё можно назвать, как раз бывало связно с чем-то совершенно неосознанным или непостижимым. Вот, например, Евангелие… Иногда, читая в очередной раз знакомый наизусть отрывок, он вдруг вообще будто прекращал понимать, что читает. Допустим, девятая глава от Матфея, начало – исцеление расслабленного.

У него внезапно возникало ощущение, что он читает не об исцелении расслабленного, а что-то настолько сокровенное, неприкосновенное, что на земной язык никак непереводимо. Это был такой редкий праздник души. Наверное, можно было бы сравнить с ранними христианами, которые собирались в прохладных пещерных храмах, в катакомбах, полумраке, при свечах, проводили службы, беседы, учились, и это было что-то абсолютно новое, где над всем главенствовало некое радостное изумление; они хранили и постигали величайшую тайну, и невозможно даже представить, как они этот совершенно иной, непривычный, пленительный и желанный, ставший вдруг реальным мир на себя примеряли. И их было ещё совсем мало, и никто-никто этой величайшей тайны кроме них не знал.

Вот и у него порой рождалось такое же ощущение, что он открывает непостижимое, бесконечно ценное, заветное, долгожданное... То есть чудо про исцеление, оно уже известно. Известны уже его толкования, например, Феофилакта Болгарского, о том, что расслабление произошло от страстей, или Иоанна Златоуста о том, что Господь предварительно исцелил душу, отпустив грехи. А он чувствовал, что есть ещё неизвестные смыслы, которые выше, и которые тут уже вряд ли откроются, а откроются, наверное, потом, на следующем этапе жизни, потому что должно же быть продолжение! И вот он чувствовал прикосновение к необъяснимой тайне, к новому какому-то грандиозному празднику, но ни в какие мысли облачить всё это не мог.

***

Он убрал Евангелие, взялся работать, открыл таблицу на ноутбуке, но теперь взамен ушедшей тревоги его не покидало чувство загадочности и живого чуда.

И тут… Ему явился… Богослов!

Но не в каком-то видении явился или грёзах, или полусне, а самым натуральным образом – позвонив в дверь. Как в фильме, не в домофон даже, который ему при ремонте установили, а без предупреждения в дверь прямо. То есть среди проникновенной тишины, окутанной ореолом невесть откуда взявшейся мистичности вдруг собственной персоной, с Кипра, как с неба свалился! Он глазам не поверил, отпрянул. А тот вошёл, как всегда, невозмутимый, бессловесный, подтянутый, безупречный, безразличный. Ну, да, правильно, вспомнил он, Богослов возникает в самую неожиданную минуту, когда ничто не предвещает, и разом что-то в жизни меняется.

– Твоя Даша меня командировала, – объяснил он своё внезапное появление. Этой одной фразы хватило, чтобы понять самое ужасное, что могло быть: он всё знает!

Чтобы прошёл стыдливый смертельный испуг, он пробормотал:

– Здравствуйте. Рад вас видеть.

Не было смысла банально интересоваться, где он взял адрес, не пришёл ли убить его и задавать тому подобные незначительные вопросы. С Богословом необходимо сразу говорить о главном, ибо исчезал он из жизни так же неожиданно, как появлялся.

Поскольку ответ на «достоевский» вопрос «есть Бог?» был уже давно найден, оставался только второй по важности момент, который его всё-таки мучил, и который ему необходимо было прояснить:

– Откуда у неё деньги? – выпалил он. Речь шла, естественно, о матери Елисея.

– Наследство получила, – пожал плечами Богослов, взглянув на него со снисходительной жалостью, будто хотел сказать: «Я тут с Кипра явился ради экзегетического анализа Апокалипсиса, а ты всё низменном», но вместо этого вежливо пояснил. – У неё родственник умер в Финляндии, она ухаживала за ним, на Валаам возила. Оставил ей дом и крупную сумму. Кстати, эти деньги попали к ней в руки ровно за день до того, как она узнала про твои суды и рассказала нам. Решила, что это знак, и тебе помогла. Телефон твой мы ей дали.

Он поразился и замолк. Его давно удивляло и восхищало, какие точные цепочки событий выстраиваются незримо. Всё происходило как бы случайно, начиная с того момента, когда он решился, как по наитию, «похитить» Иону из дома Олиных родителей. Возможно, позже он уже на это не пошёл бы. Потом стихийные действия без раздумий, кредиты, ремонты, поездка в Грецию. Сам факт, что она, совершенно посторонняя женщина, будучи в Финляндии, узнала про его историю, когда о ней понятия не имели те же самые Даша и Богослов, был невероятен. Да и он ни за что бы не стал рассказывать Елеазару про свои семейные дела и суды, после того, как Даша поведала «страшную развратную правду», но что-то с ним тогда после Филеримоса сделалось, и стало безумно жаль его, гордыня куда-то схлынула, захотелось по-человечески поделиться.

Оказывается, всё неслучайно. Именно в тот момент мать Елисея на руки получает деньги, и на следующий же день приходит от Елеазара письмо. Старик, естественно, не подозревал о наследстве, и, как потом выяснилось, писал ей саркастично о том, что, дескать, у этого недотёпы скоро и сына отнимут, пока он витает в божественных облаках. «И поделом, – ехидствовал дед, – у вас же там сказано: «кто не откажется от матери, жены, детей, тот недостоин», вот как раз и откажется, в этом, видимо, состоит блаженство». Знай завистливый старикан про наследство, он бы и не подумал злорадствовать и рассказывать про его горе. Елеазар бы тогда сам в той или иной мере на её помощь рассчитывал. «Матерь Божия помогла», – логично подумал он.

– А ты уж решил, что она две лепты отдала? – угадал гениальный Богослов.

– Решил, – признался он и, чтобы не оттягивать страшную драматичную развязку, какая непременно теперь должна была случиться, бросился в омут с головой. – Зачем вас Даша прислала?

– Ну, не для кровавой расправы, – усмехнулся Богослов, поблёскивая очками, за которыми почти не видно было его глаз, что, может, и к лучшему. – Когда она прилетела из Москвы и тут же начала покаянно рыдать, я даже ничего не почувствовал, – с чего-то высокомерно поделился он сокровенным.

Вот как... Опять он ошибся в своих прогнозах. Он-то думал, что Даша разве только под пыткой проболтается или во сне. Ну, не резон ей с ребёнком, не имея жилья и работы, признаваться мужу в измене, рискуя всё потерять. «Это, зная-то самолюбие Богослова, она ему рыдать принялась, – поразился он. – Вот она какая, оказывается. Не побоялась, не на исповедь пошла, чтобы втайне осталось, чтобы муж никогда не узнал!»

Вот он точно так бы сделал, будь Оля жива, ни за что бы ей не сказал. Он представил, как Даша приезжает, вся огнём горя от ужаса содеянного, и с порога «в ноги ему бросается», потому что не может держать это в себе, потому что ей нужно настоящее прощение, от него, от Богослова прощение, а не только разрешение грехов посредством священника.

Ну, ясно, Дашу он тоже совсем не знал, кого он там знает? А Богослов, значит, «ничего не почувствовал», – ужасно вознегодовал и целый ушат осуждения вылил на обесчещенного им же самим супруга он, и вместо того, чтобы со стыда умереть и тоже ему в ноги броситься, на мгновение прямо ненависть какую-то почувствовал к этому каменному созданию в очках.

– Что же ты женился тогда на ней? – в сердцах прошептал он. Собственно, он не собирался ничего подобного шептать, но само вырвалось.

– По рассеянности. Машинально, – ответствовал черствейший из всех людей на планете Богослов, смахивая пылинку с белоснежного манжета. Впрочем, что-то в его жесте и даже голосе скользнуло нарочитое.

И тут вдруг впервые за всё это время, за эти почти десять лет, он понял, что Богослов, кажется, очень полюбил Дашу. Что, она с самого начала ему нравилась, и что после он, действительно, её любить стал, по-настоящему, сильно, трепетно, совсем не как он сам, со своими пошлыми страстями. Более того, после этого наигранно равнодушного «машинально», ему совершенно ясно стало, что тогда, давно, когда шёл тот разговор Богослова с Елеазаром, нечаянным свидетелем которого он стал, в момент того странного «сватовства», когда старик буквально навязывал свою внучку этому долговязому сухарю в очках, тот согласился на брак – «по послушанию», ещё не любя Дашу, но, решив или просчитав как-то, что тут «воля неба», что нужно именно тут абсурдно смириться, что это будет что-то подлинное, какой-то подвиг даже, словом, из любви к Богу он решился тогда на этот эксцентричный шаг.

И тут только, опять же впервые за эти долгие годы, он ощутил, что Богослов просто до безумия любит Бога, что за его чёрствостью и холодностью прячется что-то, что он всеми силами и поистине талантливо скрывает, боится показывать, что-то столь сокровенное и обжигающее, ради чего и не только на женитьбу на «блуднице» можно пойти, а и на те самые муки, на которые добровольно шли святые, и на какие, кстати, он никогда бы сам не пошёл, даже мня себя человеком верующим.

Вот это всё в один момент он понял, а в следующий его уже кольнула ревность, что он-то сам совсем не такой отчаянный и не до сумасшествия влюбленный в Свет истины, а другой, что как раз это он каменный и чёрствый, а вовсе не Богослов, и стало на душе погано-препогано. Он поднял грустные ясные очи на этого человека, одарённого неземным счастьем:

– Ты простил? – впрочем, ответ и так был понятен.

Тот заметил перемену мыслей, настроения и прозорливо усмехнулся:

– А ты думал, я её из дома прогоню?

– Мысли разные были, – смутился он. Всё-то он знает, небожитель. И чтобы расставить точки над «и», с внезапной злющей иронией заключил. – И теперь вы живёте долго и счастливо?

– Даша родила второго ребёнка, – отчетливо известил Богослов. Это уж было последним ударом, ниже пояса.

– Поздравляю, – чувствуя, что сейчас расплачется, от всей души позавидовал он. Тут вдруг его пронзило страшнейшее предположение, и он в ужасе уставился на Богослова.

– Нет, – отрезал восхитительный Богослов. И не успел он даже посметь подумать о невероятной возможности, лишил его всякой надежды на чудо. – Это не твой ребёнок.

– Ну что ты, я бы никогда и не подумал, – нагло соврал он.

– Не ври, – вежливо остановил Богослов. – Подумал бы. Потому что я и сам подумал. Там, понимаешь ли, срок один в один. Но, как бы тебе объяснить? После рыданий у нас состоялось бурное примирение. А спустя пару недель, мы узнали. И Даша напряглась. Сильно так напряглась. И сказала, что всё возможно, и что она не знает, чей он.

Тут он снова почувствовал, что начинает верить в несбыточную мечту. Собственно, почему ему так абсурдно хотелось, чтобы это был его ребёнок, он вообще не понял, – глупее и сложнее этого ситуации и выдумать бы нельзя было, но он толерантно успел оправдать себя тем, что любому мужчине по непреложным инстинктивным или каким-то ещё подсознательным соображениям, этого захотелось бы.

– Пришлось мне делать тест, – неумолимо вещал истину Богослов. – Он оказался положительным. Вероятность 99,75%, – эх, даже «а три процента?!» тут не прокатывало, усмехнулся про себя он.

– Поздравляю, – приняв удар судьбы, теперь уже увереннее повторил он.

– Даша просила передать тебе результаты теста, – Богослов протянул ему бумагу.

– Это зачем ещё? – возмутился он. – Неужели я со слов не поверил бы?

– Не-а, – уличил всеведующий. – Не поверил бы. Всегда бы сомневался, думал бы что-то там. Зная твою впечатлительность, это и я понял, а уж она тем более.

Он, как дурак, вертел бумагу, чувствуя себя оплёванным. Впрочем, они были правы, на сто процентов правы, без всяких там трёх… Конечно, без этой бумаги он всегда бы думал.

– А если бы он мой был, отпустил бы её? – непонятно зачем спросил он.

– Нет, – отрубил Богослов. – И результаты этого теста подделал бы! – хитро стрельнул он по нему взглядом из-под очков.

Ну, теперь-то уж он точно понял, что они видят его насквозь. И успокоился. И даже благодарность почувствовал, что он так насвинячил, а они ещё о нём заботятся. Да, у него непременно мелькнули бы даже такие мысли, что Богослов подделал документ, да, он такой. Ненормальный мечтатель. Для чего-то всё-таки посмотрел в бумагу. Что-то его там зацепило, но он не мог понять что. Внимательно посмотрел снова и догадался.

Дело в том, что в своё время он далеко не сразу узнал, как зовут Богослова, его ведь все так и называли между собой «Богослов». Случилось это на их с Дашей венчании, где без имён обойтись было нельзя. Ну, собственно, а как могли звать Богослова? Тут и думать нечего, разумеется, Иоанном. Даже не Григорием, и не Симеоном.

Удивительно, но люди крайне редко обращались Богослову по имени. А если всё-таки обращались, то именовали исключительно Иоанн Иоаннович. Назвать его просто Иваном казалось невозможным, кощунственным, абсолютно противоестественным. Поэтому для всех он оставался только Иоанном Иоанновичем и никем другим.

А тут в бумаге было написано «Иван Иванович», как будто он обычный человек какой-нибудь, а не великий и ужасный Богослов. И это вдруг его насмешило: «Он тоже Ванюша, оказывается!»

– А что, на Кипре и русская клиника есть? – поинтересовался он.

– Нет, но русских врачей хватает. Между прочим, этот тест стоил кучу денег! – так укоризненно заявил Богослов, будто эти деньги были главным обвинением, а всё остальное вроде бы и в счёт не шло.

– Мальчик? – уже теплее полюбопытствовал он, чувствуя, наконец, что его отпустило, что его простили, и что, как сказал бы Булгаков, «все счета оплачены».

– Девочка, – не смог скрыть тёплой нотки и Богослов, и словно испугавшись этого, резко встал с места и двинулся к двери. – У меня еще встреча в МДА, я ведь в Москву по делам приехал, – и мгновенно ушёл, не попрощавшись.

Богослов едва дверь закрыл, а он уж стал восторженно поэтизировать их с Дашей союз, думать, что это, оказывается, куда более романтичная история, чем казалось, что-то фантазировать и, конечно, заново ругать себя. Впрочем, решил он, то, что случилось между ними, когда она приехала в Москву, наверное, для чего-то нужно было. Например, чтобы поставить точку, иначе так и осталась бы тяжёлая недосказанность – тёмный след их прошлого, который давно следовало смыть. Он даже не помнил, каялся ли когда-нибудь в том, что всегда смотрел на Дашу «с вожделением». А ведь, пожалуй, нет. Ну да, они вошли с «чёрного хода», но они хотя бы разделались с призраком прошлого. Разделались «большой кровью», а не чистой водой, но зато теперь всё. Теперь об этом осталось забыть...

***

И время снова побежало. Он продолжал работать и заниматься Ионкой, она «с тех самых пор», совсем отдалилась, виделись они теперь раз в месяц или реже. Он чувствовал, что в ней произошли перемены, но были ли они связаны с той нелепой забавной сценой не возобновленных отношений или её внезапная задумчивость и загадочное напряжённое молчание явились результатом каких-либо неведомых событий в жизни, он интересоваться не смел.

Сайты знакомств ожидаемых результатов не принесли. С одной женщиной он всё же встретился, пригласив её в кофейню, пока Иона находился в садике. На «свидании» ему стало откровенно скучно. Он понял, что кого-то «завоёвывать» или «покорять» у него нет ни сил, ни желания. И это несмотря на то, что женщина была хороша собой, приятна в общении, имела лишь одного маленького ребёнка, подработку репетитором французского и серьёзные намерения по созданию семьи. Водила машину, жила с мамой на окраине Москвы в двухкомнатной квартире, как раз по его подмосковному направлению – между их домами существовала удобная транспортная доступность. Её не остановили его трудности и проблемы,

которые останавливали других. Можно было переселить её вполне ещё активную маму к нему, а им съехаться, – меркантильно рассчитывал он, светло улыбаясь и говоря комплименты. Казалось бы, все предпосылки продолжить общение были, но…

Он не захотел. И сам не понял почему. Женщина понравилась, казалась порядочной и доброй, могла бы стать мамой для Ионы. Но чувствовал: «что-то не то», а что «не то», объяснить не мог. Причина была в нём самом, конечно, а не в ней. Он остался безразличен. Его измученное долгими «скитаниями по пустыне жизни» сердце не дрогнуло, ничего внутри не отозвалось, он не ощутил ни интереса, ни радости, ни желания знакомить её с Ионой или самому ехать в гости, чтобы посмотреть на её годовалого малыша. Словом, кроме банального бестолкового физического влечения не возникло вообще ничего, а это в свою очередь вызвало только раздражение, и он решил больше не общаться, ответил вежливым равнодушным отказом, когда она через неделю предложила снова встретиться.

После того невкусного свидания, где он для чего-то старался произвести на неё впечатление, «не ударить в грязь лицом», и кажется, ему это даже удалось, он ясно понял, что сильно переоценил свои мнимые желания создать новую семью. Похоже, это были очередные сказочные фантазии, а на самом деле ему с головой хватало Ионы, и больше никто не был нужен. «Мама для малыша, – решил он, – может быть только родной и единственной». Пусть Оля смотрит на них сверху и радуется, что он не привёл в дом чужую женщину и не отдал ей на воспитание её сына, что он бережёт в памяти те недолгие прожитые с ней годы. А они вместе, по-мужски, пройдут этот путь вдвоём, и уж как-нибудь обойдутся без посторонних. Подумав ещё немного, он удалил анкету с сайта знакомств, чтобы больше не морочить голову себе и другим.

***

В тот день директор Ивана попросил организовать для них перелёт в Минск, – предстояло провести несколько выступлений в разных городах Белоруссии. Пока он бронировал билеты, отели, рестораны, тренажёрные залы и обсуждал райдеры, с фарисейской дотошностью согласовывая каждый мельчайший нюанс, вспомнилась одна история, связанная с поездкой в монастырь к Ефросинье Полоцкой.

Ему тогда повезло – в группе в последний момент освободилось место, и можно было отправиться в паломничество бесплатно, только купить билеты на поезд. Он согласился, вспомнив, что в этот же монастырь незадолго до смерти приезжал Елисей. Впрочем, в путешествии он об этом совсем не думал, атмосфера была радостная, «девчонки» его окружили вниманием и весёлым щебетанием, время летело стремительно. Их впятером определили жить в частном доме, располагавшемся в нескольких автобусных остановках от монастыря.

Он был начинающим паломником, и не удивился, что дом такой ухоженный, современный, просторный. А вот его однокурсницы (он оказался в компании четырёх женщин, что в ту пору вызвало нешуточную Олину ревность) были изумлены, говорили, что впервые попали в такие «хоромы», осматривали восхищённо каждый уголок. Рассказывали, что обычно в подобных поездках их селили в скромные гостиницы с удобствами на этаже, где в небольшой комнате стояло по десять и более кроватей. Тут же девушек разместили по двое, а ему предоставили отдельную спальню с красивой элегантной мебелью, качественной стильной отделкой.

Впрочем, дом ещё не был доделан, третий этаж появился недавно, там шёл ремонт. Он не вникал в подробности, но понял, что внутренние работы, а частично и возведение коттеджа производилось силами хозяина и его жены. Это была семейная пара лет немного за сорок: она – доброжелательная, общительная, приветливая хохотушка, он – полная противоположность – угрюмый, мрачный, молчаливый курильщик, который постоянно поругивался, дымил и сплёвывал на землю. Объединяла их невероятная работоспособность и деловитость: оба с утра до ночи, не покладая рук, занимались домом – он ремонтом, она огородом и кухней. У них была цель – достроить мечту их жизни, ради которой они трудились, копили, в общем, жили.

С большой печалью хозяйка поведала, что их дочь, уехав учиться в Москву, уже два года не была в Белоруссии, и, похоже, не собирается возвращаться. Она нашла богатого

ухажёра и собралась за него замуж. «Ну, может, когда-нибудь захочет приехать, пожить тут с нами, а может, родит детей, тогда вспомнит, что у неё есть свой дом», – вздыхала и разводила руками Алёна. Строительство начиналось, когда дочка ещё училась в школе, и мама мечтала, что великолепный коттедж станет родовым гнездом, что они успеют родить второго ребёнка, потом дождутся внуков… Но дело затянулось, и только сейчас близилось к завершению, когда у дочери была уже своя отдельная жизнь, где родителям отводилось самое скромное место, да и дорогой когда-то сердцу Полоцк был забыт.

Ему запомнился один эпизод. Вечером, когда они приехали усталые и счастливые из монастыря после службы, сидели на веранде и болтали, его однокурсницы, глядя на небо, заметили яркую звезду. Она так выделялась среди остальных, так блестела, что девчонки, конечно, сразу вспомнили Вифлеем, и стали гадать, что это за планета. «Все звёзды как звёзды, а эта! Прямо выпендривается!» – пошутила одна из них. Решили, что Венера, но точно сказать никто не мог, все оказались гуманитариями, с астрономией «не дружили». Хозяйка уехала в магазин, а когда спросили подошедшего хозяина, тот неприятно усмехнулся, сплюнул и саркастично процедил: «Вот бабы! Им звезды интересно! Ну вам-то какая разница, что это такое, Венера или Химера, не один хрен? Это только бабе в голову придёт про звёзды спрашивать!» Они оторопели от такой грубости, но возражать, разумеется, не стали, смиренно переведя разговор на земные предметы.

Когда он потом вернулся домой, то нарочно завёл с Олей беседу про звёзды, хотел посмотреть на реакцию. На удивление, ей при всей её прагматичности тема понравилась, хоть она и удивилась, почему он говорит не про монастырь и не про святую, которой они молились. Он сделал вывод, что женщины, даже неромантичные, оказывается, действительно, любят говорить про звёзды…

В Белоруссии при отъезде, когда они сердечно благодарили хозяев, он взял телефон Алёны. Это она сотрудничала с паломнической службой и разместила их у себя, причём за чисто символическую плату, муж, кажется, вовсе был атеистом. Он ещё подумал тогда: «Какая умница, благочестивое дело делает, даже если их дочь не станет жить здесь, она, наверное, начнёт постоянно пускать паломников, которые приезжают в Полоцк, дом не будет пустовать». Три года он отправлял ей пасхальные и рождественские приветствия, а на четвёртый решил позвонить.

Но ответила не Алёна, а её дальняя родственница, которая сообщила… что женщина умерла полгода назад. «А вы и не знали!» – упрекнула его она. Что именно случилось, рассказывать не стала. Он был потрясён. Когда они гостили в Белоруссии, Алёна выглядела цветущей, полной сил, энергии, жизнерадостности. Она была крепкой, крупного телосложения и отличалась большой выносливостью, настоящая богатырша, пышущая здоровьем. Зимой, когда ремонтные работы было вести сложнее, а огород в уходе не нуждался, она уезжала «калымить» к дочке в Москву, выстаивала холодные дни на улице, бралась за любую работу, даже тяжёлую, вкалывала с утра до ночи, лишь бы платили хорошо. Она не жалела себя, ведь у них была цель – достроить своё родное гнёздышко. В одной из задушевных бесед призналась им, что на морозе заболела по-женски, и врачи пугали, что едва ли она после этого сможет родить. Что делал во время её зимних трудов «на чужбине» благословенный супруг, история умалчивает, во всяком случае, в разговоре он заявил, что из своей страны не выезжал ни разу.

Он попытался разговорить родственницу. Та оказалась двоюродной тётей и больше рассказывала о себе. Однако удалось выяснить, что похоронили Алёну в родном Полоцке, и её дочка впервые за все эти годы приехала домой на несколько дней. Потом она вернулась в Москву, где уже работала и благополучно жила с богатым мужем. По секрету ему зачем-то поведали, что дочь страдает дисфункцией яичников, и едва ли сможет зачать ребёнка. Это совсем опечалило, получалось, что роскошный дом, в который столько души, сил, денег, мечтаний вложила Алёна, оказался ненужным даже потенциальным внукам.

После разговора он вспомнил, как им показали комнату, которая предназначалась дочери, она была светлая, радостная, с яркими обоями, а на кровати лежала огромная плюшевая собака. И вот он представил, как во всём доме остался один её угрюмый муж, которого он даже

забыл, как звали, как он там ходит по этажам, курит и сплёвывает, смотрит на собаку и думает, что со всем этим теперь делать. «Может, надо было ему с ней всё-таки говорить про звёзды хоть изредка…» – подумал он тогда.

18

Но теперь ему самому не хотелось говорить про звёзды, да и не с кем было. Мокрый холодный апрель за окном романтичного настроения не создавал. Он лишь иногда вспоминал первую весну с Олей, как они гуляли вместе по центру Москвы, пугая прохожих своим экзотическим видом, как она останавливалась перед витринами, без стеснения тянула его в самые дорогие магазины, прекрасно зная, что они ничего не купят, как щебетала что-то про моду, бренды, и голова шла кругом, и звёзды были так близко… Теперь ничего похожего в душе не осталось.

Впрочем, Ионе он пытался показать Большую Медведицу, а тот в ответ возмущался, что никакого «мишки» на небе нет. Вспомнив эту историю, он решил свозить малыша в планетарий – благодаря недельному отсутствию Ивана у него появились свободные часы. Гастроли не означали отсутствия поручений, но в поездках с певцом «нянчилась» она, а ему оставляли компьютерную работу, которую можно было делать в любой момент. Такие необременительные задания без привязки ко времени и другим людям он любил больше всего.

Билеты в планетарий были куплены, выбран рабочий день, когда поменьше посетителей, и он гадал, как малыш воспримет шоу, не испугается ли, не начнёт ли капризничать. Поехали на такси, чтобы не связываться с переполненной утренней электричкой, отправились с большим запасом, поскольку в Москву могли быть пробки, кроме того, он хотел оставить время на внутренние музеи и фотографирование.

Сам он в планетарии был один раз и тоже с Олей, на заре их отношений. Она, узнав, что он провёл жизнь сначала в детдоме, а потом в Подмосковье на унылых прозаичных работах и «ничего в жизни не видел», потащила его в музеи, парки, театры, концертные залы, заодно борясь с его, а отчасти и собственными комплексами. В некоторые места можно было попасть бесплатно по инвалидным справкам, а где-то давали скидки. В общем, она его просвещала, а теперь он понял, что пора начинать просвещать Иону, и снова взгрустнул, представляя, как бы они втроём ходили на увлекательные мероприятия, детские спектакли, выставки или ездили в исторические усадьбы.

Зря он перестраховался, в пробки они не попали, а к планетарию прибыли так быстро, что рано было идти даже в «Лунариум». Он плохо знал Москву и решил посмотреть на яндекс-картах, нет ли поблизости какого-нибудь интересного места, где можно провести с малышом 30-40 минут. Каково же было его удивление, когда он увидел, что совсем недалеко находится тот самый Ермолаевский переулок, о котором писал старик!

И тут его охватило сумасшедшее любопытство, захотелось просто пройтись по нему, посмотреть, что это за загадочное место, где обитают страшные сектанты, желающие «выкупить душу» Елеазара за освобождение. Раз уж этот переулок волею судьбы оказался в двух шагах, нужно, в конце концов, разом «снять» с него завесу тайны, убедиться, что это обычная улица, а не какой-то вертеп чертей и оборотней.

На него нашло весёлое возбуждение, смешанное с лёгким страхом. «Нервишки шалят», – усмехнулся он, и ничтоже сумняшеся потащил Иону к переходу на Большой Садовой. По непонятным причинам его немного потряхивало, он будто чувствовал, что его там кто-то ждёт – ждёт независимо от времени, его настроя, мыслей, любых иных внешних факторов. Поэтому он твёрдо решил внимательно смотреть по сторонам, с прохожими не вступать в общение, не заходить в кафе, не останавливаться, а быстренько прогуляться, успокоить мятущуюся душу и утихомирить богатое воображение. Чтобы уж совсем наверняка никакое зло не коснулось, он перекрестился и наспех прочитал 90-ый псалом. Впрочем, за это вдруг стало стыдно: «Что уж так пугаться-то, подумаешь, пройдём по московскому переулку, подвиг какой. Нужно заканчивать эти глупости». Но псалом дочитал и отважно двинулся.

И вот они попали в Ермолаевский переулок! Он озирался, улыбался, говорил даже про себя: «Ну?! И?!» – но ничего не происходило. Они с Ионой тихонько брели без приключений, бегло оглядывая красивые здания старой Москвы, мешала только апрельская грязная каша под ногами, которую лениво начинали сгребать дворники – два дня подряд шёл запоздалый густой липкий снег, а теперь беспрекословно таял под тёплыми лучами. В итоге он совершенно успокоился, отругал себя за страхи и дурацкие суеверия, стал слушать весёлый щебет Ионы, который мог часами болтать об очень важных малышовых вещах.

***

Они дышали полной грудью и радовались весне, синенькое небо с долгожданным солнцем и мягкий ветер дополняли картину беззаботного счастья. Время позволило пройти неспешно переулок почти до конца, но потом он заторопился обратно, боясь, что не хватит времени на «Лунариум», зная, что после шоу малыш устанет и не захочет фотографироваться. Не будучи уверенным, что на Большой Садовой окажется в нужном месте переход, он решил вернуться тем же путём по Ермолаевскому, который теперь казался милым, уютным и гостеприимным.

И вот они уже намного бодрее шагали обратно, а он пытался растолковать Ионе, чтобы тот не пугался звёздного шоу под куполом, потому что это только «кино, не по-настоящему». Малыш вроде бы понимал и обещал не бояться, осталось дойти пару минут до пересечения со Спиридоновкой и там вынырнуть к Садовому кольцу.

Пришлось притормозить, потому что перед ними медленно шла женщина, которая разговаривала по телефону и волокла за собой сумку на колёсиках. Не будь с ним малыша, он, возможно, предложил бы ей довезти эту сумку, которая из-за плохо расчищенных дорожек периодически застревала, увязая в грязи. Но тут они поплелись за ней, и чтобы не перепачкаться в каше, которая была по бокам узкого тротуара, терпеливо снизили скорость, ожидая, пока подойдут к Спиридоновке, и можно будет разминуться.

Он почему-то сильно занервничал, что они опаздывают, и тихо сказал Ионе:

– Давай тётю обгоним, – но тот, видимо, устал идти и шагу не прибавил. А он ещё больше заторопился, ему не хотелось еле-еле волочиться оставшиеся метры до перекрестка, тогда он решил взять Иону в охапку и по снежной каше опередить женщину. Но едва он сделал попытку поднять сына, тот вдруг завизжал так, что дама даже обернулась на них. Ему стало неудобно, он поставил малыша обратно, ласково укоряя, и понял, что придётся смириться и ещё несколько минут терпеливо плестись за женщиной.

И тут произошло событие, которое вызвало очередное мощное и долгое «сотрясение сознания».

В тот самый момент, когда женщина спокойно покатила сумку-тележку дальше, а они двинулись за ней, раздался страшный грохот – прямо на неё рухнула огромная глыба талого льда с крыши, разбившись на куски. Он, вскрикнув от неожиданности, в ужасе отпрянул вместе с Ионой, а женщина упала раздавленная. Вокруг закричали люди. Зрелище было столь жутким, что он схватил малыша и бросился бежать куда-то назад, сломя голову. Потом, не помня как, выскочил к Большой Садовой. Перед глазами стояла пелена, сердце бешено колотилось, он ничего не соображал. Почему-то казалось, что за ними гонятся и вот-вот схватят. Но всё было обычно: ездили машины, шли люди, работали магазины.

Перепуганный Иона пронзительно заплакал, а он стал его успокаивать, сев на корточки, задыхаясь от отчаянного сердцебиения, говоря автоматически много ласковых, но абсолютно не значащих слов: «Не бойся, всё будет хорошо, папа с тобой, не бойся». Потом сам начал приходить в себя.

Возвращаться на место трагедии смысла не было. Люди вокруг всё видели и, конечно, вызвали скорую. «Господи, хоть бы она выжила», – молился он, понимая, что женщина с тележкой, не ведая того, спасла им с Ионой жизнь. Если бы они обогнали её или она не приостановилось, оглянувшись на крик малыша, то глыба льда рухнула бы на них.

– А той тёте больно? – всхлипывая, спросил Иона, он оставался в каком-то своём детском оцепенелом ужасе.

– Нет, – отрывисто бросил он, не зная, что сказать. Он плохо соображал, что делать дальше. Видимо, чтобы малыш вышел из болезненного состояния кошмара, он машинально повёл его в планетарий. Ребёнку было четыре года, и что-то объяснять казалось бессмысленным. Если бы они просто сели на такси и уехали, то нужно было бы всю дорогу говорить о том, что случилось, а он не мог.

Во время шоу Иона, действительно, постепенно отвлёкся, а он пытался собраться с мыслями и обдумать произошедшее, но ничего не получалось. От ужаса он чувствовал себя схлопнувшимся, спрессовавшимся внутри, перед глазами стояла белёсая мгла. Они с сыном только что были в одном шаге от смерти или чудовищной травмы. И у него на глазах погиб человек. Что это? Зачем? Как такое возможно, что женщина, которая шла куда-то с тележкой и ни о чём не подозревала, о смерти не думала, сейчас едет бездыханная на скорой, а, скорее всего, едет уже не она, а её искалеченное тело в морг?

После шоу, которое Иона смотрел тихо, испуганно, но в целом, скорее, безразлично, они снова поехали на такси – домой. В пути малыш уснул, а он держал его руку всю дорогу, уставившись в одну точку, которая находилась где-то внизу на спинке левого переднего кресла, и пытался осознать, что с ними произошло.

***

Уже в дороге он стал укорять себя, что повёл малыша в планетарий, это выглядело со стороны цинично и дико, а Иона наверняка запомнит и, когда вырастет, ужаснётся. «Подумает, что денег за билеты пожалел», – поедом ел он себя и никак не мог сосредоточиться на главном.

День окончился вяло, он возился и разговаривал с Ионой, чтобы отвлечься, в то же время очень хотел поделиться случившимся, но звонить друзьям показалось странным, знакомых священников он беспокоить не решился. Нужно было обдумать самому, но не получалось – мысли оставались короткими, бессвязными, разлетались в разные стороны, как испуганные мотыльки.

Про трагическое происшествие сделали репортаж в новостях, которые он полез разыскивать в интернете вечером, когда вышел из ступора. Так он узнал, что женщина погибла, что звали её Ларисой, и ей было 36 лет. В произошедшем обвинили коммунальные службы, объявили, что заведут дело о халатности. Его с Ионой очевидцы, конечно, заметили, рассказали, что «папа с малышом шли следом и чудом избежали смерти». На мутной съёмке с уличной камеры, которая находилась далеко впереди, их практически видно не было, только силуэты.

Вот и всё. «Нужно жить дальше», – сделал тупой вывод он. Видимо, от чрезмерного внутреннего потрясения и переживаний он так устал, что ночью мгновенно заснул. Только маячила перед глазами та женщина в метро, про которую он сочинил, что это его смерть. Ему ужасно стыдно стало, что он тогда острил про себя. «Со смертью нельзя шутить, – думал теперь он. – Она, действительно, страшна. Только святые её не боятся, но и не жаждут, и уж конечно, не станут иронизировать…» – после этого тяжёлый сон накрыл его чёрной лавиной.

***

Проснулся он до рассвета около пяти утра. Вот тут уже мысли понеслись бурной чередой, вчерашний кошмар вспомнился детально, а фантазия дорисовывала обезображенное окровавленное тело, размозжённый череп и иные «кадры» из фильма ужасов. «У неё ведь семья, дети, наверное, родители, – представлял он. – Как же так, в один момент, когда никто не ждал? А может, лучше, чтобы это были мы? А может, чтобы только я, например? А Иону бы тогда забрали Тамара с Вадимом…»

И он представил, что это он. Что Иону он успел оттолкнуть, а сам погиб. И понял, что нет, это совсем не лучше. Потому что он, ну вообще никак не готов умирать. Душа из тела выпрыгнет и будет болтаться неприкаянная и, видимо, хотеть обратно в тело, ведь она во всклоченном, вскипевшем, запуганном, окутанном страстями состоянии, в котором неуместно представать на Суд или на мытарства идти, или совершать что-либо иное посмертное, что неминуемо должно начаться. Он почувствовал себя так, будто его выдернули из тёпленькой кроватки, когда он сладко спал, и закинули на Луну, где темно, холодно, всё незнакомо и

непонятно, вот-вот кончится воздух, настанут страшные муки, и нет абсолютно никакой помощи.

В фантазии он в произошедшем винил себя, будто нарочно «лёд уронил» и с собой покончил. Ну и оказался, соответственно, где-то «не там», в леденящей мрачной пустыне. «Это потому, – быстро разгадал он, – что именно про смерть мы вообще не думаем всерьёз. Никто же не готовится к ней, будучи здоровым, полным сил. В храм ходить, причащаться, растить ребёнка – это ведь сплошная радость, это жизнь, счастье, но это не памятование о смерти. Это сиюминутное успокоение, которое моментально улетучивается в мирской суете и заботах, получается, вечность внимательно, углублённо, проникновенно совсем не ждём, нет. Мы если и думаем о смерти, то только так, что «ну не прямо сейчас же». А это, наверное, знак был, что может, и прямо сейчас, через секунду, через мгновение, когда думаешь совсем о другом: о планетарии, о сектантах, суевериях, о ясной весенней погоде… Но если так резко «выдернут», то, наверное, и у церковного человека душа может куда-нибудь «не туда» пойти…»

Как бы ему хотелось сейчас поговорить с Елисеем. Тот бы что-то неожиданное выдал, например, рассмеялся бы и сказал: «Так это же хорошо, это прекрасно, это же Божия воля личным огромным презентом, из рук в руки можно сказать, не где-то с кем-то, а вот она здесь и сейчас, вот тебе истинное счастье! Соприкосновение с вышним миром, оно же и такое может быть, как ты не понимаешь?!» – а потом бы перескочил на что-то другое и унёс бы его по обыкновению в неведомые дали.

Тут мысли рванули в сторону старика и его чертовщины. «А что если всё связано? – об этом он и вчера отрывочно думал, но не мог сосредоточиться. – Сказал же священник не ходить, и сам решил забыть, чего же полез туда, ещё и с ребёнком?» И чем больше он вспоминал, тем яснее понимал, что было в его внезапно возникшем желании попасть в переулок что-то мистическое даже, какое-то очень нехорошее любопытство, то, возможно, про что сказано «не искушай Господа Бога твоего». «Проверить решил! – истязал себя он. – Ну, конечно, ты же умнее! Ты же «выше» суеверий, ты же лучше знал, что ничего не будет! Ты ж церковный, тебя не коснётся! Вот тебе и «проверочка»! Ещё бы секунда и болтался бы сейчас во тьме, в кромешном бестолковом одиночестве. Ад, это ведь когда не помнишь даже, что Бог существует, – выхватил он из сумятицы прочитанное где-то когда-то. – Когда бесконечно мучаешься, забыв или перестав понимать, что Он есть, что Его призвать можно, а если даже вспомнишь, то не сможешь призвать и попросить помочь, и от этого ещё тяжелее,– вот это бы сейчас было с тобой, вот молодец какой, поэкспериментировать решил, посмеяться над «глупыми страхами!»» Тут ещё он сообразил, что ведь это Иона не дал «пойти на обгон» женщины, по сути, это его каприз, а скорее, его Ангел спас их обоих. «До какой же степени мы слепы и ничего не понимаем, – вещал про себя банальные истины он, но сейчас они казались открытыми заново. – А сколько раз, наверное, меня уберегали, не давали ошибиться, когда я об этом даже не подозревал!!»

В то же время для некоего «предупреждения свыше» слишком мощно… Ну, упал бы просто лёд, не убивая никого, неужели он так же в ужасе не убежал бы? Неужели не думал бы сейчас то же самое про скоропостижную кончину, про ад, про неготовность, про сектантов и свою глупую самонадеянность? Значит, той женщине пришёл срок, так получается? Случайной смерти не бывает, и, да, конечно, он не центр вселенной, чтобы из-за него «убивать». Значит, тот момент был лучший из всех возможных для этой Лары, которая, ни о чём не подозревая, толкала сумку на колёсах по плохо расчищенному асфальту.

«И что там у неё было, в этой тележке? – для чего-то озадачился новым умным вопросом он. – Может, продукты, а может, рекламные объявления по ящикам раскидывать, а может, она занималась благотворительностью, везла, например, передачу в дом для престарелых? А может, там кот внутри сидел и она его к ветеринару транспортировала? А может, она по работе курьерский заказ выполняла? А дома её ждали мама, муж, дочка, и вот им позвонили и сообщили… И они не поверили, в такое невозможно поверить. Решили, что мошенники, что негодяи их обманывают, потому что не бывает *так, сразу*, потому что у них же план на вечер – разобрать вместе балкон и выбросить лишний хлам, поужинать бабушкиным

пловом, а завтра она хотела передать в МФЦ документы, а в субботу выбраться наконец с ребёнком в Третьяковку, и хотя бы уже поэтому она не могла умереть, и они не могут осознать, вникнуть…»

Ему ужасно захотелось узнать больше о ней, кто она, кем работала, чем увлекалась, была ли верующей? Он, действительно, отчасти чувствовал себя виновным в её смерти, ведь Бог не только её забрал, но и его вразумил, стало быть, он с ней теперь связан как-то, но почему именно с ней, зачем? «Заказать бы хоть заупокойные поминовения в храме, но неизвестно, была ли она крещёной…» – маялся он. Сам за неё молился периодически короткими прошениями с момента гибели, позже, упоминая имя. «Ничего не понятно же, – пробормотал он. – Всё тут перемешалось… Лариса, Елеазар, Иона. Прости меня, согрешил опять, не послушался, пошёл...»

А ещё он вспомнил, что сам же в глубине души всегда хотел: «Чтобы смерть была внезапной, чтобы ничего не успеть понять, как уже всё случится. Чтобы не мучиться, не бояться, не страдать… Так, наверное, и многие рассуждают…» Конечно, он не раз читал, что это подход неправильный, глупый, но вот, удивительное дело, для себя желал мгновенной кончины, чтобы не болело долго, решив, очевидно, что Бог «как-нибудь да помилует». «Какое же это глубокое заблуждение, – только теперь наивно догадался он. – Что я всё спорю со святыми? Столько молитв с просьбой уберечь от внезапной гибели, а я и тут «особенный», мне и тут надо «привилегии». Нет уж, хорошо умирать потихоньку, плавно, неспешно, чтобы в вечность шаг за шагом, чтобы и боль была в радость, чтобы и там, на смертном одре учиться чему-то, догонять упущенное в суете. Так, возможно, придётся долго по капле восполнять то нужное, единственно ценное, что в миру было забыто или маячило далеко на заднем плане, но лучше уж так, чем как будто когтями из тела вырвали и в никуда швырнули».

«Вроде избитые истины, – поразился он. – Но вот ведь как человек устроен – пока не случится что-то лично с ним, сомневается, думает, что именно у него всё будет по-другому, что лично его не коснётся, – откуда это берётся?»

Желание узнать больше о погибшей женщине он теперь счёл глупым и грешным. Можно было бы попытаться навести справки, но выглядело это странно. Он же посторонний человек, который в глазах людей «случайно» оказался за ней, которому «случайно» повезло. Права любопытствовать у него нет, значит, от очередной дурной идеи нужно отказаться. И всё же он жаждал получить информацию об усопшей Ларисе, чтобы, возможно, помочь её близким, чтобы что-то новое понять, чтобы оправдать внутри себя этот кошмар, найти ему причину, пусть необъективную, но хоть какую-то.

Он понимал, что едва ли отыщется священник, который скажет то, чего он не знает, «повернёт» ситуацию, как он не смог бы, посмотрит с нового ракурса. На исповеди, конечно, изложил квинтэссенцию мысленного потока, но кроме слов сочувствия, советов келейно молиться и в целом согласия с его выводами, ничего нового не получил. А внутри продолжала свербеть незаполненная пустота недоумения: что же это за смерть была чужая, но к которой и он прикоснулся? Так в его жизни появилась ещё одна грустная тайна...

***

Вообще «пустот» таких накопилось много. Чем старше он становился, тем меньше понимал, тем больше задавал вопросов.

Например, напрашивалась провокационная мысль, что семья, то есть ребёнок и религиозность идут вразрез. Дни бежали однообразно и скучно: готовить, кормить-одевать малыша, развивать и развлекать, зарабатывать, занимаясь ничуть не духовной деятельностью, а ещё – отдавать денежный долг, потому что слова словами, а нужно оставаться порядочным человеком. Ну и когда тут «горнего» искать? Благодать, а скорее, утешение и умиротворение, полученные в храме, уходили на «погашение» мирской суеты, «растрачивались» за день или за два, а «запасать» впрок, сохранять, видимо, по великой греховности не получалось. Но раз Иона с ним, значит, так полезнее ему для спасения? Так должно быть? Только если он, предположим, через воспитание малыша «отсекает свою волю», что вроде бы хорошо и правильно, то почему ничего не приходит взамен? Почему к молитве давным-давно душа не

стремится, и он по утрам «выполняет правило», а перед причастием «читает каноны», не чувствуя ровно ничего?

Он и Богу задавал эти вопросы, но ответа не было или он «не слышал». Подозревал, что многие церковные люди, как он «головой» не мучаются. Умеют радоваться тому, что есть: солнечному дню, дождику, ребёнку, прогулке, скидкам в магазине, неторопливым домашним делам, отдаваться этому, не терзаясь обыденностью, понимал, что это мудро и правильно.

Но он так не мог! И всё время думал, думал и думал, уставая от кручинных мыслей, что «что-то неправильно в жизни, что-то не так», пытаясь разогнать их произнесением уже вслух даже молитв, но сосредоточиться на них не получалось, и снова одолевали, зудели и буквально физически отнимали силы безответные вопросы и унылые размышления.

И часто, когда он мусолил тоскливые думы, ему казалось, что это жуткая отсталость. Что этак ему «печалиться» и «пережёвывать» уместно было бы в самый ранний период церковного становления, лет десять назад, или вообще ещё в детдоме, а сейчас надо бы только молиться, а не идти на поводу у постоянных рассуждений, которые вроде бы и верные, но явно ко спасению не приближают. Но… он отвлекался, ленился, и молитвы не было.

***

Той трагедией вроде бы ему устроили приличную встряску, но ничего не изменилось!..

Про Иону он решил, что забудет о строгости, будет только любить, – пусть садится на шею, растёт эгоистом, он не станет его больше ругать, утомлять бесконечными наставлениями, пугать повышением голоса.

«И не только с Ионой, а со всеми так!» – вдохновенно планировал он. – Жить, будто уже умер. Не внезапно, а хорошо, правильно умер». Как бы он мёртвый, и ему хорошо мёртвому – неизменное состояние, что всех любит, видит, что все хорошие, все страдают по-своему, и жалеет их. Незаметно, тихо жалеет, как мертвецу положено, невидимо. И он уже не может раздражаться, – а только незримо поддерживать.

На деле, правда, отстранённой эйфории хватило дня на три, а Иона таки вывел из себя, когда заголосил на всю улицу, упал лицом и телом в грязь, требуя склеить сломанную пластиковую машинку, которую сам же зачем-то грохнул камнем, развалив на несколько частей, и которую уже починить было нельзя. Никакие хитрости и предложения немедленно купить новый автомобиль не действовали. На малыша временами находило непостижимое истеричное упрямство, когда он орал, как сумасшедший, от чувства фатальности. «Никогда, никогда, никогда уже не будет у меня этой машинки!!!» – во всю ивановскую вопил он.

Прохожие оборачивались, некоторые даже пытались помочь успокоить бьющееся об землю чадо, а ему было неловко, и он явно не справлялся с ситуацией. Объятия, ласковые слова, крик, шлепок, на который он в конце концов сорвался, – ничего не действовало. Тогда пробежала мысль, что безупречно любить могут только мёртвые, а он как ни крути ещё живой, и значит, ничего не получится.

«Мёртвым быть ещё сложнее, – чуть не плача сам, в отчаянии постигал истину он, тупо глядя на орущего малыша и безрезультатно гладя его по голове. – Это ж кошмар, когда ты вроде бы и рядом, и сострадаешь, и жалеешь, и любишь, а дать уже ничего не можешь, потому что тебя не видят и не чувствуют». Наконец он сгрёб дрыгающего ногами и упирающегося Иону под мышку, понёс на скамейку и, сам не понимая почему, рявкнул страшным голосом:

– Замолчи наконец, а то орёл прилетит!!!

– Какой орёл? – обалдел и отвлёкся от истерики испугавшийся малыш.

– Золотой! Небесный! Чей так светел взор незабываемый! И клюнет в темечко! Вон он уже за облаками, видел я его!! – и пока затихший от удивления Иона пытался осознать реальность опасности, схватил его за руку. – Бежим скорее! Скорее!!! – гаркнул он так, что на них снова все обернулись, это было комично и глупо, но ничего действеннее в голову не пришло. Он двинулся вперёд большими шагами, а Иона, побежал, едва успевая, за ним, кажется, поверив в то, что своим криком способен вызвать огромную грозную птицу. Злость, которую он почувствовал на малыша и тут же отругал себя за это, постепенно улетучивалась, пока они шли.

– Больше не делай так, ладно? – механически, всё ещё раздражённо наставлял он.

– Ладно, – обещал, хлопая честными голубыми заплаканными глазами Иона.

– И как только вы, малыши, так легко всё обещаете? – вдруг остановился и взъелся он. – Ведь завтра же опять разорёшься из-за ерунды!

– Не разорусь! – был убежден в собственной безупречности малыш. – Никогда больше не разорусь!

«Типичная исповедь», – усмехнулся он и выдохнул от облегчения, которое, наконец, почувствовал.

19

Трагедия и погибшая Лариса постепенно забывались. Вскоре стало очевидным, что это был её закономерный и единственно возможный конец, который к его собственной смерти отношения не имеет; что окажись он с Ионой под падающим льдом, так Бог бы траекторию этой глыбы изменил и в сторону отбросил, потому что им ещё не пора. «А ей, значит, пора было, и успокойся. А что из любопытства пошёл, это да, это зря, больше так не делай. И опять же успокойся...»

И он успокоился. Причём, надолго. Понеслась привычная мелкая бытовая суета, которой он радовался, поскольку она разгоняла надоевшие мысли.

Летом они с Ионой ездили на море. В этот раз он выбрал Махачкалу, а точнее, тихое место в пятнадцати километрах от неё, про которое писали, что оно идеально подходит для отдыха с детьми. Так и вышло – почти месяц они провели в посёлке, где из «достопримечательностей» был лишь один магазин и два домашних кафе. В этот раз близко ни с кем не знакомились, вдвоём играли, собирали ракушки, учились плавать, вечерами читали, рассказывали друг другу сказки, отправляли фотографии дедушке с бабушкой. Потом вернулись, и всё пошло по-прежнему, неторопливо, без происшествий.

Было спокойно. Размеренно, спокойно. И скучно. Очень скучно. Не то, чтобы он унывал. Но признавался самому себе, что страшно не хватает чего-то. Чего-то прежнего: то ли бессонных ночей со слезами в молитве, когда в Махерасе сердце разрывалось и летело куда-то, то ли на худой конец какого-нибудь очередного нападения греховной страсти, как тогда с Дашей. «Ну, предположим, это так меня смиряют, – по привычке жевал он уже набившее оскомину рассуждение. – Но зачем так тягомотно, однообразно? Кто вообще сказал, что смирение должно быть скучным? Почему не огнём полыхать? Для чего пустота? Для чего бревном в храме стоять? Всё куда-то мимо... Впрочем, да, Господь же и научил, – словно извинялся он за свое недовольство, вспоминая проповедь известного протоиерея. – Шёл не к Отцу, а к людям, не молиться, а лечить, и Ему тоже было скучно. И значит, да здравствует скука!..»

***

Надвигался очередной утренник в садике, посвящённый наступлению осени. Он уже в полной мере ощутил, что праздник в группе – это величайшее потрясение для родителей. Может, не для всех, но для него – да. Потому что его сын должен безупречно выглядеть, читать стих, со всеми петь и танцевать – ого! И он страшно волновался, что что-то пойдёт не так. Самый ответственный момент – это чтение стихотворения: нужно, чтобы хотя бы громко и понятно, а лучше, чтобы ещё и выразительно. И они проводили вечерние репетиции, сначала долго-долго учили, а потом тренировались в декламации. Зачем это делалось, неизвестно, но он боялся, что если маленький перфекционист прочтёт плохо, то расстроится, и вообще, конечно, ему хотелось, чтобы Иона выступил лучше других.

Он не мог сдержать слёз и учащённого сердцебиения, когда малыши выходили в зал нарядные, держась за ручки, под радостную музыку, и вместе с ними был его самый настоящий маленький сын, который растерянно семенил и озирался, рассматривая украшенный зал. Когда он находил взглядом папу, то даже не улыбался, видимо, считая момент слишком торжественным для выражения эмоций. Но он понимал, что Ионе очень-очень нужно его

присутствие и поддержка, что не приди он, сын бы чувствовал себя покинутым, одиноким. Родительское тщеславие и гордость били через край, если выступление удавалось.

Неизвестно, какая химера напала на него в этот раз, но почему-то он решил пригласить на утренник её. Мысль пришла спонтанно, он понял, что, кажется, по ней соскучился. С момента, когда между ними произошла курьёзная сцена «несостоявшейся близости или странного сватовства», они виделись раза три по работе, а позже общались только письменно.

Он подумал, что обязательно начнёт с извинений, что давно не звонил, но с первой же минуты понял – что-то с ней случилось. Она разговаривала не бойко и разухабисто, как всегда, а отрешённо, равнодушно и медленнее, чем обычно. На вопрос ответила, что всё хорошо, таким же спокойно-безразличным тоном приняла приглашение на утренник, хотя он был уже уверен, что она больна и откажется. Но она уверила, что здорова, и согласилась.

Когда он встретил её у садика, то прямо вслух ахнул от удивления и перепугался. Она невероятно похудела, из толстушки превратилась в обычную нормального веса женщину, а лицо стало другим, с трудом узнаваемым, бледным и каким-то грустным. Не сразу, а только уже когда утренник закончился, он догадался, что, наверное, впервые видит её без косметики. Проводив в группу малыша, который несказанно рад был «тёте-Моте» (они договорились так называть её за глаза), он стал метать бурные вопросительные комплименты по поводу внезапной «стройности» и «помолодевшести». Она оставалась равнодушной, отрешённой и задумчивой, что абсолютно было ей несвойственно.

– Как же ты так похудела?! – с нарочитым удивлением вскричал он, всё ещё боясь услышать что-то вроде «четвёртая стадия рака».

– Постилась, – огорошила она, пожав плечами.

– То есть как, постилась? – не понял он. – Ты же вроде неверующая.

– Значит, верующая, – подняла она на него строги очи и в упор уставилась, будто спросить хотела «что, съел?»

– Когда же ты успела? – с некоторым облегчением улыбнулся он.

– Тогда же. Тогда и успела, – нехотя сообщила она и затихла. Он ждал продолжения, но она молчала. Неужели научилась лишнего не говорить?!! Неужели оценила ценность и красоту молчания?! Ах-ах-ах, вот так чудеса! Нееет, так же не бывает! Раньше она болтала беспрерывно, грубо шутила, хохотала, критиковала всех и вся…

– Ну, я пойду, – подтвердила она его догадку. – Спасибо за утренник. Иона – молодец, – и она повернулась, чтобы отправиться восвояси. Но теперь-то уж он восвояси её отпускать не собирался, желая выяснить, всё ли с ней «так» или всё-таки что-то «не так». Однако слова приходилось тянуть клещами.

– Так ты и в храм ходишь? – навязчиво выяснял он.

– Конечно. Теперь постоянно хожу.

– И исповедуешься?

– И даже причащаюсь, – кивнув, ответила она заодно на следующий вопрос. – Всё, отпускаешь? Мне по работе бежать надо, – было похоже, что не надо, а просто спешит отделаться.

– Спасибо, что пришла, – не посмел больше настаивать он, поражаясь её категоричности и странной торопливости. Она обошлась без традиционного поцелуя в щеку и улетучилась – иначе не скажешь, учитывая её резко уменьшившиеся габариты.

А он остался. В недоумении. Потому что от неё – ну вообще такого не ожидал. От кого угодно ожидал, но не от неё. Даже обидно почему-то стало. Вот от Елеазара, например, он очень ожидал – думал, что тот в тюрьме мучится промыслительно. Но ничего не произошло за семь с лишним лет заключения. А её-то никто не мучил! И в тюрьму не сажал. Но что-то же должно было с ней случиться! А она не рассказала...

Он, конечно, обрадовался. Но смущённое любопытство одолевало. Окончив вуз, он миссионером так и не сделался, однако по старой памяти интерес остался – это ведь очень индивидуально всегда, как человек к вере приходит. Решил при случае деликатно выяснить, на том и остановился.

***

Рассказала она много позже, спустя несколько месяцев, когда они волею судеб остались вдвоём на несколько часов в гримёрке без дела. Следить за выступлениями Ивана давно наскучило, репертуар они знали наизусть. Должен был для обсуждения предстоящих планов приехать директор, но он безвылазно застрял в пробке, которая банально образовалась из-за кортежа, и предупредил, что прибудет нескоро.

Удалось её растормошить. Разговор зашёл о Великом посте – она была поражена и возмущена, что он периодически вкушает в пост рыбу или кальмары. Созналась, что сама питается раз в день, строго по уставу. Это сказалось на фигуре, теперь она стала уже даже не средней упитанности, а, скорее, худая. Он всерьёз обеспокоился о её здоровье. Ещё выяснилось, что она теперь в молитве, чтении псалмов или акафистов (когда нет поста) проводит по три-четыре часа в день. Что больше не смотрит телевизор и ничего «пагубного» не читает в интернете, а только – святоотеческие писания. И по всем праздникам, субботам и воскресеньям ходит в храм. И причащается четыре раза в месяц. А ещё, что тренируется не спать ночью и кладёт поклоны. Осталось только дополнить, что скоро она пешком пойдёт в Иерусалим.

Он изо всех сил сдерживал улыбку, изо всех сил демонстрировал серьёзность и понимание. А на душе постепенно становилось грустнее и грустнее до меланхолии. Когда-то он и сам был таким. С горящими счастливыми глазами, разрывающимся обожжённым сердцем, потерявшим голову от любви, с не просыхающими слезами на глазах. А теперь он оказался в пустыне, жующим песок… Сухой и равнодушный. Он узнавал в ней себя прежнего, только куда всё делось? Понимал, что она не права сейчас, как и он неправ был когда-то, бросаясь бездумно «на подвиги», но всё равно завидовал, или, скорее, ностальгировал по давно прошедшим счастливым временам, когда и он пытался не спать ночами, тренируясь в пламенной молитве.

В беседе она наконец стала похожа на себя прежнюю, он понял, что на неё напала привычная болтливость, – теперь уже сама выложит, как произошли столь благоприятные перемены.

– А ведь это ты меня сподвиг тогда в храм рвануть, – разоткровенничалась она. Ну, тогда, помнишь, когда жениться предлагал?

– Помню, конечно. Мне потом так неудобно было, я, наверное, не то что-то говорил… – начал он на всякий случай идти на попятную.

– Всё то! – отрезала она. – Я тогда так озадачилась. Это как же, думаю, надо мозги мужику запудрить, чтобы он вместо секса свадьбой угрожал? Чтобы он отказался, потому что это грех, видите ли? Впервые за жизнь с таким маразмом сталкиваюсь! Да это ж самое нормальное и здоровое, что только бывает! Это что ж в церквях с людьми такое делают? И пошла я разбираться! Думаю, сейчас, приду, схвачу какого-нибудь попа за патлы и всю правду вытрясу. Ну вот, значит. Врываюсь я в церковь первую попавшуюся, а там так таинственно, дымы курятся, женщины в платочках крестятся, мужиков четверо всего стоит, а так, сплошные женщины, штук двадцать, может, тридцать. Поют где-то наверху, протяжно, заунывно, но красиво в целом. Ну, я оробела. Стою, значит, переминаюсь, думаю, где же попа-то ловить, не сдирать же его со сцены, где он выступает. Это я тогда так солею про себя назвала – «сцена», а службу «концерт». Стою, чувствую странно себя. Вроде и уйти хочется, но что-то не пускает, интрига какая-то, что дальше будет. Ну, как на шоу, будто сейчас кульминация или эффектный финал... И говорю тогда про себя… Богу, что ли, не поняла сама даже кому. Ну, нет, не Богу ещё, совсем нет, скорее, в неизвестность, в высь… Вроде того говорю: если там кто-нибудь есть, Бог или какой-нибудь ангельский хоровод после смерти, или ещё что интересное, чего я не знаю, то пусть сейчас же откроется мне! Сию же секунду! И глаза зажмуриваю. И тут вдруг со мной что-то делается такое – я вообще не поняла. Я, когда глаза закрыла, ничего не ожидала. То есть, может, немножко ожидала – от такой атмосферы, пения, но всерьёз ничего всё-таки, ну, не верила, что по-настоящему что-то может случиться. А тут настолько странное случилось – передать не могу. Вообще не могу объяснить, что случилось, но что-то типа того, что я

умерла, и из тела на секунду выпрыгнула. В странную непонятную пустоту, или нет… В общем, куда не знаю, но где-то я уже в другом мире была, или, может, не была, и даже не выпрыгивала, а просто мне как-то показали, что дальше продолжение есть, и что со смертью ничего не заканчивается, что, наоборот, это только начало. И это всё моментально, и я в следующую секунду уже безумно испугалась и скорее обратно вернулась. То есть я буквально в одно мгновение поняла, что всю жизнь ошибалась, не понимала ничего, что меня тут будто бы нет на самом деле, что настоящая я будто где-то далеко, точнее, одновременно как-то и там и тут, ну не знаю, короче… Не то я сейчас говорю, не могу передать тот опыт, это что-то совсем было мистическое, непонятное. Смерть на одно мгновение. И вот я вернулась, глаза открыла и реветь начала. Стою, слёзы рекой, понимаю, что всю жизнь дурня валяла и ничего не понимала, а там, оказывается, всё есть. А тут как раз священник к людям и вышел. Это я так про себя сказала «к людям», на самом деле, он просто на исповедь вышел. Вижу, к нему очередь. Ну, я тоже встала, всхлипываю. Когда очередь дошла, даже не поняла, что говорить теперь ему. Хотела-то изначально разнести «церковный шабаш», которым они охмуряют, который людей разума лишает, а в итоге сама его лишись. Это ведь от ума всё горе, это он не даёт увидеть, а только своё талдычит, что нет ничего, кроме плоской материальной жизни, которую мы знаем. Ну и вот, подошла я такая, и спрашиваю: «А у вас что тут, все умирают в церкви, что ли?» А он и не удивился особо, улыбнулся так и говорит: «Ну да, умирают, чтобы заново родиться. Так и Господь сказал», и цитировать стал Евангелие от Иоанна. Я ему рассказала, что только что будто умерла, а он понял тогда, что я вообще не в теме, и очень вежливо так, мягко стал объяснять, чтобы на службы приходила, чтобы прочитала, что такое исповедь, как готовиться к ней. Спросил только, крещёная или нет. А я, да, меня мама крестила, сама особо не верила, но так, по традиции крестила. Вот спасибо за это ей! Ну, я не сразу, конечно, на исповедь притащилась, сначала просто в храм ходила, потом уж всё постепенно захотела попробовать. У меня главное, такое самомнение было, ты не представляешь. Будто только мне одной Господь что-то открыл, что я только сама всё буду проверять и никого ни о чём не спрашивать. И никто не посмеет мне советовать! Я на своём опыте буду пробовать, что там за исповедь, что там за иконы, что за там за ладан, что за всем этим стоит! И меня не обманешь! И вообще только я про важное знаю, а остальные *такого* знать не могут, потому что не умирали. А батюшка тот мой духовный отец навсегда теперь, – с гордостью завершила она.

«Вот, у неё уж и духовный отец», – усмехнулся он про себя. А у него-то никогда духовного отца не было. Были священники, которые его хорошо знали, которым он доверял, что чтобы кто-то один, да ещё «навсегда», такого он представить не мог. Выявил, кстати, однажды «закономерность», что если ситуация трудная, и думается, что знакомые священники не помогут, или, например, к ним обращаться по какой-либо причине не хочется, надо идти в новое место, лучше всего в монастырь, к первому попавшемуся батюшке, и Бог обязательно даст нужный ответ или совет через него.

Она продолжала рассказывать, он понял, что у нее всё «то», всё «нормально», что случилось так, как со многими случается, что она действительно, а не в шутку пришла в церковь. Ну, а «подвиги» через пару-тройку лет закончатся, как водится. И он, конечно, не стал ей рассказывать, что однажды, ещё нескоро, но вот однажды случится такое, что она будет стоять в этом же храме, на такой же службе, где у неё сейчас слёзы текут рекой, и служить будет этот же безумно любимый «духовный отец», и будет она настолько ничего не чувствовать, что покажется себе каменной, мёртвой, бесконечно уставшей, что в голове останутся только мысли о земных делах, о том, что скорее бы уже идти домой, и проповедь священника вызовет раздражение, и она сочтёт её «отсебятиной или грубым формализмом», и белые крылья с пылающим сердцем исчезнут.

Вот этого всего он не стал ей говорить, но зато рассказал про тот кошмар с обвалившимся льдом и «нечаянной» смертью женщины. Он очень хотел с кем-то этим поделиться, поскольку страшный трагический случай продолжал оставаться глубоко внутри, требовал внимания. Хотелось излить душу не в сухих фактах, а с эмоциями, описаниями

переживаний. Ну, она, видимо, «подвернулась», и он на неё обрушился, как девятый вал, со своим «хоррором», только историю со стариком полностью опустил, она ведь даже не подозревала о его существовании.

Видимо, рассказал он выразительно, потому что она была напугана и потрясена. Обняла его сочувственно, искренне, по-дружески, спросила:

– И как же ты теперь?

– Да никак. Живу дальше.

– Но это же был знак!

– Ну, какой там знак?

– Как какой? Что смерть всегда рядом. Что о ней не думаешь.

– А, ну это да.

– Что да?

– Что всегда рядом. Что не думаю.

– И ты после *такого* не стал думать?

– Нет. Немного подумал и перестал. Решил, что к той женщине эта смерть относится, а ко мне нет.

– И к тебе тоже, ты же там оказался, в одном шаге, а не кто-то другой!!! И ты, даже после этого, постоянно не думаешь!!! Ты, что, совсем тупой?!

– Ну, тебе, конечно, виднее, – улыбнулся он. Вроде бы он не мог пока к её «наставлениям» относиться серьезно. Но она с такой непередаваемой детской искренностью на него набросилась, так наивно укоряла, так своим пробудившимся разгорячённым сердцем тронула, что его окаменелость пошатнулась. И он признал, что, да, она права, смерть в одном шаге случайно не бывает. А про себя подумал, что, может, и старик не очень-то «при чём», а действительно, Бог ему напомнил, что он лынды бьёт и из-за тотального бесчувствия только иллюзию религиозности создаёт. В общем, она его совесть пробудила, и неловко стало.

Вспомнил в очередной раз, что он порочен. Страсти осознаёт, но не борется, себя не ломает, усилий не прилагает, молится и исповедуется формально, постится с послаблениями, как больной. А заявись смерть завтра, что тогда? Он поёжился. Нет, он совсем не готов, покаяния в помине нет, исправлять ничего не планирует в себе. Привык, что с Ионой дел по горло, куда там ещё исправлять? Видимо, решил, что его и так «должны спасти».

***

Стало противно. Снова увидел, какой он гнусный, ленивый, самовлюблённый, эгоцентричный. Как живёт, угождая плоти, как исполняет её желания. Как впадает в раздражение, уныние, злость или отчаяние, когда необходимо своеволие хоть чуточку отсекать.

Вот, например, он после утомительного рабочего дня, возни с Ионой, садится голодный за стол, жаждет на пять минут остаться в тишине и проглотить заслуженный ужин, который он сначала готовил, постоянно отвлекаясь на ребёнка, потом помогал есть ребёнку, потом разогревал свой, потому что ребёнок раскапризничался, и потребовалось его успокаивать. И вот наконец малыш поел, отвлёкся на мультики, и уже он предвкушает заслуженные пять минут покоя – так именно в этот момент звонит директор Ивана!! И требует сию секунду включить компьютер, записать замечания по рекламному макету, который он уже семь раз правил, и уже семьдесят семь раз проклял, и нужно, оказывается, править в восьмой раз! И если он раздражался уже на стадии, когда кормил Иону, то тут ему в голову лезут раскалённые взрывоопасные пожелания, чтобы всех унесло ураганом куда-нибудь в царство Гингемы, и он боится, что сейчас начнёт матом орать на начальника и потеряет работу, и ему вообще не хочется радоваться таковому испытанию и отсекать свою волю. И он очень нагло и очень вежливо врёт, что не может сейчас разговаривать, с наслаждением сбрасывает звонок, а свою волю лелеет и отнюдь с ней не борется. И не только спокойненько ужинает, но и идет ещё в душ, и потом только выслушает директора, после чего не бросается править макет, а планирует, когда Иона уснёт, посмотреть тупую американскую комедию, чтобы разгрузить усталый мозг, а вовсе не пребывать в слезах и молитве, как подобает порядочному христианину.

Чужая смерть имела, скорее, внешний эффект, а до глубины души, как оказалось, не тронула, всколыхнула в нём болотце, но ничего не изменила. Он немного помолился после этого, повзывал к небу с воплями: «объясни, что это значит». А потом уже сам что-то размышлял, и ни к чему не пришёл.

Ну вот, теперь она задела его совесть, и он снова впал в тревожное нервное состояние, когда изнутри подталкивает, зудит: «Делай что-то, делай, не тем ты занят, не тем!» А вдруг, ему, и правда, нужно думать о том, что всё, пора? Святые отцы говорят всегда об этом помнить, каждый день представать пред Богом, как Страшном суде, а он что?! Куда он там предстаёт? Бывает, он по часу в кровати с телефоном валяется, когда Иона в саду, и ему лень даже работать, тьфу, срам какой.

И тут смерть вдруг приходит, настоящая, не такая, как та загадочная элегантная женщина в метро, а костлявая, с пустыми чёрными глазницами, классическая, в мрачном балахоне, и острым крюком вырывает его сердце вместе с ошмётьями мяса. Как-то так это изображается в искусствах, – а творческие люди, они умные, они зря рисовать не станут. Они одарённые, а судя по тому, что из себя выплёскивают, ещё и страшно несчастные люди; между прочим, и бесов очень даже верно рисуют, как гигантские сращения людей с мерзкими животными, вот точно, как он однажды видел. Значит, и смерть, она такая должна быть – беспристрастная, равнодушная, немного ироничная, склетообразная и с косой. С которой не спорят, потому что она по-королевски пунктуальна, потому что ей нравится этот миг, когда ей дают силу властвовать и побеждать, и она ни за что его не упустит. «А иначе, наверное, зарплаты лишат», – хмыкнул он.

Ну и что он будет делать с этой скелетиной, если она явится? Молча даст себя увести? Зачем-то представилось в деталях, как погибшая Лариса, когда на неё падал лёд, увидела вдруг, что её у стены дома невозмутимо поджидает эта самая смерть. Не прекрасный белый ангел, не таинственный тёмный коридор со светом в конце, ни раскинувшийся откуда ни возьмись райский сад, а всё то же самое: солнечная улица, серая снежная каша, люди вокруг, но только стоит, может, даже покуривая, в тени крыши череп на костях, и, пока она ещё соображает, что происходит, неторопливо окурок гасит, подходит к ней и острым серпом её пронзает. Грамотно, точно, профессионально, и никто этого не знает, только она одна. А всем кажется, что на неё лёд упал.

Вот и у него так же будет.... Никто ничего не поймёт, все подумают, что сердечный приступ, умные врачи проведут экспертизу и напишут, что да, инфаркт, а его зверски убьёт и растерзает заточенным крюком… он сам, холодный, мёртвый, пустой, бесчувственный и любящий пустыню.

20

Но пришла не смерть. Пришло очередное письмо от Елеазара, впрочем, очень своевременно и, что называется, в тему. Он боялся теперь этих посланий как огня, но не читать не мог. Знал, что можно не отвечать, это было проще, а ознакомиться хотелось – любопытство жгло.

Старик рассказывал историю одного из своих сокамерников. Время от времени он присылал красочные описания чудовищных преступлений, садистских убийств, мерзких насилий, отвратительных жестоких истязаний, о которых невозможно было читать без содрогания. Каждый раз в конце такого послания Елеазар возмущался, что срок у этих извергов меньше, чем у него, невиновного, упрятанного «из зависти».

Теперь преступнику было уже за 60, и ему дали десять лет за то, что «грохнул бабу», как выразился старик. Конфликт произошёл из-за маленькой части большого дома в Новой Москве. Официально мужчине, которого старик называл Серым, принадлежало семь восьмых коттеджа, а одну восьмую получил по завещанию его племянник. Тот не стал продавать её по кадастровой стоимости, как предложил Серый, а завысил цену втрое, и Серый отказался от сделки, решив, что за такую цену покупать крохотную долю никто не станет.

Однако покупательница нашлась. Приезжая, не имеющая в Москве другого жилья, она уцепилась за этот вариант и в скором времени въехала в дом.

Всё бы ничего, писал со слов Серого старик, но баба вела себя нагло и по-хамски. Ей бы сидеть в своей крохотной комнатёнке и изредка высовывать нос на кухню, на что ещё может рассчитывать владелец одной восьмой? Но она возомнила себя полноправной хозяйкой, полезла во все части дома, стала переставлять мебель и даже выбрасывать вещи, принадлежащие его покойной матери, топтать грядки, рубить кустарники, что-то менять на участке. Он несколько раз обращался в полицию, но тщетно, сотрудники правопорядка вмешиваться в конфликт не жаждали, а выдворять приезжую новоиспёченную собственницу не имели полномочий. На третьем вызове ему откровенно сказали: «Мы ничего не можем, разбирайтесь с ней сами», – и уехали.

На его обоснованные претензии женщина отвечала дерзко: «Я тебя не боюсь, я такая же полноправная хозяйка, ты ничего мне не сделаешь». Просьбы, замечания, упрёки, попытки договориться к сведению не принимала, продолжала наводить свои порядки, игнорируя его присутствие и слова. Дом Серому был глубоко дорог, он обустраивал его собственными руками вместе с пожилым отцом, вкладывая и душу, и деньги не один год. Молча смотреть, как чужой, бесстыжий, бесцеремонно вторгшийся на его территорию человек ломает и переделывает «родовое гнездо», не имея на то ни человеческих, ни законных прав, он не мог. Дело дошло до угроз, но она только расхохоталась ему в лицо. Затем ему периодически стали звонить странные личности с кавказским акцентом, с предложениями «не обижать женщину, а приехать поговорить». Он был неробкого десятка, но, естественно, ни на какие «разговоры» не согласился.

Страшная сцена разыгралась ночью. Как-то вечером Серый приехал в дом и обнаружил, что двери заперты, а ключи больше не подходят, – она поменяла замки. На стуки и крики дамочка не отвечала, но свет горел, а из кухни валил ароматный пар. Тогда он влез внутрь через окно на втором этаже. Её застал за ужином и телевизором.

– Я тебя выживу, – с аппетитом поедая куриную ножку, улыбнулась аферистка. Разразился скандал. Она демонстративно кидала и топтала вещи его покойной матери и откровенно провоцировала: «Ты слабак! Ты ничего не можешь!» Тогда он схватил гвоздодёр и ударил её. Сначала по руке. Она закричала и побежала. Он догнал её гвоздодером по голове, она упала. Он стал добивать. Больше часа она хрипела и билась на полу, умирая тяжёлой мучительной смертью. Ему было не страшно. Он любовался. Лишь, когда всё закончилось, он вызвал скорую и во всём признался. Каяться на суде не стал и получил «десятку». Никогда до этого судим не был.

Похоже, что в преступной среде этот Серый вызывал восхищение, дескать, «наказал негодяйку». Наверно, такой взгляд имел право на существование, но выяснилось, что ему, оказывается, принадлежал ещё и второй дом, ничуть не хуже того несчастного коттеджа, и тоже в Новой Москве. Что он не был женат, не имел детей, и спокойно мог жить в этом втором доме, на который никто больше не претендовал! Что ничто не мешало ему продать или сдать несчастные семь восьмых, раз уж возникла столь неприятная ситуация. Елеазар в письме убийцу критиковал, справедливо замечая, что тот сам себе испоганил остаток жизни. «Что за безмозглая принципиальность, до чего людей доводит ярость!» – возмущался в письме старик, и трудно было не согласиться.

Ему, конечно, не по себе стало, когда он представил это безумное обоюдное беснование, которое закончилось трагедией – истязаниями и жестокой смертью для одной и исковерканной судьбой для другого. И что осталось? Два пустых дома. «Как люди себя доводят до такого состояния? – недоумевал он. – Как можно быть настолько привязанным к материальному миру? Да будь даже это его единственный коттедж, нужно было его продать, пусть дёшево, купить что-то скромнее. А она! Решила выжить законного собственника, откуда взялось такое дикое желание? Ну, сидела бы тихонько в своей комнате, зачем тебе целый дом? Что за абсурд?»

Тут он остановился, поняв, что, кажется, всех осуждает, что, кажется, считает себя самым умным. «Тьфу ты! – заплевался он. – Ну, конечно, тебе виднее, ты же весь такой

чистенький, кристальненький! Только ты знаешь, как надо, а они все дураки! А ничего, что Бог это попустил? Нет, не надо было? Ты тут решаешь, да? Тьфу ты! Откуда только это превозношение берется?! Нет, нет, я ничего не понимаю!! – заорал он про себя и на себя. – Конечно, так и надо было гвоздодёром, и это лучший вариант для обоих! Они так спасаются. А я кретин. Как будто это моё понимание чем-то лучше, чем у них, или у Елеазара, который жизнь потратил на сомнительные мистические удовольствия. Господи прости!» Он почувствовал облегчение и продолжил читать.

Письмо заканчивалось неожиданно, совсем уже другой историей. «Появился тут у нас один бывший священник, осуждён по той же позорной статье, что и я, совратил 12-летнюю. Такие вот в ваших куполах попики. Ну, дело житейское. Я, впрочем, почему-то не верю в его виновность, похоже, дурнем стал на старости лет, хочется видеть в людях хорошее. Меня изнутри подзуживает разузнать у него, что да как. Только подходить не хочется, дабы не замараться. Право, не знаю, как и быть! Думается почему-то, что и его оговорили, как меня, из зависти. Прощай! P.S. Всё же вывел его на разговор. Да, забавный поп. Страдать добровольно пошёл. Отомстили ему за то, что под храм землю отбил. Накидали порнухи в профиль соцсети, отправили какой-то малолетке от его имени, её запугали. Она, точь-в-точь как «моя», на суде двух слов связать не могла, ничего не подтвердила. Кажется, подобные дела уже пачками штампуют. А он, говорит, сам на себя вину взял, потому что шантажировать стали – его больному старшему сыну, который еле ходит, угрожали такое же обвинение сшить! Кроме того, за признание срок скосить обещали. Как он «признался», так его и сана лишили, вот так у вас «своих» поддерживают. На воле осталась жена с тремя детьми. Складно поёт, похоже, не врёт. Рассказывает тут мне, как репрессировали в 30-е годы десятками попов да монахов. И утешает меня, что невинно пострадать, это, мол, великое благо. Ну-ну, посмотрю, как он худеть станет. Ему, впрочем, только шесть лет дали, полсрока уже отбыл в СИЗО, главная цель была – опозорить и оставить на произвол судьбы семью. Не признался бы, схлопотал бы вдвое больше. Он говорит, что работать на стройку пойдёт, если доживёт. Смешной. И как вы можете верить в такую чушь, что страдание это благо, если ваш небесный правитель так вас кидает? Делают из вас пушечное мясо. Ну, дело ваше. Мерси за перевод. Бывай!»

«Что за странные истории, и для чего бы мне это знать?» – удивлялся он, перечитав письмо трижды. А вот что батюшку «свои» не поддержали, не удивлялся. Ещё в первый год обучения в университете Богослов однажды написал ему, что и в церкви рано или поздно встретятся волки в овечьей шкуре, которые предадут из какой-то своей корысти. Предупредил, чтобы вёл себя осторожно и не всем доверял. У него, впрочем, таких случаев или знакомых не было. Но он ведь так и не пошёл на постоянную работу при храмах или миссионерских организациях, поэтому изнанки не знал. «Вот, наверно не угодил кому-то тот священник, – решил он. – Впрочем, кто знает, что на самом деле произошло? С чужих слов пытаться понять бессмысленно…»

***

Его эти две истории зацепили и не отпускали, нужно было выплеснуть поток накативших мыслей. На следующий день он начал писать ответ Елеазару, вспоминая, как и тот заключённый батюшка, репрессированных, мученически погибших священников XX века, а ещё что-то привычно «поэтическое» стал сочинять, с символами, про пустующие дома «без души». Это потому, что накануне ночью он опять ворочался без сна, вспоминал белорусскую поездку к Ефросинье Полоцкой и раздумывал о том, сколько же таких стен и крыш на Земле, которые возводили как семейную святыню, родовое гнездо, а потом становились их жертвой и жизнь свою отдавали за кирпичи, бетонные плиты, шифер, черепицу, обои, паркет... «Теперь, если решу строить дом, – пытался мрачно пошутить он в письме, – запасусь терпением и проанализирую, не убьёт ли он меня?»

Тут он остановился и в который раз признался себе, что единственное, чего по-настоящему хочет, это обрести или заново построить свой «дом». Но не кирпичный, конечно, а тот, который все теряют, взрослея, когда уходит из души покой и безмятежность, чувство защищённости и искромётной беспричинной радости. А он утратил его в раннем детстве, оно

ненадолго возвращалось к нему лишь, когда появлялась прекрасная, выводящая из болезненного мрака таинственная рука. Позже оно угасло совсем, и с тех пор он ощущал себя, как в гостях у малознакомых людей: боязливо, неловко, смущённо, неуютно, словно душа беспрерывно вынужденно находилась под чужими взглядами, впитывала ненужные посторонние разговоры, проблемы, скучала и не могла уединиться. Лечила молитва, когда она удавалась, да служба в храме, но тогда он чувствовал соприкосновение с прекрасными небесными «дворцами», где, по сути, тоже находился в гостях, только уже не у чужих, а у родных, бесконечно любимых и любящих, где намного лучше, чем дома, – однако же и это тоже не было его «отчее гнездо», по которому он скучал и к которому так стремился.

В период нечувствия, или в силу, например, собственной зашоренности, сложно было относиться к людям в храме не как к посторонним. «Иногда ощущение такое, – стал он зачем-то вбивать в письмо мысли, не связанные с предыдущими рассуждениями о доме, – будто ты «чужой» на службе, остальные «свои», а тебя привёл Господь случайно. Так стоишь в приятном одиночестве, а других как будто нет. Или, наоборот, слишком много людей, кто-то может даже вызвать раздражение. Например, злющие церковные бабушки, которых в реальности примерно в миллион раз меньше, чем о них говорят. Но если сильно-сильно повезёт, и всё-таки попадётся настоящая свирепая бабушка, то по-честному именно тут-то и нужно обрадоваться! Потому что она 75 лет прожила ровно для того, чтобы с тобой сейчас попасть на эту же литургию, да, вот на эту самую, при одном упоминании которой у тебя полуобморочное состояние счастья наступает, и что без неё служба сегодня ну никак бы не состоялась».

Вроде просто, но поверить в это практически невозможно, когда ничего не чувствуешь. И он представил, как смотрит в храме на людей по-новому, с любопытством, и пытается осознать, что абсолютно каждый тут – «приглашённый» для какой-то своей миссии. «Вот, например, – продолжал фантазировать и набирать бессвязное письмо он, вспоминая минувшую воскресную службу, – этот странно затесавшийся среди платочков лысый амбал с татуировкой. Он тут не чтобы помолиться, исповедаться, обнять друга, не чтобы автоматически пробубнить «Символ веры», и, видимо, даже не для того, чтобы подумать о том, как объясниться с заносчивым начальником. А, да, для какой-то, если угодно, более высокой, одному Богу известной цели. Ведь жизнь человека – это таинство, и он сам не понимает, какой дорогой, куда, почему он, на самом деле идёт. И если так на это смотреть, то не будешь смущаться, возмущаться, ревновать, завидовать, жалеть, раздражаться, восхищаться, и испытывать всё остальное, что только можно иногда ни с того ни с сего испытать к ничего не подозревающим братьям и сёстрам. У тебя-то тоже своя тут цель, единственная, удивительная и неповторимая. И когда ты сам уникальная тайна, и вокруг тебя порхают или, если повезёт, гневно шипят такие же уникальные тайны, то жить становится чуточку проще и приятнее».

Но сколько он себя ни уговаривал, понимал, что ему тоскливо, что нигде он сейчас «своим» не является, никто ему не нужен, и он никому. Потому что «дом» его потерян, а он болтается где-то в безвоздушном пространстве и мается. Единственное, что согревало, это возможность хотя бы ненадолго сохранить и поддержать внутри собственной маленькой семьи очаг теплоты, доброты и умиротворения для Ионы, который ещё, не подозревая того, хранил его в себе, наивно думая, что так будет всегда.

Он удалил всё, что написал про храм, пробормотав: «Неправда это, я так на самом деле не думаю, мне все безразличны, амбалы, платочки, бабушки, дедушки, таинственные пути и цели… Господи, но для чего же так скучно?»

И тогда на него вдруг «набросился» Елисей. Даже не во сне пришёл, а буквально с неба свалился. Он не то, чтобы его слышал, но думал так, будто он говорит, что само получалось, без усилий, без предупреждения. Для этого не нужно было ехать на могилу или, например, вспоминать его тревожно-счастливые пронзительные глаза-угольки.

(К слову сказать, на могиле он был лишь однажды. Сложно было решиться поехать после того тихого снежного дня, который навсегда перевернул его жизнь. Но он пересилил себя, заставил не обращать внимания на глупые страхи и отправился. Искал недолго, ему будто подсказали, куда идти. Ничего особенного не почувствовал, только тишину, умиротворение,

нежную печаль, плавно переходящую в такую же нежную радость, лёгкость молитвы, которая лилась сама собой спокойно и уверенно. Он тогда не поговорил с Елисеем, просто почувствовал, что ему там хорошо, безмятежно, мирно. А на обратном пути и думать о нём забыл, сосредоточился на своих радужных планах, улыбался и ощущал счастье жить).

А теперь вот без каких-либо просьб с его стороны Елисей словно растолкал его сонного и затараторил горячо, доходчиво, пытаясь пробудить. «Понимаешь, – объяснял Елисей, – нечувствие, пустыня – это всё чушь, ерунда, это вообще нормально и со всеми происходит, и хватит уже самому себе врать! Потому что есть, всегда есть, церковь, храм, а бывает, и человек ещё, один-единственный в мире, твой, где ты умираешь от любви! Храм, где неважно, когда, откуда, каким и с чем ты пришел, где тебя любят так, будто все святые разом набрасываются с объятиями, где башню сносит, где ты ныряешь и проваливаешься в невесомость, не пытаясь понять даже, как и почему такое возможно. Где всё сходится, где ты заново обретаешь тот источник, что искал в пустыне, и тебе для этого даже делать ничего не нужно. Если такого единственного в жизни нет или не было, то значит, вообще ещё ничего не было, но у тебя-то всё уже было, ты уже взрослый, ну так не бойся, приди туда, отдайся блаженству, сойди с ума, умирай себе от любви на здоровье и перестань, наконец, ныть!».

И он не находил сил возразить Елисею, что таким вроде бы должен быть для верующего каждый храм, ведь всюду одинаковые иконы, одно учение, службы, правила. Но почему-то не получалось, и, действительно, существовал он, Савино-Сторожевский монастырь, первый опыт пробуждения к жизни, первый священник, который понял о нем всё, хотя он почти ничего не сказал, где бывал он теперь совсем редко, так уж сложилось, где у него в буквальном смысле крыша ехала от нежности, слёзы лились рекой, переполняло пронзительное счастье, и понять, что, собственно, происходило, было невозможно. Разумных объяснений этому не существовало, в святоотеческих учениях он тоже не читал такого, что, дескать, для тебя предусмотрен в жизни один «свой» храм, где тебя с ног сбивает лавиной любви, а в других только доносятся отголоски этого непостижимого никем не описанного и церковью не установленного таинства. Но на практике выходило почему-то так, и об этом, видимо, нельзя было даже думать, потому что это явно чему-то противоречило, однако же Елисей часто провоцировал подумать о чём-то таком, о чём думать нельзя.

«Ну, нет, Елисей, – возразил он другу впервые в жизни. – Как только я начинаю умирать от любви, меня тут же больно бьют и возвращают на землю. А мне не очень-то нравится, когда кулаком под дых или головой об асфальт. И думаешь, что лучше уж жить в пустыне и совсем ничего не чувствовать, а только томительно высчитывать грехи».

И, да, он знал, что если туда приедет, то обретёт, пусть ненадолго, но зато во всей полноте, утраченное чудо любви, смысла, силы и счастья. Но не ехал: то ли боялся чуда по расписанию, то ли не хотел терять голову и отдавать себя на растерзание нежности, а скорее, чувствовал в этом что-то запретное, к чему он ещё не готов, потому что понарошку нельзя, а по правде тут нужно совсем уж потерять, забыть себя, научиться радоваться испытаниям и боли, спокойненько гореть в огне и делать прочие вещи, приличествующие нормальным христианам, которых он делать не умел или не хотел. «То ли малодушие, то ли Богу не угодно, не могу я!» – признался он Елисею, а тот в ту же секунду «исчез», будто не появлялся.

***

Он перечитал начало письма про дома и совсем скис. Получилось коряво, он хотел уже отложить, но тут как гром среди ясного неба на него упало ещё одно послание старикана, на этот раз истеричное, гневное, «визгливое».

«Что же ты, ублюдок, ничего не сказал мне про то, что ходил в Ермолаевский?! Как у тебя идиотизма хватило там оказаться с ребёнком?! Сию секунду отчитайся мне, что там произошло!!! Как ты посмел молчать о таком? Он меня проклинает и говорит, что из-за тебя погибла его дочь Лара! Что это значит, изволь объяснить? Он говорит, что из-за тебя они переехали из резиденции в центре Москвы за город! Меня называют убийцей, меня сделали изгоем из-за тебя, гнойный выродок, а я даже не понимаю, что случилось. Что ты учинил, кем возомнил себя?! Ты, на помойку выброшенное грязное отродье! Будь ты проклят и весь род

твой, и дети твои! Меня лишили из-за тебя последней надежды на освобождение от тюрьмы! Ты убил какую-то женщину и отнял остаток жизни у меня! А ведь это я положил под тебя Дашку, сволочь, неужели ты этого не понял? Ты, подонок, должен в ногах у меня валяться! Тебя четвертуют, ты подохнешь, как шакал, и падаль твою кинут в кучу навоза к стервятникам. И сына твоего будут…» Дальше было написано такое, что он, до того пытавшийся остаться спокойным: «Подумаешь, обычное беснование, человек болен», – молча перекрестился и, не дочитывая письмо, удалил его.

«Вот, ввязался же, – пробормотал он, глубоко задышал и прижал руку к груди, пытаясь унять тревожное сердцебиение. – А думал-то, что это так, ерунда. А оно вон что…». Он заторможенно уставился в пустоту. Теперь ситуация с упавшим льдом предстала совершенно по-новому. Странно, но ни разу за всё это время, а минуло уже полгода, ему не пришло в голову, что погибшая женщина с сумкой-тележкой могла быть напрямую связана с сектой. «А оно вон что…»

Тут, конечно, он не выдержал накативших чувств от страшного открытия и залился слезами. Значит, его спасли, его и Иону, значит, он, действительно, вслепую играл с огнём. А ведь если бы эта Лариса, предположим, попросила донести ей сумку до лифта в доме или поднять на этаж, он, не думая, помог бы и отправился с Ионой… Только куда? Возможно, прямиком на заклание. Ему вспомнились рассказы о человеческих жертвоприношениях в сектах, об историях многолетнего рабства, о том, как адепты становились преступниками, об их мучениях в неизлечимых психических расстройствах. Один Бог знал, чего они с сыном тогда избежали. Получается, эта погибшая сектантка умерла всё-таки из-за его неосторожности и тупого любопытства.

Стало нехорошо. Вот он теперь уже и убийца, ничуть не лучше того, с гвоздодёром. Испугавшись начинавшегося панического состояния, он бросился пить успокоительные капли, креститься, читать молитву Животворящему Кресту. И продолжал ругать себя на чём свет стоит. Не хватало ему, видите ли, в последние годы поддержки «свыше», знамений, чудес. А они сыплются как из решета. Ну, вот тебе очередное, уже масштаба жизни и смерти чудо. Может, хватит, наконец, ныть и скулить, маловерный? Может, уже заткнуться и молча за всё благодарить?

Угроз старика он не испугался. Кто стращает, тот не делает – Елеазар бесился от бессилия. Но испугался себя и своей глупости, мало ли, что ещё он мог по неведению натворить в жизни, сколько раз Бог, должно быть, защищал его, когда он об этом даже не догадывался. «И волос не упадёт», – подумалось с облегчением. Но тут же озадачила новая неприятная загадка: «А с Дашей-то как же? Не может же быть, что она до сих пор с ним, или в его власти, или ещё что-то в этом роде? Старик, выходит, не только знал, что произошло, но и являлся своего рода причиной? Колдовство? Да нет, нет же, сам виноват, заставить согрешить никто не может, сам хотел. Но знает-то он как?» – он снова за голову схватился, поражаясь, во что вляпался. Вот мог бы он представить, когда много лет назад «спасал» пьяную избитую девушку во дворе, к чему это приведёт? «Это наказание, бич такой мой, что ли?» – изумлялся он, боясь, что теперь навсегда связан с этим безумным «семейством». «Вот окажусь там, за чертой, и выясню, что сам принадлежу к этому «графскому» роду, которым правит князь тьмы. И уже не отмажешься. Тьфу, гадость какая».

21

Нужно ли говорить, что после этого он в сто двадцатый раз решил навсегда прекратить общение и с Елеазаром, и с Дашей, и заодно с Богословом? И нужно ли говорить, что уже через неделю он снова читал письмо от жуткого старикана?

«Ты извиняй, я в прошлый раз, конечно, погорячился, – начиналась «эпистола». – Тут ваш поп мне немного разрулил. (Витиеватый ранее в выражениях дед постепенно переходил на упрощённый тюремный язык). Я ему не верю, он отвратителен. Но языком мести умеет. И, знаешь, в целом, после того их письмишка, где они меня прокляли, что-то ко мне вернулось прежнее, чего давно не было. Не знаю, как назвать, вроде того, что я сам. Будто отпустили

откуда-то. Чувство, будто я не тут в плену, а там был. Что-то вспоминать стал, Дашку мелкую, другие разные сантименты, часть памяти вернулась, о чём и думать забыл, молодость. Только теперь боли начались страшные в голове. Поп брызжет на меня вашей заколдованной водой, гадко, глупо, но немного помогает. Ну и суеверен же я стал на старости лет. Словом, не серчай, мне ещё и поясницу ломит так, что ору временами. Простыл, похоже. Закрутило меня куда-то. Очень неспокойно и боязно, а чего, сам не знаю. Прощай».

Это было последнее послание, которое он получил от Елеазара. После того старик больше не писал ему, а спустя примерно полгода он узнал о его смерти. Было чему изумиться…

***

Впрочем, это было только месяцев через семь, а пока… Пока он подумал, что стоило бы связаться с этим священником, поблагодарить его за то, что поддерживает Елеазара, спросить, чем он может ещё помочь старику и самому этому батюшке. Потом посмотрел на время, охнул, понял, что его ждёт гора работы, скорее забыл и про письма, и про добрые устремления. Нужно было торопиться, дел накопилась кипа, всю прошлую неделю Иона болел, оставался дома, капризничал, непрерывно требуя внимания, он успел не более четверти того, что был должен, а срок сдачи выходил уже завтра.

Олюшка научила его, что лучший способ не бояться работы – не готовиться, а кидаться в неё безоглядно. Не раздумывать, а немедленно совершать первый телефонный звонок, начинать писать первую фразу, редактировать первое фото, чтобы за руками подключалась голова. А как только она присоединится, то уже не захочет оставить начатое, и дело пойдёт.

Оно действительно пошло. Окрепшего Иону накануне забрали родители, выходные были в его распоряжении, он рассчитывал успеть всё. В этот раз обзвонов намечалось немного. Он решил сразу с ними покончить и бодро начал беседовать с такими же, как он, администраторами, чтобы согласовать нюансы выступлений и жизни великого артиста Ванюши. Попутно заполнял таблицу в эксель и задавал сразу несколько поисков интернете. В общем, он научился делать умные современные вещи и гордился тем, как быстро и толково получается.

Настроение было отличным. Он пошёл заварить чай, попутно подкидывая ногами шарики, оставшиеся после празднования пятилетия Ионы десять дней назад. Они тогда пригласили на торт и танцы нескольких друзей из садика и соседскую трёхгодовалую малышку. Было весело. Дедушку с бабушкой тоже пригласили, но те отказались. Ближе к вечеру, когда гости уже разошлись, они все-таки прибыли и увезли именинника к себе домой на «продолжение банкета». Возможно, там он переел мороженого, так как вернулся с больным горлом. Родители, как всегда, ничего не объяснили и не рассказали, Тамара лишь высокомерно объявила: «Ребёнок не может глотать, у него ангина». После этого, не попрощавшись, уехали. Отношения оставались напряжёнными.

Сейчас он вспомнил, как они начали то счастливое утро, и улыбнулся. У Ионы день рождения совпадал с именинами. Проснувшись и несказанно обрадовавшись появившимся в комнате воздушным шарам, сын, пересилив себя, не бросился играть, а по его наущению пошёл к иконам. Запомнив в четыре года краткие молитвы, он каждый день совершал собственное трёхминутное правило. Иногда это давалось с трудом, он подозревал даже, что малыш старается только «для папы», не имея собственного расположения или осмысления, но всё же считал необходимым научить минимальному послушанию, благоговейному отношению к святыням с ранних лет.

– Сегодня день памяти пророка Ионы, нужно поблагодарить его за помощь, – подсказывал он сыну, думая, что тот привычно протараторит: «святой Иона, моли Бога о мне», и побежит к шарикам. Однако малыш, встав перед домашним иконостасом, вдруг оправился, вскинул голову и торжественно декламационно произнёс:

– Дорогой пророк Иона! Поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе… – пока малыш думал, чего бы пожелать своему святому, он изо всех сил сдерживал смех. – Желаю тебе хороших молитв! И чтобы все тебя любили! – завершил именинник поздравление и поцеловал

икону. Он поразился, как на самом деле проста и искренна вера ребенка. Тогда же он вспомнил другой эпизод, тоже связанный с непредсказуемым детским восприятием мира.

Как-то раз, когда Ионе ещё даже не исполнилось четырёх лет, они отправились на пикник, шли по осенней лесной тропинке, в поисках солнечной полянки. По бокам росла крапива, и малыш возмущённо недоумевал:

– Для чего нужна крапива?! Папа, ну вот для чего?! Цветочки – красивые, деревья – большие, птички – чтобы петь, а крапива для чего?!! – и пока он думал, что бы ответить, Иона вдруг сообразил. – Ааа, я понял! Крапива нужна, чтобы обжигать людей, которые в Бога не верят!

Он это навсегда запомнил и теперь-то уж точно знал, для чего нужна крапива…

***

Он заварил чай и на очередной звонок с незнакомого номера ответил охотно, думая, что сейчас поставит новую галочку – напротив пункта «ресторан в Калининграде». Однако ему ровным голосом сказали совсем другое. Что его близкие попали в автомобильную аварию. Что они в очень тяжелом состоянии. Что ему нужно срочно прибыть в больницу, а потом ещё в полицию.

Не успел он потерять сознание от ужаса, как его успокоили, сказав, что жизни сына ничего не угрожает. Тогда он всё-таки передумал его терять и, ловя ртом воздух, попытался выяснить, что происходит. Но ему толком ничего не объяснили. В двух словах описали ситуацию, сказали, чтобы просто ехал скорее и «не волновался», чтобы привёз документы и вещи первой необходимости для родителей. «На месте всё выясните», – завершил разговор басовитый нелюбезный голос.

Из разговора он понял главное: Иона в относительном порядке, Тамара в тяжёлом состоянии, но жить будет, а при смерти находится Вадим, который вёл машину. Пытаясь понять, что такое вещи первой необходимости, какие и где искать документы, и как вообще всё это возможно, он накидал в сумку каких-то полотенец, потом половину вытащил обратно, перекрестился, схватил полис Ионы, перевёл все деньги со счёта на карту и вызвал такси.

***

Путь занял чуть больше часа, но ему казалось, что скоро наступит вечер, и что столько красных светофоров он не проезжал ни разу в жизни. В детской больнице к нему отнеслись внимательно и вежливо, к Ионе пустили сразу же.

Малыш… целый и невредимый спокойно играл в конструктор. Он ожидал, несмотря на уверения по телефону, что с ним всё хорошо, увидеть его в переломах, с перевязанной головой, неподвижным, в коме и что-то подобное. Представлял, как сын откроет глаза и не узнает его. Но Иона радостно бросился к нему и обнял с криками: «Папочка, ура, папочка!!!» От сердца отлегло, покатились благодарные слёзы.

Как ни банально, малыша спасло детское автокресло. Во время сильного толчка и падения машины он не вывалился, даже не поранился. В больницу попал для проверки психического состояния и получения психологической помощи. Врач сказала, что не видит ничего опасного. Сотрясения не было, серьёзные травмы отсутствуют, сильный испуг едва ли вызовет негативные последствия. Но нужно задержаться ещё на день, максимум на два, поскольку реакция бывает замедленной. Ему разрешили остаться ночевать. Он, боясь отпустить Иону даже на минуту, пересилил себя, виновато пролепетал, что скоро вернётся, объяснил ситуацию и помчался к родителям.

Во второй больнице всем было не до него. Много людей, бесконечные запутанные коридоры, нервно, непонятно куда идти, к кому обращаться. Когда он наконец нашёл нужный этаж и пост дежурного, его отругали за то, что долго ехал. Нового он узнал мало, Вадим находился без сознания, с множественными переломами, черепно-мозговой травмой, повреждением внутренних органов. За его жизнь боролись.

И Тамара ещё не пришла в себя, но её уже прооперировали. У неё также были переломы и травмы, но не столь серьёзные. По прогнозам жизни ничего не угрожало, однако

реабилитация должна была занять не менее двух месяцев, и то – если не возникнет осложнений, были повреждены локтевая и бедренная кости.

Наконец, вечером, в полиции ему как единственному родственнику передали протокол, подсказали, что он может обратиться в суд, дабы взыскать компенсацию с виновника ДТП. Про саму аварию он понял не всё. Изначально знал, что Вадим никогда не нарушал правила и был максимально осторожен за рулём, когда вёз ребенка. Но это не спасло. На загородном шоссе, на большой скорости столкнулись две машины и мотоциклист, который погиб на месте, задели ещё и четвёртый автомобиль. Как ему объяснили, за рулём выехавшей на огромной скорости на встречку «Мазды» был человек, «не справившийся с управлением в состоянии наркотического опьянения», а мотоцикл в это время «совершал манёвр опережения». Вадим двигался не по левой, а по средней полосе, попытался отскочить в сторону, задел задний бампер правого автомобиля, который смог вырваться вперед, но от столкновения уйти не успел, основной удар пришёлся на него. Тамара ехала на переднем сиденье.

Удар получился настолько сильный, что машина перевернулась, от травм родителей не защитили даже подушки безопасности. Возгорания не произошло. Иона, крепко схваченный ремнями в детском кресле сзади, повис вниз головой; мягкий подголовник и подлокотники автокресла предотвратили сильные ушибы, малыш лишь кричал от ужаса. Ему быстро помогли выбраться очевидцы. Состояния шока у малыша не случилось, но, конечно, был сильный испуг.

Наркоман остался жив, в тяжелейшем состоянии попал в реанимацию. О прогнозах выздоровления ничего не сказали, его, впрочем, они и не интересовали. От одного слова «суд» его бросало в дрожь, пусть Вадим с Тамарой занимаются, если захотят. Он взял бумаги, что-то подписал и, вежливо попрощавшись, поехал обратно к Ионе.

«Автомобильной аварии у нас в жизни не было, а должно же случиться всё», – думал он едко по пути и тут же переходил на благодарность за то, что малыш уже второй раз выходит сухим из воды. – «Будто постоянно кто-то хочет отнять его у меня», – ужасался он, вновь вспоминая со жгучим стыдом, как после рождения думал отказаться от ребёнка, оставив на попечение родителей, – это выглядело теперь столь дико и кощунственно, что он старался только молиться, бесконечно прося прощения.

Про ДТП он прояснил многое. Кроме одного, странного: как вообще и почему они оказались так далеко на загородном шоссе? Могли поехать на дачу, но его всегда в таких случаях предупреждали. В этот же раз чётко сказали, что с не полностью выздоровевшим Ионой планируют сходить лишь в гости к знакомым на соседней улице, у которых тоже был пятилетний малыш, погулять в парке, а б*о*льшую часть времени провести дома. Каких-либо причин скрывать поездку «в усадьбу», как они шутливо называли небольшой деревенский домик с классическим участком в шесть соток, у родителей не было, он всегда давал согласие. Как они очутились в итоге за девяносто километров от Москвы?.. «Всё неслучайно», – только и мог в очередной раз сделать банальный вывод он.

***

С Ионой они вернулись домой уже на следующий день. За родителей он молился. Вадим пришёл в себя через сутки. Был очень слаб, не шевелился, едва мог говорить – уже не привычно уверенно и громогласно, а чуть слышно шелестел старческим хрипом. Но сознание прояснилось, память сохранилась. Врачи ожидали худшего, предупреждали, что он может утратить речь, понимание происходящего, в общем, превратиться «в растение». Тесть мучился от сильной боли по всему телу, ведь его «собирали по кускам».

Тамару выписали через десять дней. Она не могла передвигаться самостоятельно, требовался постельный режим и постоянный уход. Кроме него, обратиться было не к кому.

Конечно, он не горел желанием становиться домработником-санитаром, денно и нощно служить нянькой двум лежачим больным, но не помочь в такой ситуации было бы бесчеловечно. Он покорно согласился, радуясь, что они хотя бы остались в живых. Не смотря ни на что, относился к ним тепло, знал, что всегда будет благодарен им за счастливые несколько лет, прожитые с Олей.

Пришлось оставить на время работу и переехать с Ионой обратно к ним на Таганку. Он не испытал радости от возвращения в «отчий дом», наоборот, нахлынули неприятные воспоминания.

Но это были мелочи по сравнению с навалившимися сопутствующими обстоятельствами. Директор Ванюши сказал, что едва ли место сохранится за ним, положенный отпуск был истрачен, а семейные трудности никого не интересовали. Грозила потеря работы, но совесть не позволяла бросить близких людей, поэтому он скрепя сердце вяло пробормотал в ответ: «Значит, судьба такая».

Ему посочувствовали, даже извинились, но в тот же вечер разместили вакансию на его должность. Это казалось жестоким, уныние переполняло, однако он решил, что нужно хоть раз в жизни постараться быть безропотным. Рассказал про своё горе Тамаре, та лишь поджала губы: «Скажите, какая жертва!» И он понял, что по сравнению со смертью, которая была в одном шаге от них и от сына, потеря работы – сущие пустяки.

***

Потянулись безрадостные дни ухода и выздоровления. Через две недели домой отправили и Вадима. На его попечении оказались два беспомощных пожилых человека и пятилетний ребёнок. Уже в первые дни надежду найти подработку в свободные часы он оставил. Приходилось жить на общие сбережения, а их оказалось немного с учётом трат на средства лечения, гигиены и приходящую для сложных процедур санитарку.

Тамара хотела вернуться на медсёстринскую службу спустя несколько месяцев. Сам он пока ничего не планировал, решив «не заботиться о завтрашнем дне». Вадима же ждала только пенсия. К тому времени он работал уже не машинистом в метро, а слесарем-ремонтником в мастерской. До аварии уходить не собирался, но теперь выбора не было.

Время тянулось медленно, приходилось бегать по магазинам, готовить, кормить убирать, подносить и выносить судно, мыть больных, делать уколы – это был тяжёлый непривычный труд, которому он обучался на практике с подсказками Тамары, санитарки и просмотром роликов в интернете. Если бы вместо протеза была здоровая рука, он бы тратил меньше времени и нервов, а «с ограничениями» получалось, мягко говоря, так себе.

Работая у Ванечки, он стал педантичен и брезглив, что теперь сильно мешало. А ещё больше мешало невесть откуда возникшее чувство отвращения, нетерпения и злости на собственную слабость. Он уже забыл, как ухаживал за Олей, казалось, это было в другой жизни. Привык чувствовать себя «нормальным человеком», даже успешным, стал разбираться в брендах и прочих атрибутах «красивой жизни», пусть не для себя, но всё же... Не каждому ведь детдомовцу или инвалиду так посчастливилось. И вот, когда он почивал на лаврах, его снова вернули на землю. «Ну и ладно. Значит так надо. Мы тут все гостях, значит, принимаем условия игры», – сердито думал он, моя судно.

Родители его благодарили, но было видно, что они делают это через силу, от безысходности. Враждебность их исчезла, но любовь к нему не появилась, ещё свежи были в памяти воспоминания о судебных разбирательствах. Они больше молчали, терпели, равнодушно принимали то, что он делал. Общались суховато, но доброжелательно, чаще – просто вежливо. Все выдержано ждали, пока закончится испытание.

Он думал разное. Делалось обидно, что даже теперь его не ценят. Всё-таки он по-доброму поступил, мог бы и рукой махнуть – сами ещё недавно кричали, что он «чужой и посторонний». Но чаще радовался, что они успокоились и больше не шипят. После провального суда и выделения им отдельных часов на общение с малышом, было видно, что они затаили злобу. Он боялся, что пойдут дальнейшие судебные разборки, что они не согласятся придерживаться установленного порядка, не захотят подстраиваться, будут удерживать Иону без предупреждения, на своё усмотрение. Но с этим проблем не возникло, оговорённые правила более или менее соблюдались.

Однако его угнетала их ненависть, неизвестно откуда взявшаяся, а позже разросшаяся до такой степени, что они не могли её скрыть. Общаться было тяжело. На него смотрели высокомерно и презрительно, разговаривали холодно и подчёркнуто отстранённо, избегали

обращений «ты» или «вы», игнорировали вопросы, иногда снисходительно усмехались – он стал врагом. Это принималось нелегко после нескольких лет искреннего семейного дружелюбия, поддержки, теплоты, позже – пусть трудного, но всё-таки совместного двухлетнего воспитания Ионы.

После суда их доброта окончательно и бесследно испарилась. Война стала молчаливой, а внешне общение выглядело благопристойно и крайне сдержано.

И вот теперь, когда он пришёл к ним на помощь, вражда закончилась. Он больше не чувствовал их внутреннего напряжения, гнева, отчаяния, обиды. Конечно, они далеки были от того, чтобы снова принять его «в объятия», но вернулось ощущение, что он всё-таки «свой», а не посторонний негодяй, который «убил» их дочь и «украл» их внука. И, да, они вспомнили, как его зовут, и снова стали обращаться на «ты». Они в нём нуждались, они, возможно, даже жалели о том, что устроили. Но говорить об этом избегали. Поэтому дни были полны грустной прохлады и ожидания, когда Тамара оправится.

Больше всех помогал ему Иона. Он сделался недостающей рукой. Смышлёный, достаточно проворный, неизменно позитивный, малыш искренне старался быть полезным. Возил тряпкой по полу, учась вытирать пыль, мог выполнять мелкие поручения по дому – отнести, принести, подать, а главное, конечно, поговорить с бабушкой и дедушкой, сказать, что он их любит, что ждёт, когда они выздоровеют, снова будут с ним играть. Он стал бальзамом для всех. Часто обнимал его, говоря: «Ты мой лучший в мире папа! Ты моё сердечко! Ты мой добрый богатырь!» И силы возвращались, возвращалась потерянная радость, смысл жить.

***

Однажды ближе к ночи у него от голода сводило живот, с утра не ел, едва успевал кормить других, на себя не осталось ни времени, ни еды. Днём сломалась и протекла стиральная машина, случился небольшой потоп, который они с Ионой экстренно ликвидировали. Долго разбирались с бельём, полоща и выжимая его вручную. Ждали мастера, тот пришёл только вечером…

Потом нужно было срочно искать и заказывать сломавшуюся деталь, идти в магазин за продуктами. Малыш к тому времени раскапризничался, разбил чашку, пришлось подметать. Затем он побежал в ночную аптеку, поняв, что закончилось лекарство, которое принимал Вадим… Он был измучен, но всё суетился, обуреваемый раздражённой мыслью, что ничего не успевает. Тамара позвала, он подошёл, стал слушать, что она говорит, но вдруг её голос удалился, в глазах потемнело, он понял, что падает.

Очнулся от запаха палёной шерсти. Он лежал на полу, над ним стоял Иона, держа в руке плавящееся волокно. Ноги были приподняты, под ними – подушка. Он понял, что упал в обморок.

– Папочка, любимый, дорогой мой! Ты вернулся! Ты не пошёл на облако за мамой! – закричал малыш, бросившись обниматься. Он с трудом сел на пол. Лежащая в постели на боку Тамара держала в руках коробок спичек и молча смотрела на него.

Он тут же вспомнил, как впервые увидел её и Олю. Он тогда тоже потерял сознание в электричке. Тамара оказала ему первую помощь, как сейчас, опалив шерстяную нить. Вот эта нить их и связала… Перед глазами отчётливо всплыл тот солнечный день, шум поезда, его болезненное потрясение от взгляда на Олю. Он посмотрел на Тамару. Встретившись глазами, оба беззвучно заплакали. Иона обнимал всех по очереди. Это он по просьбе бабушки нашёл и принёс спички, положил под ноги подушку и привёл папу в чувство, сунув ему под нос тлеющее волоконце.

22

С того момента в отношениях наступил перелом. Тамара стала относиться к нему почти как раньше, когда ещё была Оля. И однажды, о чудо, она попросила прощения. За всё прошлое, за суд, за страшные ложные обвинения, попытку искалечить его жизнь.

– Нам очень сложно было пережить уход Оли, – пыталась объяснить она. – Нам она была чудом дарована, нельзя же было нам детей, и сколько мы бились за неё, ты не

представляешь, какой это труд, какая это боль. Она ведь ни ходить не могла, ничего сама не могла. Ну вот, представь, если бы не дай Бог Иона родился с чем-то подобным, – но он, замахав рукой, ничего представлять не захотел. – Весь мир был вокруг неё сосредоточен, каждая минута ей посвящена. А сколько счастья мы испытывали за каждую подвижку, – каждый новый шажочек был потом и кровью выстрадан. И ведь поставили на ноги, образование дали, она же практически стала полноценным человеком. Создать семью, ты уж прости за прямоту, мы вам помогли. И вот потом… только малыш от неё и остался. Ну как мы могли отнестись к этому? Мы с ума сошли, я тебе точно говорю, мы от горя разумом помрачились. Мы считали, что он только наш, решили биться до конца, решили любые круги ада пройти, но только, чтобы он с нами. Нет, со стороны это невозможно понять…

– Ну почему же, я понимаю, – деликатно промямлил он, чувствуя, что нет, конечно, не понимает. Потому что можно испытывать сострадание к другим, но из своей кожи выпрыгнуть и в чужую влезть сложновато всё-таки.

– Знаешь, эта авария... Мы тогда наврали, что пойдём в гости. Решили с ним уехать на две недели в дом отдыха, это полтораста километров. Мы всё-таки иногда ещё очень хотели, чтобы он был только наш, не могли смириться. Тяжело было эти «двое суток» принять, будто одолжение какое-то. Ты не думай, мы плохого ничего не задумывали. Но Вадик решил, что если тебе сразу сказать, то ты взбрыкнёшь, не отпустишь Ионку; а у нас уже проплачено всё. Думали, оттуда позвоним, поставим перед фактом. Теперь вот понимаю, нельзя так было, ты бы очень переживал. Боялся бы, что мы его совсем заберём у тебя, да? – Он пожал плечами, хотя внутренне содрогнулся, представив, что бы он там себе надумал и какие страсти набредил за эти две недели без Ионы. – Некрасиво, да, но… вот и поплатились. Может, из-за этого так получилось.

– Ну что вы, – пробормотал он, хотя и сам тут же подумал, что а вдруг из-за этого?

***

Тамара встала на ноги через два месяца, воплотился лучший сценарий из тех, которые расписывали врачи. Вадим ещё был прикован к постели, но дело шло к постепенному выздоровлению: раны заживали, кости срастались, функции восстанавливались. Из-за повреждений позвоночника ходить он пока не мог, однако паралича не случилось, и прогнозы стали уже оптимистичные.

Теперь они вместе ухаживали за Вадимом и заботились об Ионе. Было понятно, что скоро его помощь станет не нужна, Тамара обещала через месяц-два отпустить его на работу, точнее, на новые её поиски. Предлагала пожить у них, но не настаивала, предоставив выбирать самому.

– Ты вроде бы умеешь чувствовать наперед, лучше знаешь, как сделать, – смущённо пояснила она, а он очень удивился такому комментарию. Сказал, что подумает.

Подумал. И отказался. Решил, что не стоит рисковать, что дважды не вступают в одну речку, что, в конце концов, не зря же были испытания, ремонты, работы, кредиты и прочее.

Родители приняли его выбор безропотно. Кажется, они теперь искренне ему доверяли. У него даже возникло впечатление, что он возымел у них авторитет. Это было непривычно и странно. Но приятно. Он будто враз стал старшим. Впрочем, удивительного ничего: после аварии и операций Вадим из пожилого могучего «медведя» превратился в слабого беспомощного искалеченного старика, похудел килограмм на двадцать, говорил тихо, невнятно, нуждался в постоянной помощи. Кому же довериться, как не ему?

Сама Тамара работать ещё не могла, да и не хотела оставлять Вадима. Ещё через месяц призналась, что временами испытывает страхи, головокружения, слабость, начались проблемы с сердцем, возможно, связанные с аварией, возможно, нет, – словом, о том, чтобы выдерживать смену медсестрой, она больше не заговаривала и вскоре тоже ушла на пенсию. За мужем ухаживать сил пока хватало. Поэтому однажды они с Ионой собрали чемоданы, тепло попрощались и вернулись домой.

***

Это было одновременно печально и радостно. «Дедушка с бабушкой» теперь жили в его сердце, расставаться оказалось неожиданно больно. Однако стены «родимой берлоги» так напитали позитивом с первой минуты, словно ждали с нетерпением. Переступив порог своей отремонтированной квартиры, которая далась ему такими жизненными потрясениями, он почувствовал себя неимоверно счастливым и свободным.

На другой день он попытался заново договориться с Ванюшей о работе, мечтал убедить, что ещё окажется полезным, – как ни крути, опыт имеет значение. Втайне лелеял мечту вернуться на удобную и выгодную должность администратора, надеялся, что сладостным лучезарным утром застанет «небожителя» в свойственном ему позитивном настроении, разжалобит, уверит в своей незаменимости...

Но не фартануло. Нервный и взвинченный по неизвестным причинам Ванюша наорал на него, обозвал предателем, почему-то сказал: «Ты подставил в самый неподходящий момент», – хотя никакого особенного момента тогда отнюдь не было – обычные гастроли в Калининград, которые и без него прекрасно организовали. В финале бурного монолога Ванюша грубо его послал, а он, разумеется, про себя гордо сказал: «Ну и слава Богу!», – и отряхиваясь от выплеснутых на него помоев, почувствовал, как отлегло от души. Понял, что всё, конечно, как всегда сложно, но как всегда к лучшему.

***

Очередного фантастического везения с работой не случилось, зато случилось нефантастическое. Его после недолгих поисков приняли помощником в подмосковную библиотеку, ехать до которой нужно было всего две остановки на электричке. Зарплата по сравнению с предыдущей стала откровенно печальной, но зато и рабочий день предоставили сокращённый, что давало возможность больше проводить времени с Ионой.

А тот взрослел и мужал. Любил петь, тихонько подпевал на службе в храме. Однажды, это было месяца через два после их возвращения домой, малыш долго возился с бумагой, клеем, карандашами, а потом принёс огромную белую поделку из соединённых листов с нарисованным улыбающимся лицом – почти с себя ростом.

– Что это? – вытаращил глаза он.

– Это ангел, – ответил Иона. – У тебя сегодня День Ангела.

А он и забыл. Проверил – точно! Видимо, совсем замотался и перестал смотреть на числа календаря. То есть, он смотрел, конечно, когда выдавал книги читателям, но у него на работе даты не ассоциировалась ни с чем, кроме самой библиотеки. Вероятно, подсказала Тамара вчера по телефону, не мог же малыш сам запомнить день именин. Он со слезами благодарности восторженно обнял Ионку и всё-таки поинтересовался:

– Это бабушка тебе напомнила?

– Нет, это Елисей, – неожиданно заявил Иона, и он вздрогнул. Впрочем, чудо легко объяснилось. Оказалось, в храме он подружился со старшим мальчиком по имени Елисей. Тот был сыном батюшки, прислуживал, вот и надоумил позавчера, когда они были на миропомазании, – по своему ли разумению или, скорее, по подсказке отца – неизвестно, но сюрприз получился незабываемый.

Он в очередной раз подумал о том, какое утешение даровано ему, ведь другой бы ребёнок тут же забыл, а он… решил его порадовать, сам придумал, сам склеил. Он молился за батюшку и благодарил Елисея, – заодно и того, который, как выражался Иона, «жил на облаке». Он сразу понял, что это подарок и от него тоже, потому что иначе просто быть не могло. Огромного растрёпанного ангела он повесил рядом с кроватью. Попросил Елисея присниться, поболтать, рассказать, как он там, в небесных обителях…

И искренне верил, что Елисей ему приснится. Он вообще до сих пор, под стать Ионе, во что-то наивно верил, что сам придумал. Например, в то, что Елисей может по просьбе присниться, что-то важное рассказать, как бывало когда-то. Что запросто может ангела подарить таким неожиданным образом. Или подбросить правильную мысль, если внутренне с ним посоветоваться…

***

Но, конечно, приснился ему той ночью не кто иной, как жуткий Елеазар! Впрочем, проснувшись, он стал по привычке разбирать да анализировать и решил, что всё-таки это послание от Елисея. И расстроился, потому что он же помнил, что к снам всерьёз относиться нельзя, а тут очень захотелось отнестись всерьёз.

Дело в том, что Елеазара он впервые увидел не искусственным, а простым, собранным, настоящим. Каким задуман был, что ли? Без тысячи примесей, оболочек, масок, кривляний, насмешек, загадок, без скептицизма и иронии, а таким, какой он внутри себя, подлинный. Или, может, таким, каким он должен быть, словом, поразительно нормальным.

Во сне Елеазар рассказывал ему о своей жизни. Они сидели в кафе, за окном падал снег, и казалось, что они знают друг друга уже тысячу лет. Что они долгий-долгий жизненный путь прошли вдвоём, только в чём этот путь заключался, он никак не мог вспомнить. Ощущение было, словно позади огромный период – то ли совместной работы, то ли соседства, или ещё чего-то, словом, это такой человек не то, чтобы родной и близкий, но знакомый до боли.

И вот они сидят, и душевно беседуют, а Елеазар вспоминает детство, юность. Говорит, что рос в строгой семье, где-то в Сибири, что за проступки отец его порол, требовал беспрекословного послушания, а мать мягкая была, уступчивая, молчала и покорялась, потом жалела его тайком. Детей было четверо, но сестра умерла во младенчестве от воспаления лёгких, один брат сбежал из дома и пропал без вести, а второй, когда вырос, уехал жить в другой город и даже не писал.

Мать его крестила в церкви, несколько раз носила на причастие, но потом отец запретил – он в храм не ходил, так как был старовером беспоповцем. Как и почему сложился их брак, как отец вообще мог позволить крещение в церкви, не «перекрещивал» ли потом, Елеазар не знал. Мама рано умерла, они остались вдвоём. Обедни и другие службы батька читал дома сам, не причащался, считая, что с приходом «никонианства» истинность таинств была утрачена. Верил, что в разгаре апокалипсис, что теперь спасутся лишь единицы из миллиардов. Маленький Елеазар даже вникать не старался. Делал, боясь ремня, всё, что просили, поначалу верил, что Бог – это такой грозный волшебник, который постоянно наказывает, а в юности вдарился в атеизм, как и большинство сверстников. Получил историческое образование, некоторое время преподавал в школе, позже писал статьи, но денежной работы в тех краях не хватало, тогда решил попытать счастья ближе к столице, так и попал в Калугу, где устроился в маленькое издательство редактором.

Это то, что старик успел передать из «биографии», дальнейший кусок жизни был полностью опущен, а сон уже относился к теперешним обстоятельствам, и Елеазар говорил серьёзно, проникновенно, вдумчиво, печально, а главное, совершенно искренне, без тени привычного позёрства: «Знаешь, куда-то не туда меня занесло. Сильно я перегнул палку, в такую дрянь впутался… В общем, завихрился… Не тем я занимался всю жизнь. Представь только – всю жизнь… Будто не я это выбирал, и не со мной это было. Почему так глупо, постыдно жил, не могу понять». А он жалеет его, сочувствует, уверяет, что теперь уже всё хорошо, уже всё плохое в прошлом. Но самое главное, он впервые чувствует в Елеазаре любовь. Искреннюю, настоящую, готовность мучиться и даже умирать за кого-то другого, в то же время тихую и спокойную. Возможно, он так любил в молодости, или, наоборот, только сейчас на него накатило, это осталось загадкой.

А потом кафе исчезает, и зима тоже, и он уже находится на солнечном морском берегу, там летают божьи коровки, садятся на руки, и он радуется. Вдруг видит, что в одну воткнута булавка. Она жива, но еле ползает по земле. И он хочет вынуть булавку, почему-то уверенный, что тогда она сможет полететь. А откуда-то взявшийся Елеазар его останавливает: «Не надо, так он погибнет. Ему больно, конечно, но лучше остаться проколотым. Да, тяжело, но без иглы он не сможет. А вдруг он и полетит ещё с ней?..» Он соглашается, понимает, что Елеазар прав, и вот они сидят над божьей коровкой с надеждой, ждут, но она не летит…

23

О смерти старика он узнал не от Даши или Богослова, которые больше с ним не общались и, несмотря на видимое примирение, даже не прислали фото маленькой дочки, а от матери Елисея. Именно ей старик волеизъявил забрать и похоронить тело в случае кончины. Она позвонила ему с того же номера загадочного Владимира и пригласила на похороны. Там-то и узнал он о том, как умирал старик.

Похоронили Елеазара рядом с женой, на Пятницком кладбище в Калуге. Там же, в храме, к немалому его удивлению, прошло отпевание. Он подумал, что организовала его, конечно, всё та же благочестивая женщина, которая о секте не догадывалась, а священник и подавно не стал разбираться, во что верил покойный. На похоронах была Даша и несколько знакомых матери Елисея, которые пришли ей помочь. Богослов остался на Кипре с детьми.

Он, поздоровавшись со всеми, подошёл к Даше, не обнимая, тихо и как только можно деликатно сказал: «Очень соболезную». Она молча кивнула. Было видно, что она в смятении из-за смерти деда. Их отношения, странные, ни на что не похожие, запретные, в то же время полные мистической заманчивой страсти, так и остались для него жуткой загадкой. Он, конечно, не мог не вспомнить его фразу про «положил под тебя Дашку», стало очень стыдно, но всё это мигом прошло, едва он взглянул на тело. Увидев лицо покойника, он чуть не отпрянул.

Старик выглядел совсем, как живой, не было похоже, что он мёртв. Лицо казалось странно молодым, наверно, перестарались танатопрактики. Но пугало даже не это. Дело в том, что Елеазар улыбался. Улыбался так хитро, триумфально и так естественно, что возникало ощущение, будто он всех победил, обманул, обыграл в какую-то ему одному ведомую игру и унёс с собой эту тайну в могилу. Мать Елисея не стала бы доплачивать за подобный косметический эффект, поэтому он решил, что это последнее едкое и оригинальное высказывание старика, которое так и останется очередной мучительной тайной. Похоже, не только он, но и Даша отнесли эту ухмылку лично к себе, однако, подумав, он решил, что она была обращена ко всему мирозданию. Поцеловав после отпевания холодный лоб, он почувствовал облегчение. Прощание убедило его, что старик, в самом деле, мёртв, а то, страшно признаться, из-за бодрого вида покойника у него оставались сомнения на этот счёт.

Он не мог пересилить любопытство и тихонько посматривал на Дашу во время отпевания из-под мохнатых рыжих ресниц, которые скрывали его внимательный пытливый взгляд. Отметил, что она, кажется, располнела, внешне осунулась, была загорелой, что неудивительно для киприотки, не пользовалась косметикой. «Повзрослела, – обнаружил он, – другая стала, мама, солидная, уставшая, и всё равно красивая, даже больше, чем раньше».

Даша смотрела в пол, мяла в пальцах край расстёгнутой кофты, похоже, нервничала. Много в ней осталось и от прежней Даши, было понятно, что в душе происходит какая-то борьба, вероятно, между ненавистью и обожанием, что она не может так просто отпустить деда, что ведёт с ним внутренний диалог, обвиняет, просит прощения, снова обвиняет, снова любит и снова не может простить. На молитву выражение лица никак не походило. Ближе к окончанию службы по её щекам вдруг потоком хлынули слезы, – старалась сдерживаться, но он заметил, что она беззвучно рыдает. Хотелось подойти и обнять её, но он не смел, не имел теперь права, даже в такой момент. К счастью, её внутренний надрыв заметила мать Елисея и тут же оказалась рядом, чтобы успокоить. Даша спрятала лицо у неё на плече.

Самому думать о старике на похоронах не хотелось, он лишь испытывал успокоение от того, что тюремные мучения Елеазара наконец закончились, что его отпевают по уставу, значит, есть на то Божия милость, несмотря на его былые заблуждения, а больше ничего не шло в голову. Когда он не смотрел на Дашу, то просто молился за него, заодно и за неё, и за всех присутствующих. Мать Елисея обещала рассказать о последних днях и смерти – после погребения, поэтому он терпеливо ждал, когда закончится таинство, отмечая про себя, что совсем не ощущает какой-либо мистичности, возвышенности, особенного настроения... Вот раньше он бы напридумывал или, действительно, что-то прочувствовал, а теперь – сухарь сухарём.

Поминальная трапеза была короткой, её провели прямо на могиле после захоронения, сказали банальные фразы, что, дескать, «отмучился, земля пухом». После этого немногочисленные приглашённые уехали.

Даша тоже суетливо спешила попрощаться, продолжая излучать странную детскую неловкость, будто присутствовала не на похоронах деда, а случайно попала на церемонию погребения чужого человека. Однако мать Елисея попросила её остаться, чтобы рассказать, как проходили последние несколько месяцев заключения. Тогда Елеазар уже никому не писал, кроме неё, да и она получала от него лишь короткие сообщения, по которым судить о его состоянии и переживаниях было затруднительно.

Оказалось, она по собственному желанию вступила в переписку со священником, который пребывал в колонии по оговору. Батюшку звали отец Валериан, старик пересказал ей его историю, она попросила разрешения написать, тот согласился, так началось общение. Он-то и поведал о том, что происходило с Дашиным дедом в последние месяцы, дни и минуты жизни.

Они оставались там же, на могиле, где стояла покосившаяся длинная деревянная скамья и поминальный столик. Тихая майская погода навеяла умиротворение. Разбирать тюремные послания было до смущения любопытно, ведь священник наблюдал со стороны, являлся свидетелем всех событий, кроме того, владел эпистолярным жанром, и потому мать Елисея цитировала некоторые его послания. Тогда картины случившегося представились ясно, будто он сам находился поблизости.

***

Как показалось священнику, в общение с ним Елеазар вступил из эгоистических соображений, по необходимости. Ему требовалась физическая помощь, сил едва хватало чтобы вставать, он с трудом передвигался, шатался, нуждался в поддержке. Въедливо выяснив историю попадания отца Валериана в колонию по сшитому делу, он не проникся к нему симпатией или жалостью, считая всех «попов» циничными обманщиками или откровенными дураками, о чём не стеснялся говорить, однако поверил в невиновность батюшки, причислив его ко вторым.

Отец же Валериан сострадал старику, и странно было бы не сострадать, видя его немощь, дряхлость, внутреннюю пустоту, озлобленность. Батюшка прямо писал, что сразу заподозрил в нём некую одержимость, самообман, но долго не знал причин. Помогал ему просто, без расспросов или назидательных бесед, заметив, что он откровенно шарахается от его молитв, плюётся и машет руками при одном упоминании Господа.

– Как же тогда Елеазар решился поехать с вами в Новый Валаам? – бестактно перебил он рассказ матери Елисея.

– Экспериментировал, – процедила Даша. – Хотел узнать, «а что будет». Он всегда хотел знать, «а что будет», мог нарушать любые правила, и человеческие, и сектантские. И потом хохотал, считая себя высшим существом без предрассудков.

Они встретились взглядом, и он быстро отвел глаза. Отметил про себя, что она, кажется, очень стала похожа на Богослова, даже говорила с его интонациями. Видимо, матери Елисея нечего было добавить, выдержав паузу, она продолжила.

Елеазар быстро стал относиться к «глупому попу», как к прислуге, очевидно, считая, что причина доброты и бескорыстного участия – в его «знатном роде», дескать «чернь» сама знает своё место и «инстинктивно повинуется». Батюшка в свою очередь решил взять на себя помощь в качестве послушания. «Возможно, ему тоже было любопытно, а что будет», – улыбнулась тут мать Елисея. На самом же деле, отец Валериан писал, что совесть не позволяла ему оставить одинокого дедушку, который совсем ослаб, мучился душевными и телесными болями. Их шконари стояли рядом, и он не мог игнорировать чужие страдания. «Вразумлять» обезумевшего казалось бесполезным, он молча молился за него, как и за других сокамерников, от большинства из которых, впрочем, предпочитал держаться подальше.

Старик пытался провоцировать батюшку своими странностями, капризами и загадками. Но если с другими его приёмы срабатывали, то тут, видимо, не получалось – кроме жалостливой доброты и отшучивания он от отца Валериана в ответ ничего не слышал, не мог

заставить его мучиться разгадыванием знаков, таинственных яростных нападок, заумных символов. Но как ещё мог священник относиться к больному помрачённому умом дедушке?

***

Однажды под глоток наваренной сокамерниками хлебной браги тот хвастливо разболтал ему «по секрету», что относится к знатному роду, причислен к обществу избранных, связан с такими «силами» и имел доступ к таким изысканным и жгучим, недоступным другим наслаждениям, что священник догадался про секту и ужаснулся. Вскоре после этого старик получил то самое письмо, где его проклинали, изгоняли из числа «великих», обвиняли в смерти дочери одного из лидеров, угрожали страшной мучительной расправой. О ситуации с «выкупом души» священник, очевидно, ничего не знал, о просьбе пойти «на переговоры» в Ермолаевский переулок и о нём самом в письмах не было ни слова.

«Изгнанный» дедушка выглядел убитым, раздавленным, последний смысл жизни был для него потерян. Тут отец Валериан довольно недвусмысленно сообщил старику, что те «силы», с которыми он общался и которые, к величайшему счастью, его «отвергли», ничего кроме зла ему не причинили, и поинтересовался, знает ли он о демоническом происхождении пережитых мистических удовольствий. «Ты-то что понимаешь? – отмахивался от него, как от назойливой мухи Елеазар, впрочем, священник увидел, что он как минимум догадывается о том, *кому* подчинялись и служили руководители-сектанты, но его это не пугает и не останавливает. – Какое мне дело, кто там главный? Ты не знаешь, *что* они у меня отняли». «Зато я знаю, что они вам вернули, – спокойно ответил отец Валериан. – Вашу свободу. Больше вы от них не зависите». Старик в ответ едко рассмеялся и не удостоил безмозглого пещерного попа ответом.

Ночью он разбудил его страшным сдавленным криком. Вскочив, отец Валериан увидел, что тот, задыхаясь, мечется в кровати, словно отбиваясь от невидимого существа. «Он меня душит», – прохрипел серый лицом Елеазар, глаза которого выкатывались из орбит. «Понятно», – с показным спокойствием ответствовал батюшка, который на самом деле не на шутку испугался и стал крестить старика, читая молитвы. Далее он окропил Елеазара святой водой, после чего тот громко вскрикнул и затих. Вдруг в его глазах снова появился животный ужас: «Вон он, – указывал он рукой на пустую стену, а затем заорал нечеловеческим голосом. – Помогите!!!»

Все проснулись, поднялся переполох, старик видел что-то кошмарное, чего не видели другие, указывал руками в разные стороны, кричал, что «он» его убьёт. Решили, что у него белая горячка, хотели связать, однако священник упросил этого не делать, почему-то уверенный, что приступ скоро прекратится. Так и вышло: он продолжал кропить святой водой помещение, читая молитвы, и Елеазар пришёл в себя. После этого он вырвал у батюшки кружку, выпил воду залпом. Тогда его стало рвать кровью, буквально выворачивая наружу. Некоторых это разозлило. Наутро его хотели отправить в медчасть, однако он наотрез отказался, цепляясь за рукав отца Валериана и бормоча, что подобное никогда больше не повторится.

– Как он выглядел? – поинтересовался батюшка ближе к вечеру, когда понял, что Елеазар способен вести диалог. Тот мгновенно скорчился от ужаса и забился в угол кровати.

– Они меня убьют, – наконец выдавил он, лицо было серым, губы тряслись. – Это они. Это от них.

– Сами не убьют, всё бывает только по воле Божией, – священник не поленился напомнить про гадаринского одержимого, про стадо свиней, было видно, что Елеазар слышит Евангелие отнюдь не впервые, что батюшку удивило.

– Никогда я в это не верил, – вдруг скептически заворчал старик, в одно мгновение вернув прежний снисходительный тон.

– А, ну тогда ещё и не то явится, – учтиво пообещал батюшка.

– Подумаешь, показалось, – неожиданно едко и зло улыбнулся старик. Его страх куда-то пропал. Он надсадно расхохотался. – Выпил я вчера. Угостили. Перебрал. А ты уж решил, что спас! Ничего ты не можешь!

– Я ничего не могу, – охотно согласился отец Валериан.

– Ну и заткнись! – нелюбезно ответствовал поганый старикашка.

Про «выпил» была неправда, вечером Елеазар не вставал, по состоянию здоровья ему разрешалось лежать. Всерьёз его никто вокруг не воспринимал, к нему относились безразлично, как к предмету, браги наливали, только когда сам подходил и назойливо нависал, шатаясь от слабости, будто тонкий сухостой.

Батюшка не обиделся, равнодушно пожал плечами и прекратил бесполезный разговор. Ночью он лёг спать, заготовив на всякий случай новую кружку святой воды, кропило и елей. Всё это разрешали ему держать, а «затянуть» в барак особой сложности не составляло – осталось несколько друзей священнослужителей со времён семинарии, которые не верили в его вину, несмотря на то, что он её признал, также было немало прихожан, которые поддерживали, как могли. Ещё на воле ждала матушка с тремя сыновьями и брат, они отправляли ему посылки и деньги.

Проснулся отец Валериан в ужасе: его самого душили. Однако не демоны и не черти. Это был старик: «Сдохни, гнида», – шипел он страшно, нечеловечески, с глухим присвистыванием, как бывает в фильмах ужасов, с неожиданной силой вцепившись в его шею. Осталось только для полноты картины, чтобы изо рта у него повалил чёрный дым и выползла змея. Но змея не выползла, и ждать её появления никто не собирался. Батюшка отличался крепким телосложением, но, как ни странно, ему стоило немалых усилий вырваться из крючковатых пальцев, а затем повалить взбесившегося Елеазара на пол. Тот из немощного дряхлого дедушки словно превратился в сильного здорового молодца. Священник признался, что помогло призывание Господа, собственных сил не хватало, присутствовала мистическая составляющая. Рядом не никто не проснулся или же не захотел вмешиваться. Не будучи святым и забыв о всепрощающей любви, отец Валериан нехило пнул старика под рёбра, чтобы тот пришёл в чувство, и лишь после этого спохватился, сообразив, что это, пожалуй, не совсем христианский метод.

Он отдышался и посмотрел на старика, было похоже, что тот от удара отключился. Испугавшись, батюшка наклонился и увидел, что тот снова сжался в диком ужасе, но смотрит уже не по сторонам, а на него, поскуливает и лепечет тоненько и жалобно, как ребёнок: «Прости, это он мне велел. Я больше не буду. Это он. Это он сказал душить. Это не я».

Бросив одержимое инфантильное существо на кровать, священник снова стал кропить его святой водой, читая молитвы и попутно пытаясь восстановить мирный дух в собственной душе, который не спешил там водворяться. С подобным проявлением беснования батюшка столкнулся впервые, признавался он в письме, это выглядело по-настоящему страшно и противно. Быстрой человеческой помощи было ждать неоткуда, он надеялся только на Бога, просил заступничества Божией Матери и святых.

Помогло. Следующая ночь прошла относительно тихо. Старик невероятно ослаб, стонал и жаловался на сильную головную боль. Все имеющиеся обезболивающие таблетки были выпиты в одночасье. Наутро отец Валериан поволок его в медчасть за лекарствами.

Потом старик молчал и думал. Вечером попросил с ним поговорить. «Про что?» – устало вдохнул отец Валериан. «Ну, про свиней, – виновато отвечал старик, снова ставший похожим на больного несчастного человека, словно, как блудный сын, в него вернулась потерянная душа. – Как мне просить, чтобы Он велел им от меня отстать?» Это уже было на что-то похоже.

Священник в письме не уточнял, о чём именно они беседовали, упомянул лишь, что к ночи Елеазар стал вспоминать моменты из своей молодости, говоря, что они сами всплывают в памяти, а он о них давным-давно думать забыл. В какой-то момент дед прослезился. Батюшке было неспокойно, он опасался новых приступов. Но обошлось – после предыдущих бессонных ночей оба проспали до утра без приключений.

Вероятно, именно тогда Елеазар прислал последнее «извинительное» письмо. «Надо же, – изумился он, – после всего пережитого, он продолжал называть Валериана «попом» и говорить, что ему не верит».

Страшных приступов больше не случилось, но были тихие. Старика терзали кошмары, во сне и наяву. Он рассказывал священнику, что на груди сидит отвратительное когтистое существо, которое хочет его сожрать, или молча смотрел в темноту и не мог произнести ни слова, или шептал, что «он гигантский, как небоскрёб, и омерзительный настолько, что можно потерять сознание», и, действительно, терял, или мелко трясся, говоря, что вокруг смердит разлагающимися останками покойников, которых убили сокамерники… Он нестерпимо мучился, то ли страдая галлюцинациями, то ли ему, действительно, открывалась правда потустороннего мира. Сам священник ничего похожего вокруг не наблюдал и не чувствовал, рекомендовал обратиться к врачу, молился, помогал, кропил водой и помазывал елеем.

Однажды ночью батюшка буквально подскочил от страшного грохота. Проснулись все, но происхождения звука никто не понял, казалось, что взорвался и обрушился дом. Старик сидел бледный, вялый, с перекошенным от отвращения лицом, впервые отец Валериан увидел, что он крестится и, кажется, даже читает молитву. «Опять…», – тихо прошептал Елеазар. Позже, когда дедушка был без сознания, а он временами «проваливался в небытие», что, впрочем, приносило ему облегчение, священник обнаружил у него под рукой собственный молитвослов. Попросить старик постыдился, попросту стащил.

Грохот слышали и заключённые, и сотрудники колонии. Разрушений поблизости не обнаружилось, в новостях ни о каких взрывах не передавали. Сошлись на том, что это был удар грома при ясном небе, – странно, но мало ли, что случается в природе? В мистическое происхождение никто, кроме батюшки и Елеазара, конечно, не верил.

После того случая старик стал угасать. Он ни о чём не говорил, не отвечал на вопросы, иногда только тряс головой в отчаянии и тихо повторял: «Какой же я был дурак». Отец Валериан хотел его утешить, подарил Новый Завет, но Елеазар, поблагодарив сквозь зубы, хмуро сказал, что нуждается в покое. Общаться он не желал, видно было, что душа терзается.

Совершить таинство исповеди Отец Валериан не мог, его ведь лишили сана. Собственного храма в колонии не было. Чтобы пришёл сторонний батюшка для беседы, исповеди или причастия, требовалось написать прошение, но старик отказывался. Со стороны казалось, что дед уже кается, что ему нужен священник. Но время шло, и ничего не менялось.

Елеазар сох и слабел, Евангелие читал мало, больше шептал, крестился. Тот самый растрёпанный домашний молитвослов, который был по-настоящему дорог батюшке, старик присвоил, не спрашивая разрешения, отец Валериан ни слова не возразил.

***

Так прошло несколько месяцев. Дед практически не вставал, ел мало, часто находился без сознания или бредил, не понимая, где находится. Похоже, что в больницу его никто везти не собирался, старик теперь вёл себя тихо, никому не мешал, а ухаживал за ним отец Валериан. При медицинском обходе тюремный врач отмечал, что жалоб нет, все безразлично ждали его кончины. Батюшка не стал добиваться перевода в изолятор, так как сам Елеазар просил его оставаться рядом.

Однажды утром, батюшка проснулся, застал старика встревоженным. Он сидел прямо, смотрел перед собой. Последнее время старик едва мог приподнять голову, говорил еле слышно, путался в словах, иногда тихо звал Дашу. А тут вдруг сам сел, громко, с какой-то особой ясностью и торжественностью сказал, что срочно хочет исповедаться и причаститься. «Пусть сегодня придёт священник», – чётко провозгласил он.

Но быстро организовать такой визит было невозможно. Елеазар ослаб и даже не сам написал прошение, это сделал за него отец Валериан, а он лишь поставил подпись и тут же потерял сознание. Батюшка молился, чтобы у старика хватило сил дождаться Святых Даров, но тюремная бюрократия затягивала подобные процессы на месяцы. Надежды, что он доживёт, было мало.

Ночью старик хрипел, задыхался, отцу Валериану показалось, что у него агония. Он подумал, что пора читать канон на исход души, но к его удивлению, когда взял требник, старик вдруг замахал руками, умоляюще прошептал: «Не надо!!» и попросил воды. Потом утих, и батюшка заметил, что он больше не дышит. Пульс не определялся. Медицинскими навыками

священник не обладал. Он продолжал молиться, снова взялся за требник, но не успел найти нужную страницу, как старик шумно вздохнул и открыл глаза. Отец Валериан испугался и решил больше не вмешиваться, положившись на волю Божию.

Утром после бессонной ночи, он снова проверил пульс, не нашёл, дыхание было очень редким, лицо бледным, безжизненным, старик умирал. И вдруг в камеру вошёл священник! Самый настоящий, с дароносицей, Евангелием, крестом, в сопровождении охраны! Оказалось, другой верующий заключённый более месяца ожидал прихода батюшки, и вот, когда наконец-то разрешили беседу, начальник милостиво позволил после неё пройти и к Елеазару. Событие было из ряда вон выходящее, некоторые заключённые перешёптывались и пересмеивались о том, что «его сиятельству» особые привилегии.

Отец Валериан в письме признался, что был тогда в унынии. Он видел, что старик в агонии, не верил, что тот может прийти в себя. Но чудо всё-таки случилось. Когда приглашённый батюшка, не обнаружив признаков жизни в больном, соборовал его и собрался читать тот же канон на исход, старик опять шумно вздохнул, будто всё это время играл спектакль, и открыл глаза. Он был в ясном уме, мог говорить, откуда-то знал, что рядом священник, хотя постоянно находился без сознания. Исповедь состоялась, причастие тоже. После этого Елеазар отошёл. Батюшка в письме никак произошедшее не комментировал, попросил только молиться и передать соболезнования Даше.

Письмо с описанием двух последних дней пришло незадолго до похорон. Тело более недели находилось в морге, прежде чем матери Елисея позвонили и сообщили о том, что его можно забрать.

Все молчали. Ему было жутковато и как-то стыдно. Чего, он и сам не понимал. Угнетало неоправданное чувство вины.

Даша повела себя странно. Она вдруг вздёрнулась, смущённо выдавила: «Большое вам спасибо. Извините, пожалуйста, но мне пора идти». И, не ожидая ответа, быстро ушла. Просто упорхнула и всё, ни слова не сказав о прочитанном. Он остался вдвоём с матерью Елисея.

24

– Спасибо вам, – самым банальным образом робко нарушил он долгую паузу и, решив, что, пожалуй, неуместно обсуждать описанное чудо, продолжил, – вы такое участие принимали в его жизни. А ведь он вам никто, даже не родственник, вы же с ним через Богослова познакомились, когда он исследовал род Сиверсов и ошибочно вышел на Елеазара, верно? – ему захотелось теперь, когда представился шанс, узнать всё, восстановить цепочку, получить ответы на вопросы, которые мучили так долго.

– Да, – коротко ответила она.

– А Богослов вам?..

– Троюродный брат, – подсказала она. – А ведь и вы с Елеазаром случайно познакомились? – уточнила мать Елисея. Он до сих пор не знал, как её зовут.

– Да, – горячо подтвердил он. – Хотя теперь, как после всего этого можно сказать случайно? Столько переплетений, столько совпадений, ничего случайного, наверное, вообще не бывает. Я только и думал, когда вы письма читали, как же всё взаимосвязано.

– Конечно, я только в том смысле спрашиваю, что вы не какой-нибудь дальний родственник?

– Нет, у меня никого нет, кроме сына, я из детдома.

– Это я помню, – улыбнулась он. – Но ведь и у сирот бывают дальние родственники. Я же почти ничего не знаю про вас.

– Вот и я про вас, – подхватил он. – И даже… Мне очень стыдно признаться, но… я до сих пор не знаю, как вас зовут. Вы меня простите… Можно теперь, спустя столько лет, познакомиться всё-таки? – смущённо улыбнулся и поднял он потупленные очи, залившись краской, как юная девица.

Удивительно, но всё время похорон и чтения письма он не мог на неё смотреть. И не потому, что помнил и свято чтил наказ Елисея о том, что «маму видеть никому нельзя», а просто в силу каких-то необъяснимых внутренних причин неловко было поднять взгляд.

Конечно, когда он доехал в храм на отпевание, то сразу нашёл её, вежливо кивнул, понял, что лицо её, хоть мельком, но всё-таки видел раньше, что оно ему знакомо, – узнал по фигуре, манере держаться, удивительной отстранённости, ощущению пронзительности, которое вызывал её образ, который, он, видимо, сам придумал.

И только теперь он наконец осмелился взглянуть на неё открыто, чтобы рассмотреть лицо, и снова подумал, что лицо-то знакомое, что, конечно, он её и раньше видел, возможно, на своём венчании мельком, или даже ещё раньше, когда Елисей был жив. Впрочем, нет, у Елисея он не мог её видеть, и в храме – только со спины. «Нет, пожалуй, всё-таки в церкви, вроде бы негде больше», – решил он, почувствовав необъяснимую тревогу.

Ему вспомнилась пушкинская «Метель», – он, читая в школе, думал, что там волшебный буран всех заколдовал, ведь невозможно девушке за долгий чин бракосочетания ни разу не посмотреть на жениха, не почувствовать, что рядом незнакомый человек. А тут что-то обратное: вроде бы он её и видел, и знает, но только не видел и не знает. «А что, если вообще где-то в другом месте? Знакомое, очень знакомое лицо…».

– Ну, как же не знаете? Знаете вы, как меня зовут, забыли, – улыбнулась она. И он вдруг до смерти испугался, потому что озарило: да, конечно же, знает – они знакомы давным-давно, но он не понимает, когда и где они впервые встретились. – Слишком давно это было, много лет прошло. Пожалуй, и не вспомните. Зачем я только сказала? – теперь смутилась и она. – Не стоило.

– Ещё… ещё раньше, – пронзила его мучительная болезненная догадка. – Ещё до всего?

– Ещё до всего, – кивнула она. – Простите, зря я.

– Нет, теперь уже я вспомню. Вы… вы… – и он смотрел на неё во все глаза. Ей было лет пятьдесят, очки, доброе осунувшееся, но ещё красивое лицо, утончённые черты, чуть вьющиеся тёмные волосы… Худощавая, с длинными кистями, тонкими пальцами…

И вдруг он понял. Он по руке понял. И вспомнил. На запястье была родинка, и он её вспомнил.

Это было в детском доме. Его только перевели туда из дома малютки. Ему – года четыре. И он из скучного, но относительно спокойного и предсказуемого места попал в совершенно другой, новый мир, жестокий, мерзкий, страшный. Вокруг грубость, подлость, беспощадность, злоба. Подчинялись тем, кто наглее и сильнее, слабых презирали, и никто не защищал. Он только научился говорить первые слова в то время, но, столкнувшись с беспричинными издевательствами, замолчал на несколько лет, начал заикаться и только старался прятаться, оставаться для всех незаметным. Позже его стали одолевать кошмары.

Но вот однажды за него заступились. Старшаки издевались над малышами сколько вздумается, равнодушные усталые воспитатели на всё смотрели сквозь пальцы. Он не подвергся надругательству, как некоторые другие, но его травили и ненавидели с момента прихода, например, могли связать простынёй и спрятать в шкаф, пока не найдут, или макнуть головой в унитаз. Лет с шести у него развилась клаустрофобия. Позже им стали брезговать, считая психом. Но вот тогда, в раннем детстве, при очередной пытке, когда его хотели битьём заставить заговорить, подозревая в крысятничестве, которого он, конечно, не совершал, ему вдруг сверху протянули красивую руку. Ту самую, с родинкой на запястье. Он валялся на полу, его уже собирались бить ногами, и он весь сжался, когда подошла она, заступилась, пригрозив чем-то, что их остановило, и увела его оттуда.

Он раньше её не знал, то есть мельком видел, что она есть, но и только. Люди тогда делились на тех, от кого исходит реальная опасность и агрессия, и на безразличных, которые молча наблюдают за этим. Он решил, что она относится ко вторым. Взрослые вмешивались лишь, когда заставали хулиганов на месте, но, естественно, издевались над ним там, где никто не смотрел и не препятствовал. Поэтому он старался терпеть боль и унижения тупо, покорно, безжизненно, по возможности хорониться от нападающих, забившись в тёмный уголок – иного

выхода просто не было. И вдруг пришла она, протянула прекрасную руку, подняла и вывела его. Это напоминало сон, он даже не сразу поверил, что это наяву, настолько привык к беспросветному мраку жестокости.

Она была взрослой девочкой, на тот момент четырнадцати или пятнадцати лет. Её звали Марина. Он ей не отвечал, а только смотрел. Она казалась ему самой красивой и доброй на свете, – пожалела, погладила по голове. «Ещё раз тронут тебя, скажи мне! – велела она. – Я директору пожалуюсь! Он им всыплет по первое число!» Он кивнул. Говорить он, кажется, вообще тогда разучился.

Кончено, при очередных их нападках, он ничего ей не сказал, потому что не верил в то, что на ситуацию можно повлиять. Но старался, когда это было позволительно, её найти. Она жила на другом этаже, он мог иногда приходить, сидеть рядом и смотреть, как она делает уроки. Иногда они виделись в столовой.

Потом она снова его спасла, уже на улице: его пинали в глубокой луже, заставляя хлебать грязную воду. И снова прекрасная рука вела куда-то, отмывала, жалела, обнимала. Она что-то ему рассказывала, пыталась отвлечь, поиграть. А он только смотрел и смотрел, и не верил, что такое бывает.

А потом она исчезла. Навсегда. Он искал её, искал и не нашёл. Долго ждал, что она вернётся, но она не вернулась. Тогда он решил, что это был просто чудесный сон, который кончился. А страшная реальность осталась. Повзрослев, он понял, что её удочерили. Их общение длилось примерно год.

***

– Марина, – произнёс он тихо. Слёзы полились сами собой. У неё тоже. Они обнялись.

– Я вас узнала тогда, в храме, на венчании, – сказала она. – Богослов мне рассказал вашу историю. И про руку тоже. Не знаю как, но именно тогда, в храме, поняла, что это вы. По глазам, наверное, и ещё по ресницам. Да вы и сейчас немного похожи на себя маленького. Вы в детстве, скорее, рыжеволосый были, теперь потемнели. Знаете, вы там очень отличались от остальных. Другие как-то приспосабливались, умели за себя постоять. А вы – такой несчастный, беззащитный. Не представляете, как вас было жалко. Я, как только могла, старалась помочь. Видела, что маленького ребёнка мучают, что он в постоянном страхе. Жаловалась, требовала, чтобы их наказывали. Но они наплевательски относились… А меня ведь быстро удочерили. Я понимала, что там не задержусь. И потом долго про вас помнила. Даже просила своих опекунов, чтобы они и вас усыновили, но они не захотели. Честное слово, верите?

Он молчал, слёзы лились, как у ребёнка, он не мог остановиться. Не помнил, когда в последний раз так плакал. Она снова обняла его, как тогда в детдоме, так же обняла, и, чтобы отвлечь, коротко рассказала свою историю.

Её детство было благополучным. Воспитывала мама, про отца говорила лишь то, что он умер. Марина ни в чём не нуждалась, папу отчасти заменял дедушка, отчасти двоюродные дяди-тёти и их родители, которые жили в Финляндии, но иногда приезжали погостить, – родственники были очень дружны. Девочка увлекалась искусством, с ранних лет обучалась хореографии, в пятом классе поступила в профессиональную балетную школу, мечтала выступать на большой сцене.

Несчастье случилось, когда ей было четырнадцать. Мама погибла в авиакатастрофе, дедушка ушёл годом ранее. Её на время определили в детский дом, родственникам из Финляндии не так-то просто было оформить удочерение, они даже не сразу узнали о трагедии. Процесс занял около года, – то самое «золотое» для него время, когда у него появилась заступница. Он потом думал, что ему всё почудилось, что он это нафантазировал, поскольку мир мечтаний был единственным местом, где он в детстве ненадолго оживал, – но образ той «волшебной» руки остался с ним навсегда.

Родственники сделали для неё всё, что было в силах, – она продолжала заниматься хореографией в Финляндии, в 17 лет вернулась в Россию и завершила обучение в балетном

училище. Опекунам удалось добиться, чтобы она получила мамину московскую квартиру по наследству.

Однако Марина не спешила переезжать в столицу. Окончив пермское училище, она поступила на работу в театр оперы и балета того же города. Успех пришёл быстро, с ним появились поклонники и возможности.

Как водится, девушка сделала глупость, потеряв голову от состоятельного женатого ухажёра средних лет, осыпавшего её цветами, подарками и романтикой. О наличии супруги и двоих детей она узнала в момент, когда со счастливыми глазами сообщила ему, что ждёт ребёнка. Затем последовало классическое разочарование, ей дали много денег, извинились и вежливо попрощались. Она уехала в Москву.

Через положенное время родился Елисей. Трудно не было: поддерживали родственники, несказанно счастливые от появления малыша. На сцену Марина вернуться не пыталась, но ещё долго, пока Елисей был маленьким, занималась преподаванием в хореографической школе.

Странно, но мальчик, обожая и без памяти любя свою мать, ненавидел балет и ревновал её к работе, умоляя сменить профессию. Он был впечатлительным и эмоциональным, с детства любил церковь. Привёл его туда юный семинарист Богослов, а Марина пришла вслед за сыном, который на тот момент оканчивал начальную школу.

Спустя несколько лет она решила уйти из балета, несмотря на то, что её ученицы делали успехи, а преподавательская слава уверенно росла. К ней на занятия уже стремились попасть, смущали звонками, умоляя посмотреть или принять в группу очередного ребёнка. Но вместо того чтобы открыть собственную танцевальную студию, она пошла переучиваться на курсы проводника поезда.

– Почему проводника? – задал он первый вопрос за время её рассказа.

Решение было спонтанным, курсы проводили недалеко от дома, она подумала, что нужно получить хоть какую-то дополнительную профессию, и эта первой бросилась в глаза. Кроме того, один из финских родственников занимал солидный пост на железной дороге и мог трудоустроить. Впрочем, сразу работать проводником она не стала, а, бросив диплом в стол, устроилась в церковную лавку, чтобы оставаться рядом с Елисеем. Денег хватало, собственные сбережения и помощь родственников обеспечивали их маленькую семью.

– Почему вы всё-таки ушли из балета? – не понял он.

– Как вам сказать? – они почему-то так и продолжали общаться на «вы». – Слишком много было очарования. Потом неизбежно разочарование. Но суть даже не в том. Господь тогда что-то открыл. Остальное стало казаться пустым. Мир искусства прекрасный, но холодноватый из-за иллюзорности. Я и так слишком долго в нём жила. Но Бога нашла не там. Нам даны таланты, естественное желание развивать их, заниматься любимым делом. И всё же душа при этом любовью согревается мало, это, скорее, потребность. Вроде есть понимание, что выполняешь свою задачу на земле, миссию, если угодно, но душа этим не насыщается. Искусство ближе к Богу, чем многое другое, но… не сам Бог, понимаешь? – впервые обратилась она к нему на «ты». Он кивнул. – А душе нужен Он, и только Он, больше ничего. И с Богом искусство не нужно уже. Хотя с Богом тоже быть постоянно не получается, поэтому возвращаешься без особого желания к творчеству, работе, понимая, что это всё же суррогат какой-то. И хочется в лучшем случае смотреть со стороны, да и не на балет уже, а куда-нибудь в художественную галерею пойти или в консерваторию на концерт. Ну, постепенно и отошла, медленно, за несколько лет, не сразу. Из церковной лавки уволилась и тоже ещё немного преподавала, а потом совсем забросила. Тогда Елисею пятнадцать было, он учился, прислуживал в храме, планировал поступать в семинарию. Я вспомнила про диплом, решила попробовать проводником устроиться. Немного практики, и благодаря родственникам, попала на поезд «Лев Толстой» до Хельсинки. Сын был самостоятельным, я работала, оставляла его, стала иногда ездить в Новый Валаам, знакомые появились, возили на машине… А потом его диагноз как снег на голову. Честно скажу, я в поездах бежала от этого, там всё время заботы, движение, пассажиры донимают, – работа, чтобы спрятаться от реальности. Даже молиться не могла, просто не могла и всё тут. Очень боялась, что это случится... А потом однажды просто

поняла, что это случится. Не знаю как, но поняла и даже отчасти смирилась. Тоже не знаю как. Елисей лечился, родственники денег дали, я тогда продолжала ездить, прогнозы были хорошие, мы даже стали верить, что всё наладится. Ну, а потом ты знаешь...

Они помолчали.

– А Елеазар почему? – неловко спросил он.

– Нужно было после ухода Елисея куда-то деться. Волонтёрила, помогала, чтобы чем-то себя занять. Он старый, беспомощный, жалко стало его. Когда у него появились подозрения, что его задержат по оговору (он же всё понимал, всё чувствовал), хотела увезти, спрятать за границей. Страшная ведь это история, когда дела шьют, подставляют. А он в доме для престарелых наплёл, что женится на мне, что мы поедем в свадебное путешествие. Похоже, у него тогда уже с головой плохо было. Я, конечно, всем сказала, что это неправда, но людям нравятся безумные истории, они поверили, смеялись надо мной. Ну, я подумала, что насмешки – это такой подарок, переубеждать не стала. Про секту ничего не знала тогда, даже мыслей не возникало, думала, от старости чудит. А про Дашу знала, он сам рассказал.

– Как… про Дашу?! – оторопел он.

– Ну да, про то, – спокойно сказала она.

– Как знала?! – ужаснулся он. – Знала и всё равно спасала?!

– Всё равно, – кивнула она. – Он каялся. И вину всегда чувствовал. Говорил: «Влюбился, чёрт попутал, и её тоже, соблазняла». Да, в девочку влюбился. Потому и сосватал её потом чистому и честному, чтобы ей лучше было, искупить вину пытался. Знал, что она из-за него на панель пошла, отмстить чтобы, «гляди, дескать, до чего меня довёл». Мучился он сильно, это точно. Но и мнил себя, сам понимаешь, закрутили мозги ему... Если бы до Валаама доехал, возможно, всё было бы иначе. Но Господь не допустил. Значит, надо было страданиями искупить.

Он поражённо молчал. Вроде всё встало на свои места, но у него в голове не укладывалось, как же она могла, зная «про то», помогать Елеазару?

– Все мы небезгрешны, – прочитала она его мысли. – Неизвестно, кто хуже. Не нам судить. Он своё получил.

Когда старик попал в тюрьму, она решила, что на всё воля Божия, и не стала больше силиться ему помочь. Люди с опытом подсказали, что даже космические суммы, потраченные на адвокатов, в такой ситуации не спасут, что сроки по подобным делам не снижают. Она, впрочем, всё равно оплатила защиту, а после переводила небольшие суммы Елеазару. Тот в ответ язвил, что ему нужны только сигары, а на её «пожертвования» и дешёвых папирос в тюрьме не купишь.

Она снова не знала, куда себя деть, отправилась на трудничество в монастырь, несколько лет подвизалась, сменила четыре обители, остаться где-то на постоянное послушание так и не решилась. Старику изредка писала и чувствовала, что что-то с ним «не ладно». Периодически уезжала из монастырей к родным в Финляндию. Когда заболел её приёмный отец, жила у него, ухаживала, потом он умер, и она получила наследство.

«И снова протянула мне руку», – подумал он. Ему вдруг стало невыразимо стыдно от того, что он мужчина, и значит, это он должен её спасать, помогать, брать на себя ответственность, но выходило наоборот. И рука, которую он всегда считал мистической, фантомной, чудесной, воздушной, оказалась самой что ни на есть реальной, нежной, тёплой, смуглой, теперь уже суховатой, обычной женской рукой. А сам он ни для кого в жизни такой рукой не был…

– А ты молодец! – снова «прочитала» его мысли Марина. – Твоя семья с Олей, ваше венчание, всё это меня здорово встряхнуло тогда. Я тебя узнала в храме и стояла, ревела, со стыда сгорая – поняла, что сама ничего ещё ни для кого не сделала. Знаешь, ведь мало кто из детдома к нормальной жизни потом адаптируется. Обычно только верующие, или те, кого усыновили. Так вот, я недавно искала по соцсетям, собирала информацию про тех, кого запомнила, кто там воспитывался в наши годы, пообщалась, выяснила, что могла. Многие умерли уже…

Она стала перечислять, называть имена, кого-то он вспоминал, кого-то нет. Прозвучали и фамилии его главных мучителей: кто-то покончил с собой, кто-то умер в колонии, кто-то от передозировки, кого-то убили в драке, кто-то стал бомжом, кто-то пропал без вести... Получив положенную от государства квартиру, они не знали, как и чем жить, с презрением отказывались от помощи, если им предлагали. Быстро попадали в руки мошенников или сами сбивались в шайки, не понимая, куда деться, становились преступниками. После детдома тюрьма казалась им привычнее, чем свобода, многие провели за решёткой б*о*льшую часть жизни.

Пока Марина рассказывала, он всё смотрел на её руку и думал, что никому больше Господь такой руки, выводящей из безысходности к свету, не подал, а ему подал почему-то. Облегчения от того, что его истязатели умерли, он не испытал, почувствовал что-то близкое к жалости, – судя по тому, что она говорила, их судьбы были мрачные, тяжёлые, смерть глупой, жестокой и мучительной.

«И чего я за них не молился никогда? – запоздало удивился он. – Они такие же брошенные, несчастные, дети каких-то отморозков и преступников, не так-то и виноваты, у них в генах зло, возможно, они одержимые. Да, помучили сильно, ну, значит, так нужно было...» Если ему когда-нибудь вспоминался детдом и «они», он старался скорее переключиться на что-то другое, слишком тяжело и страшно становилось на душе, ни на один миг не хотелось возвращаться к «извергам». «И что теперь? Об упокоении? – тоскливо подумал он. – Вот же, был дан шанс – молись за врагов, прощай всех. Это же настоящий подарок. Почему мы им не пользуемся? Это же на поверхности, очевидно. Но ведь ни разу в голову не пришла такая простая мысль. Что за дурак? Мирской и земной, самые азы за столько лет в церкви не усвоил».

И он, весь такой правильный, решил, что нужно сегодня же вспомнить тех, кто когда-либо ему досаждал, и о каждом помолиться. Лучше поздно, чем никогда. И вдруг что-то пронзило ужасное: «Стоп! Не то! Не то! Вот тут нужно остановиться, тут!!» – но он не понял, да и не до «озарений» сейчас было.

– А почему в монастыре… не осталась? – спросил он.

– Сложно, – призналась она. – Наверно, вместить не могу. Благодать везде есть. Меня нет. Страстей много, своя воля во всём, постоянно только своя воля. Не о том, чтобы Господу угождать, а только себе. Или промысла Божьего нет, не знаю. Видимо, Господь призовёт, если нужно. Мы много о себе мечтаем, а на деле всё не так оказывается. Всюду было в чём-то хорошо, в чём-то трудно. Там внутри мало что чувствуешь, сплошная работа и усталость, но когда уходишь, то очень не хватает, тянет назад со страшной силой. Так тянет, будто там сердце оставила или потеряла – не заметила. Но потом проходит, и обратно привыкаешь. Похоже, не моё это…

– А Владимир? Это муж? – завершил он логическую цепочку. Она посмотрела на него удивлённо.

– Владимир? – улыбнулась. – Ну да, муж, – вышло как-то смущённо, и стало понятно, что не муж. «А, ну ясно», – подумал он. И тут же почему-то мысли пронеслись, а вдруг он её обманет, деньги украдёт, бросит, – но он отогнал их, недоумевая, откуда берутся подобные страхи, почему всегда плохого ждём?..

А ещё он ужаснулся, что они же сейчас попрощаются, и она, один из самых близких для него в мире людей, в чём-то заменившая ему маму, пусть на мгновение, но это было, так вот она, единственный после Ионы родной человек на земле, уедет куда-то далеко, в Финляндию, к неизвестному Владимиру, и они, может быть, совсем нескоро теперь увидятся или вообще больше никогда не увидятся…

– Приезжайте к нам в гости с Ионой, – почувствовала что-то подобное и она, уверенно продолжая понимать его без слов.

– Ага, – улыбнулся он, запрещая себе быть сентиментальным. Он очень боялся, что она сейчас встанет и уйдёт, и ему придётся её отпустить, потому что так всегда бывает, потому что так положено. Да, они попрощаются, и это странное «свидание» на могиле, подаренное Богом спустя столько лет, он будет потом вспоминать всю жизнь. – Приедем.

Кажется, все темы были исчерпаны. Молча она встала, перекрестилась, они про себя помолились об упокоении Елеазара. Тот вдруг стал далёким-далёким, как будто умер давным-давно, а не улыбался ехидно из гроба еще три часа назад.

По дороге с кладбища он рассказал ей, что Иону они теперь с родителями Оли не «делят», что отношения постепенно стали спокойными и добрыми, будто не было ни судов, ни споров, ни скандалов. Про аварию не упоминал. Они, как и раньше, брали внука на выходные, Тамара охотно помогала, когда он заболевал, больше не ревновали, не пытались настроить ребёнка против него. Словом, всё плавно наладилось, и уже удивительным казался тот кошмарный раздор, – сколько потратили слёз, сердца, нервов, денег, – что тогда нашло на всех, одному Богу ведомо.

Марина вызвала такси, предложила подвезти до метро, он засмущался и отказался. Он знал, что она поедет ещё на могилу к Елисею. Она кратко упомянула, что всегда ощущает сына рядом, что он молится за неё тоже, ждёт её там, что ему хорошо. Говорила спокойно, даже с тихой радостью. Он записал её телефон, хоть и предугадывал, что звонить не осмелится. Что-то осталось очень и очень недосказанным, кажется, они оба это понимали, но не знали, что именно. Машина быстро приехала. Простились, обнялись, он махнул ей вслед, она улыбнулась и кивнула из окна. Вот и всё. Он пошёл на электричку, не чувствуя под ногами земли.

25

Он ждал поезда, потом ехал. От переизбытка чувств и мыслей накатила усталость, голова на время опустела, он даже подумал, что уснёт, но через дымку полусонного забытья, его вдруг ошпарило словно кипятком. Тогда он внезапно вышел, выскочил даже из электрички на случайной промежуточной станции, как когда-то давно «удрал» от рыбного браконьера, выпрыгнув из вагона. То, что он не захотел или не успел понять на могиле, неожиданно обрушилось лавиной, и он стал проваливаться в давно забытое, казалось, навсегда пройденное состояние беспросветной пелены ужаса и отвращения.

Среди фантастического непостижимого счастья дарованной свыше встречи, которое он не мог вместить и оттого летел приятно расслабленным куда-то в небесную даль, он вдруг увидел, что не простил. И это сначала обрубило крылья, а потом и вовсе откинуло в гнилую вонючую клоаку, которую он с омерзением увидел у себя внутри.

Давно он не чувствовал ничего, а тут… Тут на месте сердца оказалась такая мерзость, такой смрад и кошмар, будто там труп кишащий червями разлагался, – его затрясло и затошнило, пришлось скорее выбежать на воздух.

Но и на платформе, где было свежо и солнечно, жуткое ощущение протухшей, гнойной, разящей во все стороны раны в груди не отпускало. Он понял, что за всё это время не простил своих детдомовских истязателей, что не пытался даже этого сделать, что воспоминания о них всегда задвигал подальше, чтобы не мучиться, и жил с этой болью несколько десятилетий, и в храм ходил, и исповедовался, и причащался, и… И значит, всё это делалось зря, потому что в нём намертво проросла боль и обида, которая пожрала, как невидимый и неощутимый солитёр, его усилия, а теперь он пожинает восхитительные зловонные плоды своих стараний, которые просто канули в Лету, оставив на поверхности застойное мёртвое болото, где он сейчас задыхался, захлёбывался, погибал.

А он-то думал, что тихим плавным корабликом направляется ко спасению! А он-то плакал из-за раны и культи, которые остались на месте руки. Да это, оказывается, такой пустяк и мелочь, это легкое приятное дуновение ветерка по сравнению с адом не прощения…

Он спрятался за обшарпанным железнодорожным забором, закрывавшим пути, где его никто не видел, валялся на земле и беззвучно рыдал от отчаяния, понимая, что все эти годы жил напрасно, не лечился, а медленно загнивал. И то, что он сейчас увидел, увидел бы после смерти, если бы Бог не открыл ему этот зияющий мрак молитвами, вероятно, Марины или ещё кого-нибудь, кому он дорог.

«Почему же мы до такой степени ничего о себе не знаем?» – он впивался ногтями в землю, и ему очень хотелось уйти под неё полностью, чтобы никто не нашёл и не заразился этой смердящей проказой.

Хуже давнего не прощения вроде бы быть ничего не могло, но он тут же раскрыл в себе ещё более страшную тайну – что даже теперь, когда он горит, а точнее, разлагается в аду, он не может простить этих несчастных, которые в основном уже умерли, а главное, как он понял на могиле Елеазара, не так уж сильно были виноваты, как казалось.

И вот, его всё равно трясёт от воспоминаний их издевательств, кромешного ужаса, в котором он из-за них находился в детстве, когда ещё был чист и беззащитен, он хочет, готов простить, но… ничего не получается. Боль и кошмар, которые он тогда испытывал, и не один, не два или три раза, а постоянно, на протяжении более чем десяти лет, оказались сильнее него и его возможностей теперь.

«Господи, я не могу простить, – глухо и устало прошептал он, уткнувшись в траву, которая была уже мокрой от слёз. – Это же какая-то чудовищная мелочность, за этим огромный страх чего-то настоящего, это пусть мерзкая, но защитная стена, за которой я прячусь от любви, зачем? Но не могу простить и всё, что мне с этим делать? Я, видимо, хочу отомстить… Не так, чтобы их кто-то мучил, нет, конечно, но так, чтобы они поняли, какие страдания и как долго они причиняли. А они не поняли, Господи, они же так ничего и не поняли… Вроде бы и что мне до этого, отпустить их, просто отпустить, но я не могу!»

Он снова стал проваливаться в пустоту, где нет ни мыслей, ни слов, ни сил. И тут случилось нечто необъяснимое, мистическое, но одновременно простое и почти осязаемое. Он увидел их, каждого из них по отдельности, но как-то одновременно, мгновенно вспомнил, как кого звали, хотя некоторые имена давно забыл. Это длилось лишь несколько секунд, но за эти секунды каждый, и даже каждый по-своему, успел попросить у него прощения – покаянно, искренне, буквально окутывая его невесть откуда взявшейся теплотой. И каким-то образом стало понятно, что каждый, кто уже умер, полностью осознал, увидел и отчасти даже пережил тот многолетний беспросветный детдомовский кошмар, причиной которого являлся.

И после этого он уже не мог не простить. Это случилось тоже само собой. Никаких усилий прикладывать не пришлось, всё, как всегда, сделали за него. И то, что те, кто ещё были живы, пока не успели понять и почувствовать, что совершали, на его освобождение не повлияло. Он понял, что в своё время всё станет на свои места, что милость и радость, в которой пребывали ушедшие, не смотря на былые зверства, дарованы справедливо, уже какой-то собственной выстраданной ими болью, которую он хоть и не увидел, но тоже в одночасье осознал во всей полноте. У каждого своя чаша скорби. И у многих она в тысячи раз страшнее, глубже, невыносимее, чем у него. И нужно учиться не иметь сомнений, доверять Богу каждое мгновение жизни, что, впрочем, тоже самому невозможно, но хотя бы стремиться к этому, хотя бы стремиться...

Слёзы отчаяния сменились слезами радости и, да, он теперь искренне за них помолился, не словами, а каким-то образом смог в одночасье полюбить их, не своими усилиями, но это случилось, и ему стыдно стало, что он хотел возмездия, их покаяния, осознанности. «Ничего не надо хотеть, есть всё, и больше чем нужно», – с этой мыслью он встал уже счастливый и побрёл обратно на железнодорожную станцию.

***

После накатившего прозрения он притих. Думалось, что, возможно, есть ещё десятки серьёзных проблем и гнойных ран, которые мешают жить, но сам он их в себе никогда не увидит, а увидит, если только опять ему покажут. Пришла мысль, что всё тщетно, люди существуют в необъяснимом по причине греховной слепоты хаосе: можно всю жизнь ходить в храм, молиться, делать добрые дела, но спасение души – исключительно во власти Бога, и по какой-то только Ему понятной причине может не случиться. Или же, наоборот, случиться там, где о Нём вообще не помнят, где не верят и пребывают в беспробудном плену страстей, – просто потому, что Ему так угодно. Как ни странно, эта идея даже успокоила – раз всё равно от

тебя ничего не зависит, так лучше не биться головой о стену, а просто надеяться на Его бесконечную непостижимую доброту.

Но всё-таки уже спустя несколько дней захотелось перемен – захотелось после покаянного потрясения ещё чего-то нового или давно забытого старого, пусть тоже страшного, лишь бы не унылой сухой пустоты, которая опять начинала напоминать о себе.

«Что вообще такое быть с Богом или без? – умирал под очередным расстрелом мыслей он. – Работаю, потому что это жизненная необходимость, или с сыном занимаюсь, это бывает скучно, это даже раздражает, если он не слушается, но это долг, это для него полезно и, наверное, нас обоих дисциплинирует. Но это значит или не значит, что с Богом? Вроде бы да… Но вот вчера меня позвал Ванечка на концерт, который я слышал семьдесят раз, позвонил, сообщил, что он по мне скучает, но на работу обратно не возьмёт, что хотел бы просто меня увидеть… Безусловно, он был подшофе, и наутро вообще мог забыть, что звонил, но дела это не меняет! Вот тут я, что ли, обязан был поехать?! Потому что это тот самый прекрасный абсурд?! Вот про это «иди с ним в два поприща»? То есть следовало вместо полезных и нужных домашних занятий оставить любимого голубоглазого малыша Тамаре и выполнить абсолютно бесполезное действие – поехать на выступление, которое давно уже не трогает, не совсем здорового психически человека, который обо мне, вероятно, и не вспомнил тем вечером, а если бы я приехал, возможно, и наорал бы снова, и ему поаплодировать, сказать добрые слова, безмерно устать, вернуться без сил, опустошённым, за полночь, зная, что завтра вставать ранним утром. Вот *так* надо? *Так* правильно и по Евангелию? Может да, а может, нет. Нужно бы хоть раз попробовать проверить, посмотреть, что получится. Но я не умею жертвовать здравым смыслом, хотя давно уже пора научиться. Когда на тебе гора обязанностей, то невозможно откосить от мира, делать вид, будто ничего важного в жизни для тебя не существует и отдаться прекрасному безропотному безумию».

Свербили вопросы о том, как дальше жить. Несмотря на странный подарок прощения, который жёг ужасом, что много лет он недостойно причащался, он по-прежнему ощущал себя в пустыне, где его окружали звери собственных страстей, безразличия и холодности внутреннего пространства. Существует ли какой-то выход, было непонятно. Впрочем, после всего произошедшего – с появлением Марины, смертью Елеазара, возникла надежда, что что-то и тут наконец изменится.

Тогда он решил воспользоваться «советом Елисея» и поехать в Саввино-Сторожевский монастырь – не то чтобы за «чудом по плану», хотя, ясное дело, и за этим тоже, но чтобы это редчайшее дарованное ему покаяние принести в месте, которое дорого и любимо.

***

И да, Елисей не обманул, пазлы сошлись. Вскоре Тамара вдруг захотела увезти Иону погостить на несколько дней и даже прибыла за ним сама. До монастыря он добрался так легко и быстро, будто его доставил не транспорт, а попутный тёплый лёгкий ветер. Там он мгновенно получил утерянное на долгие годы состояние целостности и гармонии: «Вот так бывает» – поражённо вспомнил он.

Войдя в храм, он через минуту понял, что его тут ждали, что ему рады, что его любят и знают здесь намного лучше, чем он себя сам знает и любит. Стало бесконечно хорошо и одновременно стыдно, он чувствовал себя счастливым дураком, которого видят насквозь, обожают и принимают, как есть – с грехами, страстями, недостатками, глупостями… Священник, к которому он впервые попал, непостижимым образом понял без слов всё, что наболело, и дал настолько неожиданные, но одновременно простые советы, что он бы до такого до конца жизни сам не додумался. Он потом неделю не мог прийти в себя от изумления, поражаясь, что ключ к абсолютному счастью и разгадки мучавших годами загадок, оказывается, можно запросто получить, достаточно только приехать туда, куда больше всего хочется.

Но главное, он стал оживать. Это было чудо, будто давно засохший в нём цветок, от которого только пожухлые листья остались, кто-то стал бережно и нежно поливать, освещать, обдувать, и тот постепенно зазеленел, оправился, дал новые ростки и готовился выпустить

бутон. К нему вдруг вернулась молитва. После казавшихся бесконечными нескольких лет абсолютно формального бормотания утреннего или вечернего правила и каменного простаивания в храме на службе вдруг хлынули слезы из сердца, вдруг возвратилось состояние, когда слова уже исчезают и внутри говорит и согревает священное безмолвие, когда еле дышишь, пребывая в другой реальности, в новом пространстве и времени, которые описать невозможно. За годы «в пустыне», когда смысл исчезает и остается форма, он напрочь забыл, как ощущается присутствие Божией милости, а теперь открывал всё заново. Поначалу он не мог понять, была ли это точка, на которой он ранее остановился и на которую вернулся, или же это новый отсчёт с другого старта после большой пройденной дистанции. Позже решил, что всё же второе.

С внешней стороны жизнь текла тихо, ровно, без потрясений, которых он, казалось, испил на много лет вперед. Но на самом деле с ним теперь происходило что-то прекрасное, необъяснимое, неожиданное. Открывались тайны, по-новому читалось Евангелие, он пребывал в изумлении, начинал понимать, что всё не так сложно, плохо и мрачно от страстей и грехов, как раньше казалось, что смысл есть во всём и даже в негативе, что учиться дальше можно и нужно чему-то и самому, не пребывая в томительном ожидании, когда снизойдёт помощь свыше.

Он понял, что изо всех сил рвётся туда, где и так стоит, и выигрывает на том, на чём, казалось бы, можно только проигрывать. Всё вокруг оживало, происходило то, о чём он никогда не мог бы помыслить или никогда не догадался бы попросить. Пребывая в очередном «изумлённом ступоре», он только и думал: «Так же не бывает?..» Но возможным, действительно, становилось то, чего «не бывает». Переполняла жутковатая радость от осознания, что он делает только первые шаги, что от него что-то всё-таки зависит, что он больше не жуёт песок в отчаянии и отупении, и из ниоткуда в беспросветной пелене сухости и вялости появился хоть сколько-нибудь ощутимый, добрый, ошеломляющий и совершенно непредсказуемый путь.

***

Малыш взрослел, и он заблаговременно выбирал школу, которых поблизости располагалось три, в относительной доступности семь и бесконечно много в Москве, куда «если что» он планировал переселиться ради сына.

Сам Иона не переставал поражать его. Он мог поднять на улице камушек, начать его гладить, жалеть: «Бедненький, маленький кроха, не плачь», – забирал домой, отмывал, забывал про все игрушки, кормил, укладывал спать, разговаривал, как с живым ребёнком, смотрел с ним мультики, ночью брал под подушку. А когда он деликатно пытался выяснить, почему пыльный камень с дороги вызвал такое сочувствие, малыш сердился:

– Как ты не понимаешь?! Нас с тобой двое, а он совсем один! Ведь у камней не бывает родителей! Поэтому они все каменные! А пока он ещё маленький, его можно спасти, и тогда он станет мягким и тёплым!

И он не понимал, что на это отвечать.

Как-то Иона предложил выращивать конфеты. Взял карамель, положил в коробочку, щедро засыпал порванной бумагой и заговорщически сказал:

– Вот увидишь, скоро у неё появится сестра. Я буду о ней заботиться, согревать, поливать, охранять...

И малыш, действительно, то ставил коробочку на батарею, то под лампу, то дул на неё, то опрыскивал из пульверизатора. Он-то думал, что хитрец подложит туда другую карамель и позовёт его, а он тогда разведёт руками от удивления: «Вот это да! И правда, выросла! Какой молодец! Как тебе это удалось?!!» Но Иона и не думал обманывать, а терпеливо ухаживал за «ростком», искренне ожидая «плодов». Ничего не оставалась, как самому добавить конфетке идентичную «сестру» и дождаться, пока малыш её обнаружит. Тот заплясал от восторга, когда нашёл «близняшку» и угостил его, обещав в следующий раз вырастить шоколадку.

Теперь он жалел об этом фокусе, не представляя, как размягчить камень или объяснить жалостливому сыну, что отогреть его не удастся. К счастью, малыш вскоре переключился на

события из жизни космических пришельцев и оставил свою затею. Выбросить «кроху» было боязно, но как-то он взял его на улицу, сказав Ионе, что нашёл родственников, и что вообще в мире камней не всё так трагично, как представляется. Во дворе они соорудили ему семью из булыжников и беспечно забыли, отвлекшись на новый проект по сооружению летающей подводной лодки для страусёнка Юры. В такие редкие моменты они оставались одни во вселенной, время существовало только для них двоих.

***

Однажды малыш спросил:

– А когда ты стал моим папой?

– Когда ты родился, – логично ответил он. Сын снисходительно рассмеялся и возразил:

– Но ведь я был намного раньше. Ты же знаешь, сначала я сидел на облачке, – в который раз начал Иона пересказывать легенду, которую выдумал ещё в три года. – Потом спустился по лесенке к маме в животик, потом меня вытащил врач, а мама поднялась по той же лесенке на небо вместо меня. Значит, ты стал папой намного раньше, чем я родился. Ведь нас друг без друга никак быть не может!

– Конечно, не может, – согласился он.

– Нас друг без друга быть не может, – продолжал рассуждать малыш. – Ведь если бы тебя не было, а я бы упал с облачка, то кто бы меня поймал? Значит, ты всегда был моим папой, понимаешь?

Он понимал, и ещё понимал в такие минуты, что никаких других чудес, кроме Ионы, ему в этой жизни не нужно.

– Знаешь, – будто вспоминал малыш, безусловно веря в то, что говорит,– на облачке у меня было много игрушек. Там был паровозик, который ездил по овальной железной дороге, серый зайка с отвисшими ушами, конструктор, тигрёнок с бантиком, который пел песенку, мозаика и даже калькулятор. Но иногда я во всё это не играл, а только сидел и смотрел на землю.

– Почему?

– Потому что я безумно тогда по тебя скучал, – с абсолютно взрослой тоской вздохнул малыш. – Я даже плакал. И тогда на земле шёл дождик. Когда на земле идёт дождик, это значит, что на небе плачет какой-нибудь малыш, который очень-очень скучает по папе. Но это не грустно, потому что однажды они обязательно встретятся. А что ты делал, пока я жил на облачке?

– А я всё время смотрел на небо, – ответил он, чувствуя, как начинает жечь в глазах, – и искал тебя там. Но облаков так много, и ничего не было видно. Мне тоже было одиноко. Я хотел тебя позвать, но я ведь даже не знал тогда, как тебя зовут.

– Да! – горячо подхватил Иона. – И я не знал! Я даже не знал, что меня нужно как-то называть. Ведь называть было некому! Любой, кто приходит на землю, сначала думает, что его никак не зовут! А потом ему дают имя, и тогда он понимает, что он уже не один, что он на руках у папы. Так и я однажды понял, и тогда мне стало тепло. Но потом человек всё равно всегда помнит про своё одиночество, да? Потому что мы все немножко остаёмся на облачке…

– Всегда, – подтвердил он.

Философско-поэтический экспромт на том закончился. А он тогда вспомнил, как однажды разгадал в себе непреодолимую потребность оставаться в стороне от любого целого, будь то семья, храм, работа, друзья, паломничество, застолье, всё, что он делал в этом мире, даже будучи его неотъемлемой частью, даже живя его жизнью, даже согревая его своей самой горячей любовью, острую необходимость всё равно оставаться в стороне от всего. В этом он увидел силу, но в этом же и отчаянное одиночество. «Так это нормально, – додумал он незавершённую когда-то мысль. – Потому что мы все «немножко на облачке»...

***

А у Вадима началась деменция. Врачи предупреждали, что она может появиться «с опозданием», и это произошло. Он не потерял рассудок, мог передвигаться и обслуживать себя,

мыслил здраво, прекрасно помнил прошлое, но начисто забывал то, что было несколько минут назад. Один и тот же вопрос задавал снова и снова, постоянно обижался:

– Почему ты ко мне весь день не подходишь?!

А он-то приехал в гости и провёл в его комнате несколько часов, отлучившись лишь на минуту за лекарством.

– Звони мне – умолял Вадим, когда он уезжал с Ионой. – Каждый день звони!

Эта простая с виду просьба оказалась невыполнимой. Разговор всегда длился по часу, при этом одна и та же информация повторялась десятки раз.

– А что сегодня делал наш малыш? – спрашивал дедушка. Он подробно рассказывал, как Иона был в садике, а вечером ужинал и купал плюшевую лошадь в тазу. – А что сегодня делал Иона? – интересовался Вадим, спустя пару минут. История про садик и купание лошади повторялась. – Кстати, а как там наш сорванец, чем он сегодня занимался? – звучал очередной вопрос, едва рассказ оканчивался. Он заново вежливо описывал, как увидел в ванной несчастного коня, возмутился, как негодовал Иона из-за запрета мыть плюшевые игрушки. Вообще-то ничего не было страшного в том, чтобы прекратить разговор уже спустя несколько минут, Вадим всё равно мгновенно забыл бы о нём. Но даже когда он через час пытался начать прощаться, тесть обиженно вопил:

– Ты и так мне никогда не звонишь, дай хотя бы минуту послушать твой голос! – и он не мог сопротивляться, понимая, что Вадим не шутит и не издевается, а, действительно, нуждается во внимании. Тогда он пытался продлить для него радость общения, поражаясь, как стремительно дедушка одной ногой вошёл уже в вечность и потерял представление о времени вообще.

Тяжело было слушать, когда Вадим начинал благодарить и говорить, что его любит. Слова звучали искренно и наивно, как от маленького ребёнка, и тоже бесконечно повторялись. И он представлял, что именно так, конечно, говорит с душою Бог, всегда, независимо от того, что мы думаем, говорим, делаем, слышим или не слышим: «Где же ты был так много лет, где же ты был?! – Да я ведь секунда, как вышел из храма! – Нет, ты скажи мне, где ты так долго был?! – Да я же молился только что Тебе!! – Нет, ты объясни мне, почему тебя не было?!! – Да я же вот полчаса назад причастился!! – Я спрашиваю, где ты всё это время был?!» – и слёзы тогда наворачивались на глаза, ему трудно было отвечать Вадиму, и иногда воцарялась долгая тишина, а потом Вадим снова как ни в чем не бывало начинал говорить о том, что любит его и Иону.

***

Однажды он шёл забирать Иону из садика. Плечо оттягивала тяжёлая сумка с продуктами, так как по пути он заскочил в магазин. Это была продуманная стратегия, ведь если брать с собой сына, то поход растянется вдвое: он, конечно, отвлечётся, вычитывая этикетки, а потом придётся искать ребёнка между полками и непременно найти где-то в неожиданном месте, например, беседующим с администратором на тему, почему цветная капуста белая, и чем её раскрасить, чтобы она стала всё-таки цветная. За этим последует обязательная покупка того, что он не планировал, а на кассе Иона потребует самостоятельно прикладывать карту и начнёт неторопливо собирать продукты в сумку, попутно задавая десяток вопросов кассиру и задерживая очередь, словом, одному было быстрее и проще.

И вот он с набитой доверху огромной спортивной сумкой, специально приспособленной для закупок, плёлся по тротуару. Недавно шёл ливень, а теперь дождь едва накрапывал. Зонт со дна доставать не хотелось, да и нести его в киберруке было неудобно, но всё-таки он откопал и открыл его, зная, что Иона обрадуется, ему очень нравилось идти вместе с папой под «шатром».

Смеркалось, но фонари ещё не горели. Дорога тянулась через двор, он шагал слева, а с правой стороны стала выезжать машина задним ходом. В это же время какой-то таксист лихо свернул с улицы на дворовую территорию и понёсся, что есть мочи. Вероятно, он не сразу заметил сдающий назад автомобиль, не успел затормозить, сделал резкий крен влево, прямо на

него, и остановился. В итоге его сумку задело зеркалом и сбило с ног. Он упал в лужу, уронил продукты, а сверху его ещё и обдало грязью.

Пока он приходил в себя от испуга и негодования, таксист включил аварийный сигнал, выскочил, но бросился не к нему, а к водителю, который выезжал с парковки, ругая того на чём свет стоит отборным матом. Тот успел затормозить, поэтому столкновения не случилось. Второй тоже вышел из автомобиля и начал орать в ответ. Так они кричали, обвиняя друг друга, а на него обоим было наплевать.

Когда он поднялся, весь в грязи, про него вспомнили.

– А ты что молчишь, ты всё видел! – набросился на него темпераментный таксист. – Скажи, что этот олень полез мне прямо под колёса! Он с парковки выезжает, он обязан был пропустить!

– Да он семьдесят гнал по двору, а может, и восемьдесят! Подтверди, что он гнал, как ненормальный! – требовал второй. Оба добивались от него ответа, а он растерянно молчал и наконец опомнился:

– Вы же меня сбили, – сказал он таксисту. – Я из-за вас весь грязный.

– Что ты врёшь?! – грубо рявкнул таксист. Возможно, он, в самом деле, не заметил, что слева брёл пешеход, так как машина была праворульной.

– Ну да, я шёл из магазина, а вы… – попытался объяснить он.

– Да иди ты лесом, бомж поганый! – заорал водитель. – Еще один гад на мою голову, хочет на халяву бабла срубить!

– У тебя глаза в каком месте?! – неожиданно накинулся на него и второй водитель. – Ты видел, что он несётся или нет?! Ты что, подтвердить не можешь?! По-твоему, так по двору ездят?!

– Что вы кричите, ведь вы даже машины не поцарапали? – попытался утихомирить их он. В ответ оба, распаляясь, стали орать уже на него, первый при этом не стеснялся в выражениях, оскорбляя его так, словно он был во всём виноват. Никто не думал извиняться. Он понял, что нужно просто уйти.

Так и сделал, ни сказав больше ни слова, а вслед ему неслись ругательства. Было мерзко и обидно. Выглядел он теперь, и правда, как бездомный, светлая куртка покрылась грязными разводами, штаны в луже промокли. Сумку испачкала протёкшая сметана, что творилось внутри, он даже смотреть не стал. У зонтика прогнулась спица. Стыдным казалось в таком виде заходить в садик, но делать крюк до дома, чтобы переодеться, а потом возвращаться, было некогда. Он брёл унылый и злой, раздражение вызывали даже мысли об Ионе, в конце концов «из-за него» он очутился в этом «поганом» месте нагруженный продуктами и заботами.

И вот явился он в группу оплёванный, перепачканный, мокрый, оскорблённый, чуть не плача от обиды, возмущения и неловкости. Как назло, была смена вредной воспитательницы, с которой общение у него изначально не заладилось. Она окинула его удивлённым взглядом. Под жёлтым светом ламп разводы на куртке казались рвотно-бурыми, похоже, он выглядел сногсшибательно.

– Вот, машина грязью окатила, – виновато пролепетал он, будто соврал. Та иронично хмыкнула, видимо, решив, что он явился с попойки. Не комментировала, но зато сказала Ионе «папа пришёл» с такой саркастичностью, что сразу стало понятно, что она о нём думает. Тут он ещё заметил в зеркало, что на лице застыли грязные капли и поспешил их скорее смыть под краником в раздевалке. От позора хотелось провалиться.

Выбежал Иона, увидел его и заморгал глазами от неожиданности. Он боялся, что малыш тоже застыдиться перед воспитателем из-за такого несчастного и дикого вида отца, но тот восхищённо закричал:

– Вот это да! Как здорово!! – и бросился рассматривать куртку. – Папа, она же стала космической! На ней звёзды, а вот это след от ракеты, – восторженно провёл он рукой по жуткому болотному разводу. – Это потрясающе! Тут целая галактика! И метеориты! А это пояс астероидов! Смотри, какой длинный хвост у кометы! Ура! Какой суперский рисунок! Очень, очень красиво! Это ты сам сделал?! Ты такой изобретательный! Ты у меня самый, самый

лучший в мире папочка! – и малыш обнимал, любовался и гордился им, грязным, гадким, униженным, обозлённым… Ему казалось, что сердце сейчас взорвётся, и они вместе с Ионой, действительно, улетят куда-нибудь в межпланетное пространство.

***

Когда они вернулись домой, Иона вдруг замер в прихожей и шёпотом озадаченно спросил его:

– Папа, а когда мы обнимаемся, наши ангелы что делают?

– Радуются, – не задумываясь, ответил он. – Давай чаще обниматься, чтобы их радовать…

Послесловие

Что знает автор о себе, когда он пишет? Что вначале это было его сокровенное чудо, его волшебная тайна, его небесный сад, где он погружался в ему одному в*е*домые муки и блаженства. И что потом он разлюбил этот притягательный, закрытый для других, необъяснимый мир, и пишет уже только потому, что не писать не может. Что творчество – это не исповедь и не покаяние, как казалось изначально, а будничная кардиограмма.

Он по-прежнему хочет научиться всегда слышать беззвучие, чтобы заменить им каждое слово и раствориться в голосе вечности. Но истории, невесть откуда приходящие, рвутся жить, поэтому он должен передать их, а кому и зачем – неизвестно. Он чувствует себя заложником абсурдного призвания, послушным слугой стремящихся в реальность нереальных рассказов. Он работает бесцельно и необъяснимо, почти уже не испытывая радости вдохновения, лишь изредка роняя разбуженную слезу сочувствия, неизвестно, к себе ли, к выдуманным персонажам или ко всему загадочному произведению, которое является таким же бесприютным гостем в мире, как и его герой.

Знает, что последняя точка готовой рукописи – неизбежный вдох перед новым стартом поиска прибежища для потерянного странника.

Знает, что за него не помолится ни ветреная Даша, ни жертвенная Марина, ни кошмарный Елеазар, ни сам глубокомысленный Богослов, и потому остаётся завершить роман коротким тихим прощанием: «Помяни мя Господи, во царствии Твоем…»

2015-2025 г.